

САД ВЕЧЕРНИХ ТУМАНОВ

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
РОМАН, СТАВШИЙ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ВАЛЬТЕРА СКОТТА И АЗИАТСКОГО БУКЕРА 2013 г.

ТАН ТВАН ЭНГ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

18+

Сад вечерних туманов
Тан Тван Энг

Аннотация
Тан Тван Энг. Сад вечерних туманов
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20

Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Примечания автора

Аннотация

Малайя, 1951. Юн Линь — единственная, кто выжил в тайном японском концлагере. В этом лагере она потеряла свою любимую сестру — та разделила ужасную судьбу тысяч заключенных. Единственное, что Юн Линь может сделать для сестры, — исполнить ее мечту, создав дивной красоты японский сад. Юн Линь ненавидит японцев, отнявших у нее близких и чуть не убивших ее саму. Но ей приходится обратиться к японцу Аритомо, в прошлом императорскому садовнику, который готов обучить ее своему искусству. Она понимает, что у Аритомо есть тайна, и его неожиданное исчезновение подтверждает ее предположения. Пройдет целая жизнь, прежде чем Юн Линь удастся приблизиться к разгадке этой тайны…

Тан Тван Энг
Сад вечерних туманов

Моей сестре
и
Opgedra aan A J Buys —
sonder jou sou hierdie boek dubbel so lank
en halfpad so goed wees.
Mag jou eie mooi taal altyd gedy[1].

Есть богиня памяти, Мнемозина, но нет богини забвения. А ведь должна быть: они же сестры-близнецы, антиподы-двойняшки, и рядом, по обе стороны от нас, шествуют всю нашу жизнь, споря, кому владычествовать над нами и кто мы такие, на всем нашем пути, до самой смерти.

Ричард Холмс
«Петля в русле памяти и забвения»

---

[1] Примечания: 1

Посвящается А. Дж. Байзу — без вас эта книга была бы вдвое длиннее и вполовину не столь хороша. Пусть всегда благоденствует прекрасный ваш язык (*африкаанс*).

Свой первый роман, «Дар дождя», автор тоже посвятил (и тоже на африкаанс) «судье А. Дж. Байзу, который научил меня жить» (*здесь и далее примечания переводчика*).

Глава 1

Когда-то на горе, выше облаков, жил человек, который прежде был садовником императора Японии. Немногие знавали о нем до войны, но я знала. Он покинул свой дом на краешке восходящего солнца, чтобы поселиться на центральном нагорье Малайи. Мне было семнадцать, когда я впервые услышала от сестры рассказ о нем. Пройдет десять лет, и я отправлюсь в горы, чтобы встретиться с ним.

Он не извинялся за то, что его соотечественники сотворили с моей сестрой и со мной. Ни в то иссеченное дождем утро, когда мы впервые увиделись, ни во всякое иное время. Какие слова уняли бы мою боль, вернули бы мне сестру? Никакие. И он понял это.

Немногим это удавалось.

И через тридцать шесть лет после того утра я вновь слышу его голос, приглушенный, но звучный. Воспоминания, которые я держала взаперти, стали пробиваться на свободу, как ледяные торосы, разрывающие трещинами арктическое мелководье. Течение сна плавно несет

эти треснувшие льды к утреннему свету памяти.

Недвижимая тишина гор будит меня. Глубина молчания — вот что позабылось мною о жизни в Югири[2]. Когда я открываю глаза, воздух наполнен невнятным ропотом дома.

«Старый дом хранит свои потаенные воспоминания», — приходят на память слова, сказанные мне однажды Аритомо.

А Чон стучит в дверь и негромко окликает меня. Я встаю с постели, надеваю халат. Оглядываюсь, ища перчатки, и нахожу их на столике у кровати. Натягивая их на руки, разрешаю домоправителю войти. Он входит, ставит на стол у стены оловянный поднос с чайником чая и тарелкой нарезанной папайи: то же самое он проделывал каждое утро для Аритомо. Повернувшись ко мне, говорит:

— Желаю вам долгой, наполненной покоем отставки, судья Тео.

— Да, похоже, в этом я тебя опередила.

А Чон, если прикинуть, лет на пять-шесть старше меня. Когда вчера вечером я приехала, его здесь не было. Внимательно разглядываю его, сопоставляя увиденное с тем, что помню. Ни-

---

[2] Примечания: 2

В японском языке звучание слова «югири» обозначается двумя иероглифами, образующими понятия «вечерний туман, вечерняя роса».

зенький, опрятный мужчина, ростом ниже, чем мне помнится, голова нынче совсем лысая. Наши взгляды сталкиваются.

— Вы вспоминаете, как в первый раз увидели меня, да?

— Не в первый раз, а в последний день. День, когда он ушел.

Он кивает:

— А Фун и я… мы всегда надеялись, что когда-нибудь вы вернетесь.

— Она здорова? — Я подалась в сторону, заглядывая ему за спину, надеясь увидеть его жену, стоящую у двери в ожидании приглашения войти. Они живут в Танах-Рате и каждое утро добираются на велосипедах до Югири по горной дороге.

— А Фун умерла, судья Тео. Четыре года назад.

— Ах да. Да, конечно.

— Она хотела выразить вам признательность за оплату ее больничных счетов. И я тоже.

Я приоткрыла крышку чайника, потом закрыла ее, пытаясь вспомнить, в какой больнице она лежала. Название всплыло в памяти: Госпиталь леди Темплер.

— Пять недель, — говорит он.

— Пять недель?

— Через пять недель будет тридцать четыре года, как господин Аритомо покинул нас.

— Ради всего святого, А Чон!

Я не бывала в Югири почти так же давно. Неужто домоправитель меряет жизнь числом лет, которые прошли с последнего моего пребывания тут, как отец очередной зарубкой на кухонной стене отмечает рост своего ребенка?

Пристальный взгляд А Чона устремлен в какую-то точку над моим плечом.

— Если больше ничего… — произносит он и уже поворачивается, чтобы уйти.

Тоном помягче я говорю:

— Сегодня утром, в десять часов, я жду гостя. Профессор Йошикава. Проводи его в гостиную на веранде.

Домоправитель кивает и уходит, закрывая за собою дверь. Уже не в первый раз я прикидываю, сколько ему известно, чего он насмотрелся и чего наслушался за все годы службы у Аритомо.

Папайя охлаждена — как раз так, как я люблю. Выжав на нее ломтик лайма, я съедаю два кусочка, прежде чем поставить тарелку на место. Открыв раздвижные двери, выхожу на веранду. Дом стоит на низких сваях, и веранда всего на

два фута[3] возвышается над землей. Бамбуковые ставни постукивают, когда я подворачиваю их вверх. Горы такие же, какими я их помнила всегда, первый утренний свет оплавляет их склоны. Сырые опавшие листья и сломанные ветки устилают лужайку. Эта часть дома отгорожена от основного сада деревянным забором. Одна его секция рухнула, и высокая трава пробивается сквозь щели между упавшими досками. Я, положим, была готова к такому, но все же эта запущенность потрясает меня…

На восток от забора виден участок чайной плантации Маджуба[4]. Впадина долины напоминает мне ладони монаха, сложенные в горсти для получения ежедневного благословения. Сегодня суббота, но сборщики чая, занятые работой, двигаются вверх по склонам. Ночью была гроза, вершины все еще мрачны от бордовых облаков. Ступаю с веранды на узкую полоску из керамических плиток, холодных и влажных под моими босыми подошвами. Плитки эти Аритомо привез из разрушенного дворца в древней столице Таи-

---

[3] Примечания: 3

Около 61 сантиметра.

[4] Примечания: 4

Маджуба — знаменитый холм в Южной Африке, где 27 февраля 1881 г. буры нанесли сокрушительное поражение британским войскам.

ланда, Аютхайе, где они когда-то устилали двор древнего и безымянного короля. Плитки — всё, что осталось от рухнувшего царства, все истории которого преданы забвению.

Наполняю легкие до краев и выдыхаю. Вижу, как мое дыхание обретает форму — конфигурация воздуха, всего лишь секунду назад находившегося во мне, и вспоминаю, какое ощущение чуда вызывало в душе когда-то это явление. Опустошение минувших месяцев уходит из моего тела — только для того, чтобы мгновение спустя заполнить его снова. Странное ощущение: мне больше не придется тратить выходные на чтение груд апелляций и исков или на завершение неоконченного за неделю бумаготворчества. Еще несколько раз ртом вдыхаю и выдыхаю полной грудью, следя за тем, как паутинки моего дыхания уносятся в сад и тают там…

Перед самым выходом из кабинета в зал судебных заседаний моя секретарша Азиза принесла конверт.

— Только что доставили для вас, *пуан*[5], — поясняет она.

---

[5] Примечания: 5

Пуан — уважительное обращение к малайской замужней женщине (с тем же смыслом, что и «мадам»), которая, выходя замуж, свою фамилию на фамилию мужа не меняет.

Внутри — коротенькое письмо от профессора Йошикава Тацуджи[6] с подтверждением даты и времени нашей встречи в Югири. Послано неделю назад. Всматриваясь в аккуратный почерк, я раздумываю: не было ли с моей стороны ошибкой согласиться на встречу с ним? Совсем было собралась позвонить ему в Токио и все отменить, но сообразила, что профессор уже на пути в Малайзию. В конверте лежало еще что-то. Когда я, перевернув, тряхнула его, на мой стол выпала деревянная палочка дюймов в пять[7]. Подняв, окунаю ее в свет настольной лампы. Дерево темное и гладкое, кончик палочки украшен тонкими заходящими друг на друга желобками.

— Какая короткая *лах*[8], палочка для еды. Это для детей? — спрашивает Азиза, входя в кабинет

---

[6] Примечания: 6

Героиня романа (и автор) произносят полные японские и китайские имена людей по китайскому обычаю: вначале имя рода (фамилия), потом имя личное.

[7] Примечания: 7

12,7 сантиметра.

[8] Примечания: 8

Лах — в малайском и малайском английском (манглиш) суффикс *lah* (произносится как нечто среднее между «ла» и «лах», на выдохе) весьма многозначен: от простого обозначения окончания фразы или уважительного привлечения внимания собеседника до смысловых оттенков: «ничего себе!», «неужели вам (тебе) не понятно?» Всё зависит от интонации произносящего и ее восприятия слушающим. Читающие в своей фантазии свободны.

с пачкой документов мне на подпись. — А где другая?

— Это не палочка для еды.

Так и сидела, разглядывая палочку на столе, пока Азиза не напомнила, что церемония, посвященная моему уходу в отставку, вот-вот начнется. Она помогла мне облачиться в мантию судьи, и мы вместе вышли в коридор. Азиза, как обычно, пошла вперед, чтобы предупредить адвокатов, что *пуан хаким*[9] уже на подходе: те всегда старались угадать по ее лицу, в каком я настроении. Идя за нею следом, осознаю: вот сейчас я в последний раз проделаю этот путь от своего кабинета до зала судебных заседаний…

Возведенное в Куала-Лумпуре около века назад здание Верховного суда имело все признаки колониального сооружения, призванного пережить империи. Под его высокими потолками, в толстых его стенах воздух сохранял прохладу в самые жаркие дни. Мой зал судебных заседаний был достаточно велик, чтобы вместить сорок, а может, даже и пятьдесят человек, но в этот вторник адвокатам, не побеспокоившимся приехать пораньше, днем, пришлось толпиться сзади у

---

[9] Примечания: 9

Пуан хаким — мадам судья (*малайск.*).

дверей. Азиза уведомила меня о количестве принимающих участие в церемонии, но все равно я опешила, занимая свое место под портретом Агонга и его королевы[10]. Тишина установилась в зале, когда пришел Абдуллах Мансур, председатель Верховного суда, и сел рядом со мной. Склонившись, он шепнул мне на ухо:

— Еще не поздно передумать.

— Вы никогда не прекратите меня уговаривать?.. — сказала я, сверкнув улыбкой.

— А вы никогда не меняете своих решений.

Он вздохнул:

— Разве нельзя остаться? Вам всего-то и осталось два года.

Глядя на него, я припомнила тот день, когда в его кабинете сообщила ему о решении пораньше выйти в отставку. За долгие годы мы спорили и вздорили по многим поводам — о положениях законов или о том, как он руководил судами, — но я всегда уважала в нем интеллект, чувство справедливости и его доверие к нам, судьям. В

---

[10] Примечания: 10

Агонг (полный титул Шери Падука Багинда Янг ди-Пертуан Агонг), король — глава государства Малайской Федерации и Малайзии, конституционно избираемый монарх. Королева (полный титул Шери Падука Багинда Раджа Пермаисури Агонг) является вторым лицом в государстве, но не может занимать никаких государственных должностей (отчего порой ее на британский манер называют королевой-леди-консорт).

тот день он, в первый и в последний раз, утратил самообладание, говоря со мной. Нынче же от той вспышки осталась только печаль в его лице. Я буду скучать по нему.

Глядя поверх очков, Абдуллах принялся пересказывать собравшимся мою жизнь, вплетая в свою речь фразы на английском, не обращая внимания на висевшее в зале предостережение, требовавшее употреблять в суде только малайский язык.

— Судья Тео была лишь второй женщиной в нашей стране, назначенной членом Верховного суда, и прослужила последние четырнадцать лет…

Сквозь высокие запыленные окна мне виден уголок поля для игры в крикет через дорогу и, чуть подальше, клуб «Селангор»[11], чей ложнотюдоровский фасад напоминает мне о бунгало на Камеронском нагорье. Пробили часы на башне над центральной галереей, вялый их перезвон пробивался сквозь стены зала суда. Слегка повернув руку, сверяю время: одиннадцать минут четвертого, башенные часы, как всегда, надежно отстают, их точность много лет назад похитила

[11] Примечания: 11

Селангор — один из 13 федеративных штатов Малайзии, султанат, с населением более 5 млн человек.

молния.

— …сегодня немногим из нас известно, что в девятнадцать лет она стала узницей японского лагеря для интернированных, — говорит Абдуллах.

Адвокаты зашептались, поглядывая на меня с возросшим интересом. Я никогда и никому не рассказывала о трех годах, проведенных мною в лагере. Переживая день за днем, старалась не думать о том прошлом, и почти всегда мне это удавалось. Но время от времени воспоминания пробуждались — услышанным звуком, брошенным кем-то словом, уловленным на улице запахом…

— Когда война закончилась, — продолжал председатель Верховного суда, — судья Тео была сотрудницей Трибунала по военным преступлениям и ожидала разрешения изучать право в Гиртон-колледже[12] Кембриджа. Получив диплом выступающего в суде адвоката, она в 1949 году вернулась в Малайю и почти два года проработала заместителем государственного обвинителя…

Внизу, в первом ряду, напротив меня, сидят

---

[12] Примечания: 12

Гиртон-колледж — старейший (1869) колледж Кембриджского университета, дающий высшее образование женщинам.

четверо пожилых британских адвокатов, их костюмы и галстуки были почти так же стары, как и они сами. Тридцать лет назад они, наряду с некоторым числом каучуковых плантаторов и госслужащих, предпочли остаться в обретшей независимость Малайе. Состарившиеся англичане вызывали жалость своим видом, делавшим их похожими на пожухлые страницы, вырванные из старой и позабытой книги.

Председатель Верховного суда откашлялся, и я взглянула на него.

— …Судье Тео оставалось еще целых два года до отставки, а потому вы, несомненно, можете себе представить, каково было наше удивление, когда она сообщила о своем намерении оставить работу в Суде. Подготовленные ею судебные решения известны своей четкостью и изящностью формулировок…

Речь оратора расцветилась, становясь все более хвалебной. Я же пребывала далеко в ином времени, думая об Аритомо и его саде в горах.

Председатель умолк. Я мысленно перенеслась обратно в зал судебных заседаний, надеясь, что никто не заметил провалов моего внимания: не пристало принимать отсутствующий вид на церемонии собственных проводов в отставку!

Я обратилась к собравшимся с кратким выступлением без затей, после чего Абдуллах объявил церемонию закрытой. Я пригласила нескольких доброжелательных членов Судебного совета, своих коллег и старших партнеров по крупным городским юридическим фирмам на небольшой фуршет у себя в кабинете. Какой-то репортер задал мне несколько вопросов и сделал снимки. После ухода гостей Азиза обошла помещение, собирая чашки и бумажные тарелки с остатками съестного.

— Возьми себе эти карри с приправами, — сказала я, — и ту коробку с пирожными. Не пропадать же добру.

— Я знаю, лах. Вы всегда мне это говорите. — Она убрала и упаковала съестное, потом спросила: — Вам еще что-нибудь нужно?

— Можешь отправляться домой. Я закрою, — именно это я обычно говорила ей в конце каждого судебного слушания. — И — спасибо, Азиза. За все.

Она стряхнула складки на моей черной мантии, повесила ее на вешалку и, обернувшись, взглянула на меня:

— Нелегко было работать с вами, *пуан* все эти годы, но я за себя рада. — Слезы блеснули в ее гла-

зах. — Юристы… им трудно от вас приходилось, но они всегда вас уважали. Вы их выслушивали.

— Это долг судьи, Азиза. Слушать. Так много судей, похоже, забыли об этом.

— А-а, но ведь только что вы не слушали, когда *туан*[13] Мансур все говорил и говорил. Я смотрела на вас.

— Он говорил о *моей* жизни, Азиза, — улыбнулась я ей. — Вряд ли в его речи было что-то, о чем я уже не знала, ты так не считаешь?

— Это *оранг-джепун*[14] вам сделали? — Она указала на мои руки. — *Мааф*[15], — извинилась Азиза, — только… я всегда боялась у вас спросить. Знаете, никогда не видела вас без перчаток.

Я медленно повернула левую кисть, словно поворачивала невидимую ручку двери.

— Одно хорошо с наступлением старости, — сказала я, глядя на ту часть перчатки, где были отрезаны и зашиты два из ее пальчиков. — Люди, если не слишком присматриваются, наверное,

---

[13] Примечания: 13

Туан — уважительное обращение к почитаемому человеку, «господин» (*малайск.*).

[14] Примечания: 14

Оранг-джепун — японские звери (*малайск.*).

[15] Примечания: 15

Мааф — простите (*малайск.*).

считают меня просто тщеславной старушенцией, прячущей свой артрит.

Обе мы застыли в нерешительности, не зная, как завершить наше расставание. Азиза пришла в себя первой, ухватила меня за правую руку и — не успела я опомниться — притянула в объятья, облепившись вокруг меня, как тесто вокруг палочки. Потом отпустила меня, подхватила свою сумку и ушла.

Я обвела взглядом кабинет. Книжные полки пусты. Мои вещи упакованы и увезены ко мне домой в Букит-Тунку[16]: ненужные обломки вновь поглотило море во время прилива. Коробки с протоколами заседаний малайских судов и общеанглийскими отчетами сложены в углу — они предназначались в дар Судебной библиотеке. Осталась заполненной только одна полка — с изданными протоколами Верховного суда, на корешках которых золотом был вытеснен год, когда рассматривались дела. Азиза обещала прийти завтра и забрать их.

Я подошла к висевшей на стене картине: акварель, на которой изображен дом, где я выросла. Нарисовала ее моя сестра. Это единственная ее

[16] Примечания: 16

Букит-Тунку — элитный жилой район малайзийской столицы Куала-Лумпур.

работа, которая у меня осталась, одна-единственная, которую удалось отыскать после войны.

Я сняла ее с крюка и поставила возле двери.

Груду картонных папок, перевязанных розовыми ленточками, которая обычно громоздилась на моем столе, разобрали другие судьи, стол показался мне больше обычного, когда я села за него в кресло. Деревянная палка все еще лежала там же, где я ее и оставила. За полуоткрытыми окнами сумерки призывали ворон устраиваться на ночлег. Листва деревьев нарра по сторонам дороги стала еще гуще от спрятавшихся в ней птиц, которые заполонили улицы своим гомоном. Сняв телефонную трубку, я стала набирать номер и остановилась, не в силах припомнить оставшиеся цифры. Поворошила странички записной книжки, позвонила в главное здание чайной плантации Маджуба и попросила ответившую горничную позвать к телефону Фредерика Прето-

риуса[17]. Долго ждать мне не пришлось.

— Юн Линь? — произнес он, похоже, слегка запыхавшись, когда взял трубку.

— Я еду в Югири.

Молчание зависло на линии.

— Когда?

— В эту пятницу.

Я помолчала. Семь месяцев минуло, как мы говорили друг с другом в последний раз.

— Будь любезен, передай А Чону, чтоб приготовил для меня дом.

— Он всегда держит его в готовности для тебя, — ответил Фредерик. — Но я передам. Загляни ко мне по дороге на плантацию. Можем чайку попить. Я отвезу тебя в Югири.

— Я еще не забыла, как туда добираться, Фредерик.

Еще одно протяженное молчание соединило нас.

---

[17] Примечания: 17

Персонажи романа носят эту фамилию вряд ли случайно. Мартинус Весселе Преториус (1819–1901) был видным бурским политическим деятелем, одним из руководителей колонизации бурами земель к северу от р. Вааль. Один из создателей Республики Трансвааль, он в 1857–1860 и 1864–1871 гг. был президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР), а в 1860–1863 гг. — президентом Оранжевого Свободного государства. Стоял во главе борьбы буров против аннексии ЮАР Великобританией. В 1881 г. подписал с британскими представителями конвенцию о признании Великобританией независимости ЮАР.

— Сезон дождей кончился, но тут все еще дождит. Будь осторожней на дороге. — Он повесил трубку.

С минаретов Джамека[18] за рекой по всему городу разнеслись призывы к молитве. Я вслушивалась, как пустело здание суда. Звуки были настолько для меня знакомые, что я перестала обращать на них внимание много лет назад. Взвизгнуло колесо тележки: кто-то (наверное, Рашид, служащий регистратуры) вез пришедшие за день обращения в картотеку. Телефон в кабинете кого-то из судей звонил с минуту, потом смолк. Эхом разносились по коридорам громыханья закрываемых дверей: я даже не подозревала, до чего они громкие.

Взяла портфель, разок тряхнула его. Он был легче обычного. Уложила в него свое судейское одеяние. У двери обернулась посмотреть на свой кабинет. Вцепилась в край дверного косяка: понемногу доходило, что я больше никогда не переступлю порога этой комнаты. Слабость прошла. Я выключила свет, но продолжала стоять у двери, вглядываясь в тени. Взяла акварель сестры, закрыла дверь, несколько раз повернув

---

[18] Примечания: 18
Джамек — самая старая (1909) мечеть в Куала-Лумпуре.

ручку, чтобы убедиться, что замок сработал надежно. Затем привычным путем пошла по скудно освещенному коридору. С одной из стен галереи на меня взирали бывшие судьи, чьи лица на портретах менялись от европейских до малайских, китайских и индийских, от черно-белых до цветных. Миновала пустое место, куда вскоре добавят мой портрет. В конце коридора спустилась по ступенькам. Вместо того чтобы повернуть налево, к выходу на стоянку машин «только для судей», пошла к саду во внутреннем дворике. Эту часть судебного здания я любила больше всего. Часто захаживала сюда посидеть, подумать над юридическими проблемами судебного решения, которое готовилось мною. Немногие из судей приходили сюда, и обычно весь сад словно бы принадлежал мне одной. Иногда, если Карим, садовник, случалось, задерживался на работе, я говорила с ним накоротке, давая советы: что посадить, а что следует убрать. Сегодняшним вечером я была одна.

Заработали поливалки, вздымая в воздух запах пропеченной солнцем травы. Листья, сброшенные гуавами[19], росшими по центру сада, были

---

[19] Примечания: 19
Гуава — тропические вечнозеленые деревья семейства миртовых.

собраны в кучу. Вдалеке сплетались воедино реки Гомбак и Кланг, забивая воздух илистым запахом земли, содранной с гор хребта Титивангса на севере. Большинство жителей Куала-Лумпура не переносят эту вонь, особенно когда между сезонами дождей река мелеет, я же всегда была не против тут, в самом центре большого города, ощутить запах гор, отстоявших за сотни миль. Села на привычную свою лавочку и всей душой предалась утверждавшемуся в здании спокойствию, становясь частью его. Через некоторое время встала. Чего-то этому саду недоставало. Проходя мимо кучи листьев, я подхватила несколько пригоршней и как попало разбросала по лужайке. Стряхивая прилипшие к рукам кусочки жухлых листьев, сошла с травы. Ну, конечно, теперь сад смотрится лучше! Гораздо лучше.

Ласточки стремительно ринулись вниз из своих гнезд под крышами, кончики их крыльев едва не чиркали меня по голове. В памяти всплыла известняковая пещера, в которой я побывала однажды, высоко-высоко в горах. С портфелем и акварелью в руках я вышла из дворика. В небе надо мной уплывала вдаль отлетевшая от мечети последняя строка молитвы, оставляя там, где только что звучало ее эхо, полное безмолвие.

Югири расположена в семи милях[20] к западу от Танах-Раты, второго из трех больших селений по дороге, ведущей к Камеронскому нагорью. Я добралась туда после четырех часов езды на машине из Куала-Лумпура. Я не спешила, останавливаясь по пути в разных местах. Через каждые несколько миль мне попадались придорожные лотошники, продающие дымчатые бутылочки с диким медом, стреляющие духовые трубки и вонючую фасоль петаи. Дорога стала значительно шире с тех пор, как я ездила по ней в последний раз, крутые повороты сглажены, зато теперь на ней теснилось слишком много машин и туристических автобусов, слишком много роняющих гравий и цемент грузовиков, торопящихся на очередную строительную площадку в горах.

Стояла последняя неделя сентября, над горами витало дождливое время года. Когда я въехала в Танах-Рату, вид бывшего госпиталя Королевской армии, расположенного на отвесном подъеме, вызвал во мне знакомое волнение: не так давно Фредерик сообщил, что теперь там школа. За нею высилась новая гостиница с неизбежным ложно-тюдоровским фасадом. Танах-Рата была уже не

[20] Примечания: 20
Примерно 12,3 километра.

деревней, а небольшим городком, главную улицу которого заполонили рестораны-пароходы, туристические агентства да сувенирные лавки. Я была рада оставить все это позади.

Когда я проезжала мимо Маджубы, страж закрывал чугунные ворота чайной плантации. Я еще с полмили держалась основной дороги, прежде чем поняла, что прозевала съезд на Югири. Досадуя на себя, развернула машину и двигалась потихоньку, пока не отыскала поворот, скрытый за рекламными щитами. Красноватая каменистая дорога через несколько минут закончилась у входа в Югири. На обочине стоял припаркованный «Лендровер». Я остановила свою машину рядом и вышла из нее, подрыгала ногами, стряхивая с них онемелость. Ограждавшую сад высокую стену покрывали мох и застарелые водяные пятна. Из трещин выбивались стрелки папоротника. В стену вделана дверь. К дверному косяку гвоздями прибита деревянная табличка с выжженными на ней двумя японскими иероглифами. А ниже название сада по-английски: «Вечерние туманы». Я почувствовала, что вот сейчас вступлю в место, существовавшее только в наслоениях воздуха и воды, света и времени.

Поверх стены проследила взглядом неровную

линию деревьев гребня горы, вздымавшейся за садом. Отыскала деревянную смотровую вышку, наполовину скрытую в деревьях, похожую на воронье гнездо[21] галеона, затонувшего среди ветвей и сделавшегося добычей моря листвы. Ниточка тропинки тянулась в горы, и несколько мгновений я не сводила с нее глаз, словно могла увидеть там идущего домой Аритомо. Тряхнув головой, толкнула дверь, вошла в сад и закрыла ее за собой.

Звуки оставшегося снаружи мира затихли, впитанные листвой. Я стояла не двигаясь. На мгновение ощутила, что ничего не изменилось с тех пор, как я была здесь в последний раз, почти тридцать пять лет назад: воздух так же напоен запахом сосновой смолы, так же потрескивает и постукивает бамбук на ветру, так же устилает землю неровная мозаика солнечного света.

Сверяясь с компасом памяти, я зашагала по саду. Раз или два повернула не туда, но в конце концов вышла к пруду. Остановилась. Извилистая дорожка в туннеле из деревьев усилила

[21] Примечания: 21

«Воронье гнездо» — так называлась бочка (или огражденная площадка), закрепленная на стеньгах самой высокой мачты старинных гребных и парусных судов, откуда велось наблюдение за поверхностью моря и, если везло, суши.

эффект безбрежно распахнутого над водой неба. В центре пруда шесть высоких узких камней сгрудились в миниатюрный известняковый горный хребет. На противоположном берегу стоял павильон. Соединяясь со своим отражением в воде, он казался висящим в воздухе бумажным фонариком. В нескольких шагах сбоку от павильона росла ива, ее опущенные ветви припадали к воде пруда.

На мелководье стояла серая цапля, повернув ко мне склоненную набок голову, одна ее нога застыла в воздухе, словно рука пианиста, забывшего ноты исполняемой им музыки. Секунду спустя цапля опустила ногу и метнула клюв в воду. Была ли она потомком той самой, что устроила себе тут дом, когда я впервые оказалась в Югири? Фредерик рассказывал мне, что в саду всегда жила одна цапля: нерушимая цепочка птиц-одиночек. Понимая, что это никак не может быть та самая птица, залетевшая из почти сорокалетнего прошлого, я смотрела на нее и надеялась, что она — именно та. Хотелось верить, что попавшей в это святое прибежище цапле как-то удалось ускользнуть из цепких пальцев времени…

Справа от меня, на возвышении, стоял дом Аритомо.

Свет лился из его окон, дым от кухонной трубы неровной струйкой рвался выше макушек деревьев. Мужчина появился у входной двери и направился вниз по склону мне навстречу. Остановился в нескольких шагах, видимо чтобы мы могли хорошенько рассмотреть друг друга. «Мы похожи, — подумалось мне, — на каждое одинокое растение или камень, на каждый вид в этом саду, где расстояния между всем и вся тщательно отмерены».

— Я уж было решил, что ты передумала, — произнес он, пересекая пространство меж нами.

— Путь сюда оказался дольше, чем мне помнилось.

— Места, похоже, все дальше уходят одно от другого… верно?.. чем старее мы делаемся.

В свои шестьдесят семь Фредерик Преториус вел себя с достоинством, которое исходит от древнего произведения искусства, защищенного осознанием собственной редкости и ценности. Мы с ним поддерживали отношения много лет, всякий раз, когда он приезжал в Куала-Лумпур, встречались выпить по рюмочке или пообедать, но я всегда противилась его приглашениям наведаться на Камеронское нагорье. В последние

два-три года его приезды в К-Л[22] сошли на нет. Давным-давно я осознала, что он — единственный близкий друг, которого мне суждено иметь.

— Ты сейчас так разглядывала эту птицу, — сказал он, — словно всматривалась в прошлое.

Я оглянулась еще раз на цаплю. Птица ушла подальше, забираясь в пруд. Туман поднимался с поверхности воды в шорохах ветра.

— Я думала о днях былых…

— На секунду-другую, стоя там, я решил, что ты вот-вот растаешь, исчезнешь.

Фредерик помолчал, потом добавил:

— Захотелось окликнуть тебя.

— Я ушла в отставку из Суда.

В первый раз я сказала это вслух другому человеку. Похоже, что-то внутри меня сместилось и рухнуло, и я сделалась менее цельной, чем прежде.

— Я прочел об этом во вчерашних газетах.

— Фото, которое они поставили, — чудовищное, совершенно чудовищное!

Огоньки зажглись в саду, кружа голову летающим насекомым. Заквакала лягушка. Несколько подруг принялись вторить ей, потом еще, и еще

---

[22] Примечания: 22

К-Л — так сами малайзийцы, особенно живущие в столице, в разговорах называют Куала-Лумпур.

— пока воздух и земля не сотряслись от тысяч утробных звуков.

— А Чон ушел домой, — сказал Фредерик. — Завтра утром придет. Я привез тебе кое-что из продуктов.

— Очень заботливо с твоей стороны.

— Мне надо кое о чем переговорить с тобой. Может, завтра утром, если ты не против.

— Я встаю рано.

— Я не забыл. — Взгляд его скользнул по моему лицу. — Ты одна справишься?

— Прекрасно справлюсь. Увидимся завтра утром.

Похоже, мои слова не убедили Фредерика, но он кивнул. Потом повернулся и устремился к выходу по той же дорожке, по которой я только что прошла. Скоро он исчез среди теней под деревьями.

Цапля в пруду встряхнула крыльями, взмахнула на пробу ими несколько раз и улетела. Сделала один круг над садом, пронесшись мимо меня. В конце петли она распахнула крылья и полетела на огоньки только-только зажигавшихся звезд. Я стояла, запрокинув лицо в небо, и следила, как растворяется в сумеречном свете улетающая птица…

Вернувшись к себе в спальню, я вспоминаю

о тарелке с папайей, которую принес А Чон. Заставляю себя съесть оставшиеся дольки, потом разбираю вещи и вешаю одежду в гардероб. В последние несколько лет я наслышалась от людей жалоб на то, что климат нагорья уже не такой прохладный, каким был когда-то, однако тем не менее решаю надеть жакет.

Дом погружен в темноту. Когда я выхожу из своей комнаты, приходится вспоминать, куда сворачивать в его извилистых коридорах. Татами[23] в гостиной слегка поскрипывают, когда я прохожу по ним, давно лишенным всяких следов размягчающей ласки босых пяток. Двери на веранду открыты. А Чон поставил тут низкий квадратный столик, с каждой стороны которого уложены коврики, сплетенные из волокон ротанговой пальмы. Ниже веранды пять темно-серых валунов, расположенных на расстоянии один от другого, торчат над прямоугольным ложем из гравия, усыпанного листьями. Один из валунов отстоит от остальных подальше. За этим участком земля мягко идет под уклон, сливаясь с

[23] Примечания: 23

Татами — маты, которыми традиционно застилают полы в японских домах. Плетутся из тростника игуса и набиваются рисовой соломой. Имеют строго определенные размеры: 90 × 180 см (1,62 м^2), высота мата 5 см. В Японии площадь комнат традиционно измеряется в татами, что учитывается при постройке дома.

кромкой берега пруда.

Прибывает Фредерик, вид у него сразу делается несчастным оттого, что приходится сидеть на полу. Он бросает на столик картонную папку и опускает тело в сидячее положение со скрещенными ногами, морщась от усилий поудобнее устроиться на коврике.

— Тебе не кажется странным, что ты вернулась сюда? — спрашивает он.

— Куда ни повернусь, всюду слышу эхо звуков, давным-давно отзвучавших.

— Я тоже их слышу. — Он развязывает тесемки папки, достает и раскладывает на столе стопку бумаг. — Это рисунок для нашей последней линии. А это, вот тут… — указательный палец упирается в лист и по скользящей лаковой поверхности стола пододвигает его ко мне… — это для упаковок.

Эмблема, использованная на иллюстрациях, мне знакома: то, что, по всей видимости, первоначально было прожилками чайного листа, преобразуется в подробный рисунок долин с проступающим из переплетения штрихов изображением Дома Маджубы.

— С гравюры, которую Аритомо подарил Магнусу?

— Хотелось использовать ее, — кивает Фреде-

рик. — Я заплачу, конечно… за использование, я имею в виду.

Аритомо оставил Югири и авторские права на все свои литературные и художественные произведения мне. За редкими исключениями, я никогда не позволяла кому бы то ни было воспроизводить их.

— Используй, — говорю я Фредерику. — Никакой платы мне не нужно.

Тот не скрывает удивления.

— Как Эмили? — спрашиваю я, не давая ему заговорить. — Ей, должно быть… сколько? восемьдесят восемь?

Я пытаюсь сообразить, сколько лет было его тетушке, когда я познакомилась с ней многие-многие годы назад.

— У нее припадок сделается, если она такое услышит. Ей в этом году восемьдесят пять исполнилось. — Фредерик замялся. — С ней неладно. Есть дни, когда ее память посрамила бы слоновью, но есть и такие дни…

Голос его умолкает, сменяясь вздохом.

— Я навещу ее, как только устроюсь.

Мне известно, что Эмили, как и многие старые китаянки, придает большое значение тому, чтобы люди помоложе наносили им визит первыми,

выказывая тем самым уважение.

— Да уж, сделай милость. Я уже сообщил ей, что ты вернулась.

Взмахом руки я обвожу сад:

— Твои рабочие хорошо позаботились о Югири.

— Судьям не подобает лгать, — улыбка на лице Фредерика тает спустя всего секунду. — Нам обоим известно, что у моих ребят нет умения содержать его. У меня тоже нет знаний… равно как интереса или времени… чтобы надзирать за тем, делают ли они свою работу как следует. Саду нужна твоя забота.

Он умолкает, потом произносит:

— Между прочим, я решил произвести кое-какие изменения в саду Маджубы.

— Какого рода изменения?

— Я нанял себе в помощь ландшафтного садовника… садовницу, — говорит Фредерик. — Вималя стала заниматься садоводством в Тинах-Рате год назад. Она — отчаянная поборница дикорастущих садов.

— Следует за модой.

Я и не подумала приглушать в голосе презрительную интонацию.

Лицо его раздраженно морщится:

— Мы возвращаемся к задуманному природой. Мы используем растения и деревья, присущие этой местности. Мы позволим им расти так, как они сделали бы это на воле, при настолько малом содействии — или вмешательстве — человека, какое только возможно.

— Ты уберешь все сосны в Маджубе? И ели, эвкалипты… розы, ирисы… и… и стрелиции[24]?

— Они все — чужие. Все до единой.

— Так же, как и каждый чайный куст здесь. Как и я! Как и вы тоже, мистер Преториус. Особенно — вы.

Не мое дело, понимаю, но только с тех самых пор, как дядя Фредерика, Магнус, создал чайную плантацию Маджуба, почти шестьдесят лет его обихоженными садами восхищались, их любили. Люди съезжались со всей страны полюбоваться на английский сад в тропиках. Они ходили среди искусно подстриженных живых изгородей и роскошных цветочных клумб, цветочных бордюров и роз, посаженных Эмили. Мне даже слышать больно, что сад должны переделать, придать

---

[24] Примечания: 24

Стрелиции — цветы (в основном желтые, красные, оранжевые, размером 10–15 см), особо любимые в Южной Африке, где растение называют цветком птицы рая, а его изображение отчеканено на обратной стороне 50-центовой монеты ЮАР.

ему вид части тропических джунглей, которые обступают нас со всех сторон — разросшиеся, неухоженные, лишенные всякого порядка.

— Я тебе и раньше говорил, давным-давно: сады Маджубы чересчур искусственны. Чем старше я становлюсь, тем больше не верю в возможность управлять природой. Деревьям следует позволить расти, как им угодно. — Фредерик бросает взгляд на сад. — Будь моя воля, я бы все это повыдергал.

— Что такое садоводство, как не управление природой и не улучшение ее? — Я ловлю себя на том, что повышаю голос. — Когда ты болтаешь про «естественное садоводство», или как там ни назови, ты уже задействуешь человека. Ты копаешь клумбы, срубаешь деревья, приносишь семена и саженцы. Для меня это выглядит весьма натянуто…

— Сады, подобные Югири, — обманки. Они фальшивы. Все здесь — результат продуманности формы и построения. Мы сидим в одном из самых искусственных мест, какие только сыскать можно.

Ласточки взмыли с травы на деревья, словно опавшие листочки, возвращающиеся на родные ветви. Я думала о том, что составляет искусство

создания садов, противником которых выступает Фредерик, о подходах, так любимых японцами: приемах воздействия на природу, которые оттачивались больше тысячи лет. Не оттого ли, что жили они на землях, которые регулярно корежили землетрясения и природные бедствия, проистекало их стремление укротить мир вокруг себя? Взгляд мой перенесся в гостиную, на бонсай сосны, за которым так преданно ухаживал А Чон. Громадина-ствол, в который вымахала бы на воле сосна, ныне сведен к размеру, который вполне уместно смотрится на столе ученого, обуздан до желаемой формы медной проволокой, обвивающей его ветви. Есть люди, вроде Фредерика, кому чудится, будто подобные выкрутасы — сродни попыткам править силами небесными на земле. И все же — именно в тщательно продуманном и сотворенном саду Югири обрела я чувство порядка и покоя. И даже (на очень краткий отрезок времени) — забвения.

— Сегодня утром ко мне один человек приедет повидаться, — говорю я. — Из Токио. Он хочет взглянуть на ксилографии Аритомо.

— Ты продаешь их? С деньгами плохо?

Его обеспокоенность трогает меня, остужает мой гнев. Творец садов, Аритомо к тому же был

мастером гравюры на дереве. После того как я призналась (одна неосмотрительная фраза во время какого-то интервью), что он оставил мне коллекцию своих ксилографий, знатоки и ценители из Японии пытались убедить меня расстаться с ними или устроить их выставку. Я всегда отказывалась, к их великому возмущению: многие из них дали ясно понять, что не считают меня законной владелицей.

— Профессор Йошикава Тацуджи обратился ко мне год назад. Он намеревался написать книгу о ксилографиях Аритомо. Я уклонилась от разговора с ним.

Брови Фредерика взметнулись вверх:

— Однако сегодня он приезжает?

— Недавно я навела о нем справки. Он историк. И уважаемый. Писал статьи и книги о действиях его страны во время войны.

— Отрицая, что некоторые факты вообще имели место, я уверен.

— У него репутация объективного исследователя.

— С чего бы это историку интересоваться искусством Аритомо?

— Йошикава еще и знаток японской гравюры на дереве.

— Ты читала что-нибудь из его книг? — спрашивает Фредерик.

— Все они на японском.

— Ты ж говоришь на их языке, разве нет?

— Говорила когда-то, немного, только-только чтоб объясниться. Говорить одно, а вот читать на японском… это совсем другое.

— За все эти годы, — говорит Фредерик, — за все эти годы ты так и не рассказала мне, что джапы[25] сделали с тобой.

— То, что они сделали со мной, они сделали с тысячами других.

Пальцем я обвожу контуры чайного листа на упаковке.

— Однажды Аритомо прочитал мне стихотворение о потоке, который пересох, — на мгновение я задумываюсь, потом произношу: «Пусть иссякло теченье воды, все равно слышен нам ее имени шепот».

— Тебе все еще тяжело, ведь так? — говорит Фредерик. — Даже спустя столько времени после его смерти.

Мне всегда делается не по себе, как только я слышу, что кто-то упомянул о «смерти» Аритомо,

---

[25] Примечания: 25

Джапы — так кратко (и не без оттенка презрительности) зовут японцев не только в Малайзии, но и фактически по всему миру.

даже спустя столько лет.

— Бывают дни, когда я думаю, что он все еще там, бродит в горах, как один из Восьми Бессмертных в даосской легенде, мудрец, держащий путь домой, — признаюсь я. — Но меня поражает, что все еще находятся люди, которые знай себе приезжают сюда только потому, что наслушались всяких сказок.

— Ты ж знаешь, он жил здесь… сколько? Тринадцать лет? Четырнадцать? Он каждый день ходил по тропинкам в джунглях. Знал их получше иных лесничих-проводников. Как мог он потеряться?

— Даже обезьяны падают с деревьев, — я силюсь припомнить, где слышала это, но память подводит. Пытаюсь утешиться тем, что она еще вернется ко мне. — Возможно, Аритомо не так хорошо знал джунгли, как сам полагал.

Изнутри дома слышится звон колокольчика: кто-то тянет за шнурок у входа.

— Это, должно быть, Йошикава.

Фредерик упирается руками в стол и встает, по-стариковски кряхтя. Я продолжаю сидеть, следя за тем, как исчезают с лаковой поверхности следы его ладоней.

— Мне бы хотелось, чтоб ты был здесь, Фредерик, когда я буду говорить с ним.

— Я должен бежать. Забот полон рот.

Медленно распрямляю тело, пока, выпрямившись, не могу взглянуть на него глаза в глаза.

— Прошу тебя, Фредерик.

Он смотрит на меня. И через мгновение кивает.

Глава 2

Историк прибыл точно в назначенное время, и я подумала: уж не прослышал ли он про то, как я обходилась с адвокатами, которые позволяли себе с опозданием являться на мои судебные заседания. Еще несколько минут — и А Чон проводит его на веранду.

— Профессор Йошикава, — приветствую я его по-английски.

— Прошу вас, зовите меня Тацуджи, — просит он, низко мне поклонившись, на что я поклоном не отвечаю. Повожу головой в сторону Фредерика:

— Мистер Преториус, мой добрый приятель.

— А-а! С чайной плантации Маджуба, — кивает Тацуджи, взглянув на меня, прежде чем поклониться Фредерику.

Я указываю Тацуджи на традиционное место почетного гостя, с которого лучше всего, во всей красе, виден сад. Тацуджи под шестьдесят пять, на нем светло-серый полотняный костюм, белая сорочка из хлопка, бледно-голубой галстук. По возрасту, прикидываю я, вполне мог воевать на

войне: этой меркой я, почти подсознательно, меряю всякого встреченного японца. Он обводит взглядом низкий потолок, стены и деревянные стойки, прежде чем обратить его на сад.

— Югири, — негромко роняет он.

Появляется А Чон с подносом чая и маленьким бронзовым колокольчиком. Я разливаю чай по чашкам. Тацуджи отводит глаза, когда я ловлю его на том, что он разглядывает мои руки.

— Ваше нежелание беседовать с кем-либо из нашей братии хорошо известно, судья Тео, — говорит он, когда я ставлю перед ним чашку с чаем. — Признаться честно, меня не удивил ваш отказ принять меня, зато я был буквально огорошен, когда вы передумали.

— Я вдруг обнаружила, что у вас впечатляющая репутация.

— Определение «одиозная» подошло бы больше, — откликается Тацуджи, тем не менее вид у него явно польщенный.

— У профессора Йошикава есть обыкновение выносить на обсуждение очень непопулярные темы, — объясняю я Фредерику.

— Всякий раз, когда вносятся изменения в наши учебники истории, чтобы убрать любые упоминания о преступлениях, совершенных нашими

войсками, всякий раз, когда министр правительства посещает святилище Ясукуни[26], — говорит Тацуджи, — я рассылаю в газеты письма с протестами против этого.

— Ваш собственный народ… — произносит Фредерик, — как люди реагируют на это?

Некоторое время Тацуджи безмолвствует.

— За последние десять лет на меня совершено четыре нападения, — отвечает он наконец. — Я получаю письма, в которых мне грозят смертью. Но все равно продолжаю вести программы на радио и телевидении. Убеждаю всех и каждого, что мы не можем отрицать свое прошлое. Мы должны искупать вину. Обязаны.

Возвращаю разговор к причине нашей встречи:

— Накамура Аритомо весьма долго не был ни в чести, ни в моде. Даже при жизни. Почему же у вас возникло желание написать о нем сейчас?

— Когда я был моложе, у меня был друг, — говорит Тацуджи. — Он владел несколькими

---

[26] Примечания: 26

Ясукуни — синтоистское святилище («храм мира в стране» — *яп.*), расположенное в Токио. Особое положение Ясукуни определяется тем, что там поклоняются душам воинов, погибших за Японию и императора. Верховное божество храма — император Японии. Ведает храмом (построен в 1869 г.) военное руководство страны. Посещение святилища императором Мэйдзи (1874), по сути, приравняло солдат, отдавших жизнь за императора, к богам.

образцами *укиё-э*[27] Аритомо-сэнсэя[28]. И всегда с восторгом рассказывал, что они были созданы садовником императора. — Историк касается губами краешка чашки и издает звук одобрения. — Превосходный чай.

— С плантации Маджуба, — сообщаю я ему.

— Непременно надо не забыть купить, — обращается Тацуджи к Фредерику.

— *Ужаси-ё* — это что? Та ерунда, которой Аритомо занимался? — спрашивает тот.

— Гравюры на дереве, — поясняет Тацуджи.

— Вы привезли их? — перебиваю его я. — Те гравюры, которыми ваш друг владел?

— Они были уничтожены во время воздушного налета вместе с его домом, — японец выжидающе замолкает, но, видя, что я молчу, продолжает: — Моему другу я обязан своим интересом к Накамура Аритомо. О его живописных работах не написано ничего сколько-нибудь стоящего. Как и о его жизни после того, как он покинул Японию.

---

[27] Примечания: 27

Укиё-э, «образы изменчивого мира» (*яп.*) — направление в японском изобразительном искусстве. Гравюры в стиле укиё-э — основной вид ксилографии в Японии.

[28] Примечания: 28

Сэнсэй (*яп.* — буквально «рожденный раньше», старший) — вежливое обращение к учителю, почтенному лицу или значительно старшему по возрасту человеку.

Я решил хоть немного восполнить пробел.

— Юн Линь, видите ли, никому не дает разрешения на использование художественных творений Аритомо, — говорит Фредерик.

— Мне известно, что Аритомо-сэнсэй оставил все, чем владел, вам, судья Тео, — замечает Тацуджи.

— Вы послали мне вот это, — я кладу на стол деревянную палочку.

— Вы знаете, что это такое?

— Это держатель иглы для татуировок, — отвечаю я. — Ими пользовались до того, как татуировщики перешли на электроиглы.

— Аритомо-сэнсэй создал совершенно иной вид живописного творчества, тот, который он никогда не раскрывал публике. — Тацуджи берет держатель. У него тонкие пальцы, маникюр. — Он был мастером *хоримоно*[29].

— Кем-кем? — спрашивает Фредерик, рука которого с чашкой чая застывает на полпути ко рту. Рука слегка подрагивает. Когда же я стала замечать все эти мелкие признаки старости у

---

[29] Примечания: 29

Хоримоно — резьба, гравировка (*яп.*). Первоначально — гравировка на лезвиях мечей и кинжалов. Затем — высокий стиль нанесения на тело изображений, которые, как правило, повторяли сюжеты классической японской живописи или создавались по оригинальным замыслам художников.

окружающих меня людей?

— Аритомо-сэнсэй был больше, чем императорский садовник. — Тацуджи большим пальцем поправляет узел своего галстука. — Он был еще и *хороти*, мастер татуировки.

Я выпрямляю спину.

— Между художником-гравером на дереве и мастером *хоримоно* всегда существовала тесная связь, — продолжает Тацуджи. — Они черпали из одного и того же источника вдохновения.

— И что же это за источник? — спрашиваю.

— Книга. Роман из Китая, переведенный на японский язык в восемнадцатом веке. *«Суикоден»*[30]. Когда его опубликовали, он стал бешено популярен.

— Вроде тех штучек, которые неизменно приводят в неистовство ваших школьниц, — бросает Фредерик.

— Куда больше, — говорит Тацуджи и предостерегающе поднимает указательный палец для Фредерика, прежде чем обратиться ко мне: — Я бы предпочел поговорить наедине, судья Тео. Если можно, давайте договоримся и встретимся в другое время…

---

[30] Примечания: 30

«Суикоден» — японское название китайского классического романа «Речные заводи».

Фредерик делает движение, собираясь встать, но я, глядя на него, отрицательно повожу головой.

— Что дает вам уверенность, Тацуджи, в том, что Аритомо был мастером татуировки? — спрашиваю.

Историк бросает взгляд на Фредерика, потом на меня:

— Мужчина, которого я когда-то знал, носил на теле татуировку.

Он молчит несколько мгновений, пристально вглядываясь в пустоту.

— Он сказал мне, что ее сделал Аритомо-сэнсэй.

— И вы ему поверили.

Тацуджи смотрит мне прямо в глаза, и я даже вздрагиваю от боли в его взгляде.

— Он был моим другом.

— Тем самым, у которого имелась коллекция гравюр Аритомо? — спрашиваю я.

Тацуджи кивает.

— Вам следовало бы его привезти с собой сегодня.

— Он скончался… несколько лет назад.

На какой-то миг я вижу отражение Аритомо на поверхности стола. Приходится сдерживаться,

чтобы не оглянуться и не посмотреть, не стоит ли он сзади, заглядывая мне через плечо. Один взмах ресниц — и он исчез.

— Я согласилась встретиться с вами по поводу ксилографий Аритомо, — напоминаю я Тацуджи. — Они вас по-прежнему интересуют?

— Вы разрешите мне использовать его *укиё-э*?

— Мы обсудим, какие из гравюр войдут в вашу книгу, как только вы закончите их осмотр. Однако — никаких упоминаний о татуировках, якобы сделанных им, я не разрешаю. — Я подняла руку, останавливая готового перебить меня Тацуджи. — Если вы нарушите какое-либо из моих условий — любое из них, — я сделаю все, чтобы тираж вашей книги целиком пошел под нож.

— Японский народ имеет право по достоинству оценить работы Аритомо-сэнсэя.

— Я, — указываю себе на грудь, — одна я буду решать, на что японский народ имеет право.

Поднимаясь на ноги, я морщусь от боли в суставах. Историк встает, чтобы помочь мне, но я отталкиваю его руку.

— Я соберу все оттиски. Мы снова встретимся через несколько дней, чтобы вы могли ознакомиться с ними.

— Сколько их всего?

— Понятия не имею. Двадцать или тридцать, наверное.

— Вы никогда не рассматриваете их?

— Только некоторые.

— Я живу в гостинице «Коптильня». — Историк записывает номер телефона на листочке бумаги и протягивает его мне. — Можно мне осмотреть сад?

— За ним не было должного ухода.

Я звоню в бронзовый колокольчик на подносе:

— Мой домоправитель проводит вас к выходу.

День выдался безоблачный, сильный поток ясного света заливает сад. Листья клена, растущего рядом с домом, уже начали рдеть и скоро полностью окрасятся красным цветом. По какой-то неведомой причине этот клен никогда не обращал внимания на отсутствие смены времен года в предгорье. Привалившись к деревянной стойке, костяшками пальцев растираю бедро, отгоняя боль. Понадобится время, чтобы вновь привыкнуть сидеть по-японски. Уголком глаза замечаю, что Фредерик внимательно смотрит на меня.

— Не доверяй этому человеку, — говорит он. — Тебе следует предоставить гравюры и другим специалистам.

— У меня не так много времени.

— А я-то надеялся, что ты побудешь немного. У нас тут новая чайная, хочу тебе показать. Вид оттуда великолепнейший. Нельзя тебе снова уезжать так скоро. — Он смотрит на меня и, похоже, понемногу догадывается, в чем дело: лицо его опадает.

— Что еще? Что случилось?

— Что-то такое у меня в мозгу, что-то, чего там быть не должно. — Я поплотнее запахиваю на себе жакет. Он ждет дальнейших объяснений. — Мне стало трудно запоминать имена. Были случаи, когда я никак не находила нужных слов.

Фредерик машет рукой:

— Со мной такое тоже случается. Это просто возраст нас достает.

— Тут другое, — возражаю я. Он вскидывает взгляд, и я уже прикидываю, а не смолчать ли об этом. Но… — Сидела как-то днем в суде и вдруг, ни с того ни с сего, не могла понять, как ни старалась, что сама же написала.

— Врачи, что они сказали?

— Нейрохирурги провели обследование. И сообщили мне то, что я и сама подозревала. Я теряю способность читать и писать, понимать речь — на любом языке. Через год — возможно, позже, возможно, раньше — буду не в состоянии

выражать свои мысли. Стану фонтанировать бессмыслицей. Чту люди говорят, чту значат слова, которые я буду видеть на страницах, уличных вывесках — повсюду, все это станет для меня непонятным, — на несколько секунд я умолкаю. — Мои умственные способности ухудшатся. Затем последует слабоумие.

Фредерик не сводит с меня глаз:

— В наше время врачи способны вылечить что угодно.

— Не хочу обсуждать это, Фредерик. И держи язык за зубами.

Моя ладонь останавливает его, моя ладонь с двумя обрубками вместо пальцев. Мгновение спустя я сжимаю три пальца и отвожу руку назад, держа ее крепко сжатой в кулачок. Такое ощущение, будто схватила в воздухе нечто неосязаемое.

— Придет время, когда я растеряю все свои способности… наверное, даже память утрачу, — выговариваю я, с усилием удерживая спокойствие в голосе.

— Записывай, — говорит он. — Все записывай, все воспоминания, которые для тебя важны. Это нетрудно: все равно что написать одно из твоих судебных решений.

Бросаю на него косой взгляд:

— Что ты знаешь про мои решения?

В ответ Фредерик смущенно улыбается:

— Адвокатам было поручено присылать мне копии, всякий раз после их публикации в Судебных отчетах. Ты хорошо пишешь: твои решения понятны и побудительны. Я до сих пор помню то дело министра, который привлек черную магию, чтобы убить свою любовницу. По-хорошему, тебе бы следовало из них книгу составить. — Морщины у него на лбу сделались глубже. — Ты как-то процитировала одного английского судью. Разве не сказал он, что слова — это орудия профессии юриста?

— Скоро я не смогу пользоваться этими орудиями.

— Я буду читать тебе. Стоит только тебе захотеть снова услышать твои собственные слова, и я буду тебе их читать вслух.

— Ты что, не понимаешь, что я пытаюсь тебе втолковать? К тому времени я буду не в состоянии понимать, чту мне говорит кто угодно!

Он не вздрагивает от моего гнева, но видеть печаль в его глазах невыносимо.

— Ты лучше иди, — говорю я, отталкиваясь от стойки. Мои движения мне самой кажутся медленными, тяжелыми. — Я тебя и без того

задержала.

Фредерик смотрит на часы:

— Это не важно. Так, несколько журналистов, которым придется показать плантацию, очаровать их, чтобы написали что-нибудь хвалебное.

— Ну, это будет не слишком сложно.

Улыбка проскальзывает по лицу Фредерика и тут же гаснет. Он хочет сказать что-то еще, но я качаю головой. Он сходит с веранды по трем низким ступенькам, потом медленно поворачивается ко мне. Совершенно неожиданно он становится похож на старого-престарого деда.

— Что ты собираешься делать?

— Собираюсь прогуляться.

У входной двери А Чон протягивает мне посох для ходьбы. Я отрицательно трясу головой, потом забираю у него палку. У нее удобная тяжесть. Какое-то время смотрю на посох, а затем все же возвращаю. Шага через три-четыре останавливаюсь и оглядываюсь через плечо. А Чон все еще стоит, глядя на меня. Чувствую на себе его пристальный взгляд всю дорогу, пока иду до противоположной стороны пруда. Когда оглядываюсь и смотрю через все пространство воды, его уже нет — скрылся внутри дома.

Воздух свеж, словно бы им никогда не дышало

ни одно живое существо. После липкой жары Куала-Лумпура такая перемена приятна. Уже почти полдень, но солнце прячется за облаками.

Поверхность воды выстлана лепешками листьев лотоса, словно плиткой. В предыдущий вечер я этого не заметила. Изначально кромкам противоположных берегов пруда была придана форма океанских волн, вздыбленных прибоем, но их не закрепили как следует, и очертания расплылись. Стропила на крыше павильона обвисли. Кажется, что все сооружение тает, теряя память о былой своей форме. Листья, мертвые насекомые и отшелушившаяся кора под ногами. Что-то гибко скользит среди всего этого, и я отступаю назад.

Дорожка, ведущая в сад, выложена сланцевыми кольцами, нарезанными из сердечников буров, списанных с золотых приисков Рауба. С каждого поворота дорожки открывается иной вид, ни с какой точки нельзя обозреть весь сад целиком, что создает впечатление, будто он раскинулся шире, чем есть на самом деле. Декоративные предметы лежат полускрытыми в высоких метелках травы лаланг: гранитный торс; вырезанная из песчаника голова Будды, черты лица его сглажены туманом и дождем; камни необычной формы или

расцветки. Каменные фонари, крышки которых увешаны лохмами паутины, угнездились среди свивающихся папоротников. Югири, по замыслу, с самого первого камня, заложенного Аритомо, должен был выглядеть старым; ныне иллюзия возраста, которую мастер создавал, обратилась в реальность.

Рабочие Фредерика ухаживали за этим местом, следуя данным мною указаниям. Сад содержали неумело: ветви, которые следовало оставить расти, обрезались, вид, который должен был быть затененным, открывался вовсю, дорожки расширяли безотносительно ко всеобщей гармонии сада. Даже ветер, проносясь сквозь кустарники, звучал не так, как должен бы, потому что подлеску позволялось расти чересчур густым и чересчур высоким…

Упущения и ошибки подобны фальшивым звукам, которые копятся с появлением все большего числа плохо настроенных музыкальных инструментов в оркестре.

А ведь Аритомо однажды мне сказал, что из всех созданных им садов этот значит для него больше всего.

На половине своей прогулки я остановилась, повернулась и направилась обратно к дому.

Бронзовый Будда четырнадцатого века в кабинете не постарел, заботы мира не оставили следов на его лице. Проветривая комнату, А Чон весь день держал окна открытыми, но запах плесени от книг на полках состаривает сумрак, заполняющий весь дом.

Ощущение, что со мной что-то неладно, дало о себе знать пять-шесть месяцев назад. Я часто просыпалась от болей ночью и стала быстро уставать. Случались дни, когда не удавалось вызвать в себе никакого интереса к работе. Беспокойство переросло в жалящий страх, когда стали забываться имена и слова. Я начала подозревать, что это не просто наступление старости, а нечто большее. Я была болезненно слабой, когда освободилась от лагерной каторги, и полностью здоровье мое так никогда и не восстановилось. Я заставила себя вернуться к той жизни, которою жила до войны. Адвокатская, а позже судейская деятельность смягчала боль, я находила удовольствие в работе над словом, в применении закона. Более сорока лет мне удавалось не обращать внимания на истощение собственного тела, зато меня никогда не покидал вечный страх, что придет день, когда истощать во мне будет уже просто нечего. Чего я не ожидала, так того, что это время придет так

скоро, так стремительно.

Я стала падающей звездой, тянущей за собой все вокруг, даже свет, в безостановочно раздающуюся пустоту.

Стоит только потерять всякую способность контактировать с окружающим миром, как не останется ничего, кроме того, что я помню. Мои воспоминания уподобятся песчаной отмели, отрезанной от берега приливом. Со временем они уйдут под воду, станут недосягаемы для меня. Такая перспектива ужасает. Ведь что за личность без хранимого в памяти? Призрак, обреченный витать между мирами — не имеющий ни индивидуальности, ни будущего, ни прошлого.

Предложение Фредерика, чтобы я записывала то, что не желала забыть, угнездилось в подсознании. Понимаю бесполезность этого, но часть меня жаждет быть уверенной, что, когда придет страшное время, у меня все равно останется возможность, пусть и скудная, как-то ориентироваться, помочь себе определять — что есть реальность.

Сидя за столом Аритомо, я осознаю, что в моей жизни есть куски, которые я не хочу терять, хотя бы потому, что до сих пор не знаю, как связать их воедино.

Когда суждено будет забыть многое, появится ли во мне наконец ясность в понимании того, кем были Аритомо и я друг для друга? Если к тому времени я все еще сохраню способность читать свои собственные слова, уже лишившись знания, кто занес их на бумагу, придут ли ко мне ответы?

Там, снаружи, горы вписаны в сад, стали частью его. Аритомо был мастер *шаккея*[31], искусства «заимствованного пейзажа», он использовал создания стихий и виды за пределами сада и делал их неотъемлемыми частями своего творения.

Утекает память. Я тянусь за ней, как будто ловлю лист, по спирали слетающий с высокой ветки. Я должна. Кто знает, вернется ли она ко мне когда-нибудь снова?

Во времена Чрезвычайного положения некоторые люди, приезжавшие частным порядком посмотреть чайную плантацию Маджуба, просили также показать им Югири. И иногда Аритомо разрешал. В таких случаях я должна была встречать посетителей у главного входа. Большинство

---

[31] Примечания: 31

Заимствованный пейзаж (*яп.*) — техника, предполагающая объединение сада с горами, лесом, зданиями или другими объектами вне его границ. Второстепенные элементы среднего плана (зачастую — тщательно ухоженные посадки) скрывают из виду нежелательное и создают желаемое представление. Зритель воспринимает все три области: передний план, второй план и фон — как единый сад.

из приезжавших были высокопоставленными государственными чиновниками, приехавшими отдохнуть с женами на Камеронском нагорье, прежде чем вновь вернуться к войне с укрывающимися в джунглях коммунистами-террористами. Они слышали про сад в горах и хотели взглянуть на него своими глазами, чтобы хвастать перед приятелями: мол, вот, были одними из немногих, удостоенных чести пройтись по нему. Гомон предвкушения обычно горячил воздух, когда я приветствовала гостей. «Что означает «Югири»?» — спрашивал кто-нибудь (обычно кто-то из жен), и я обычно отвечала: «Вечерние туманы».

Если час был подходящим и свет позволял, гости могли даже уловить мимолетное видение Аритомо, одетого в *юката* и *хакама*[32], выравнивавшего линии на белом гравии: садовник делал движения, будто практиковался в каллиграфии на камне. Наблюдая за выражениями лиц гостей, я понимала: кое-кто (если не все они) гадали про себя — не ошиблись ли их глаза, не видят ли

---

[32] Примечания: 32

Юката — традиционная японская одежда, представляющая собой летнее повседневное хлопчатобумажное или льняное кимоно без подкладки. Хакама — длинные широкие штаны в складку, похожие на юбку или шаровары, традиционно носимые японцами-мужчинами, особенно дома.

они того, чего быть тут не должно? То же самое пришло на ум и мне, когда я впервые увидела Аритомо.

Он никогда не сопровождал этих людей, предпочитая, чтобы развлекала их я. Однако он прекращал свои занятия и беседовал с гостями, когда я представляла его им. Я была уверена: те же вопросы много раз задавались раньше, на протяжении долгих лет, прошедших с тех пор, как он впервые появился в этих горах. Но тем не менее он терпеливо отвечал на них, причем я не замечала у него никаких признаков скуки. «Это верно, — обычно начинал он, предваряя свой ответ легким поклоном, — я был садовником императора. Но это было в иной жизни».

Неизбежно кто-нибудь интересовался, почему он, бросив все, приехал в Малайю. По лицу Аритомо разливалось выражение изумления, будто бы никогда прежде такого вопроса ему не задавали. Я улавливала искорку боли в его взгляде, и некоторое время не было слышно ничего, кроме перекликающихся на деревьях птиц. Потом он издавал короткий смешок и говорил: «Возможно, когда-нибудь, еще до того, как перейти через плавающий мост снов, я отыщу причину этого. Тогда я вам обязательно об этом расскажу».

Иногда случалось, что гости (обычно из тех, кто воевал или был вроде меня заключенным японских лагерей) настраивались воинственно, они не успевали и рта раскрыть, а я уже заранее знала, кто из них распалится. Тогда взгляд Аритомо обретал арктическую холодность, уголки его рта загибались вниз. Однако он всегда оставался вежливым, поклонами как бы заключая в скобки свои ответы, прежде чем уйти от нас.

Несмотря на навязчивые вопросы, я всегда чувствовала, что временами Аритомо нравилось считать, что и он — одна из причин, по которой люди приезжают посмотреть Югири, что они надеются на везение увидеть его, словно он редкий и необычный цветок дикой орхидеи, который нигде больше в Малайе не сыскать. Наверное, как раз поэтому Аритомо, невзирая на свою нелюбовь к гостям, ни разу не помешал мне представить ему посетителей и неизменно надевал национальную одежду всякий раз, когда узнавал, что очередная группа придет осмотреть его сад.

А Чон уже ушел домой. Дом безмолвен. Откинувшись в кресле, я закрываю глаза. Картины проносятся перед моим взором. Флаг полощется на ветру. Крутится водяное колесо. Пара журавлей взлетает над озером, с каждым взмахом

крыльев уносясь все выше и выше в небо, забираясь к солнцу…

Когда я вновь открываю глаза, почему-то мир кажется другим. Яснее, определеннее, но и — меньше.

Это будет не слишком отличаться от написания судебного решения, убеждаю себя. Я непременно найду нужные слова: они — всего лишь орудия, которыми я пользовалась всю свою жизнь. Из закромов памяти я буду черпать и записывать воспоминания о времени, которое провела с Аритомо. Я исполню, исполню танец под музыку слов — хотя бы еще раз.

Вижу, как за окнами густеют туманы, стирая с глаз долой горы, взятые взаймы садом. «Неужели и туманы — тоже деталь *шаккея*, сведенного воедино Аритомо? — думаю я. — И он задействовал не только горы, но и ветер, облака, постоянно меняющийся свет? Не заимствовал ли он у самих небес?»

Глава 3

Мое имя Тео Юн Линь. Я родилась в 1923 году на Пенанге, острове на северо-западном побережье Малайи. «Проли́вные китайцы»[33], мои родители говорили в основном на английском языке и попросили доброго друга нашей семьи, который был поэтом, выбрать для меня имя. Тео — это моя фамилия, мое семейное имя. Как и в жизни, семья должна стоять на первом месте. Так меня всегда учили. Я никогда не меняла порядок слов в своем имени, даже когда училась в Англии, и никогда не звалась каким-нибудь английским именем, только чтоб кому-то от этого было легче.

На чайную плантацию Маджуба я приехала 6 октября 1951 года. Мой поезд вполз на станцию Тапах-Роуд, опоздав на два часа, а потому стало легче, когда я в окно вагона заметила Магнуса Преториуса. Он сидел на лавочке со свернутой газетой на коленях и поднялся, когда поезд остановился. Он был единственным мужчиной на

[33] Примечания: 33

То есть этнические китайцы, жившие (и живущие) по берегам Малаккского пролива и утратившие многие связи (в том числе и языковые) со своей исторической родиной.

платформе с черной повязкой на глазу. Я сошла с вагона и помахала ему. Прошла мимо дрезины, везшей двух солдат, составлявших расчет установленных на дрезине пулеметов: вооруженная вагонетка сопровождала поезд, едва мы выехали из Куала-Лумпура. Пропотевшая хлопчатобумажная кофточка прилипла к моей спине, пока я пробивалась сквозь толпу молодых, одетых в форму цвета хаки австралийских солдат, не обращая внимания на их свист и взгляды, какими они меня провожали.

Магнус разогнал осаждавшую меня шайку носильщиков-тамилов и сказал, забирая мой чемодан:

— Юн Линь, и это весь твой *баранг*[34]?

— Я пробуду всего неделю.

Магнусу было уже под семьдесят, хотя выглядел он на десяток лет моложе. Выше меня на голову, он отлично справлялся с излишком веса, столь обычного у мужчин его возраста. Был он лысоват, волосы по бокам головы поседели, оставшийся глаз утопал в морщинках, но сиял поразительной голубизной.

— Извините, Магнус, что вам пришлось

---

[34] Примечания: 34
Баранг — личные вещи, имущество (*малайск.*).

ждать, — сказала я. — Вынуждены были останавливаться для бесконечных проверок. По-моему, полиции кто-то донес, что готовится засада.

— *Ag*[35], я знал, что вы опоздаете.

Говорил Магнус с акцентом, который был заметен даже после сорока лет жизни в Малайе: он проборматывал и проглатывал гласные.

— Вокзальное начальство объявляло. Еще повезло, что нападения не было, а?

Я прошла за ним в ворота крытого колючей проволокой забора, ограждавшего железнодорожный вокзал. Рядом, под манговым деревом, стоял оливково-зеленый «Лендровер». Магнус бросил мой чемодан на заднее сиденье, мы забрались в машину и поехали.

В отдалении, над известняковыми вершинами, сходились мрачные тучи, чтобы попозже, вечером, отмолотить землю дождем. Главная улица Тараха была тихой, деревянные ставни китайских магазинчиков (разрисованные рекламой таблеток тигрового бальзама и «поучай» от несварения) были опущены для защиты от полуденного солнца. На развилке, сворачивающей на трассу, Магнус остановил машину, пропуская

---

[35] Примечания: 35

Ag — южноафриканское выражение (произносится «экс»), родственное по смыслу русскому «эка», «вот еще».

мчащуюся военную колонну: разведывательные броневички с пулеметными башенками, угловатые бронетранспортеры и грузовики, набитые солдатами. Колонна направлялась на юг, в сторону Куала-Лумпура.

— Что-то случилось, — сказала я.

— Наверняка услышим об этом в вечерних новостях.

На пропускном пункте службы безопасности перед самым началом подъема дороги в горы особоуполномоченный малаец-полицейский опустил металлический шлагбаум и велел нам выйти из машины. Еще один полицейский, стоявший за насыпью, держал нас на мушке ручного пулемета «брен», пока третий обыскивал нашу машину и совал под нее зеркало на колесике. Остановивший нас особоуполномоченный попросил предъявить удостоверения личности. Меня сильно разозлило то, что он принялся обыскивать меня, а Магнуса не тронул. Подозреваю, что, охлопывая и ощупывая мое тело, он меньше обычного давал волю рукам: я не была привычной ему простой китаянкой-крестьянкой да и присутствие Магнуса, белого человека, видимо, сдерживало.

Вслед за нами особоуполномоченный остано-

вил пожилую китаянку, велел ей слезть с велосипеда. Лицо ее скрывала сплетенная конусом соломенная шляпа, а штанины черных хлопчатобумажных брюк стояли колом, измазанные засохшим млечным соком каучукового дерева. ОУ залез на самое дно ее плетеной ротанговой кошелки и вытащил оттуда ананас. «*Толонг, лах, толонг, лах*»[36], — умоляла женщина на малайском. Полицейский потянул за верхушку: дно ананаса отвалилось и плод распался на две половинки. Из выдолбленных внутри пустот на землю потекла струйка сырого риса. Причитания старой китаянки стали еще громче, когда полицейские потащили ее в стоявшее у обочины укрытие.

— Умну, — заметил Магнус, кивая на холмик риса на дороге.

— Полиция как-то схватила сборщика каучука, который тайком выносил сахар из своей деревни.

— В ананасе?

— Во фляге, где он его с водой смешал. Это было одно из первых дел, по которым я выступала обвинителем.

— И много у тебя было дел вроде этого? — спро-

---

[36] Примечания: 36

«Толонг, лах, толонг, лах» — зд.: «Сжальтесь, сжальтесь, а?» (*малайск.*)

сил Магнус, когда ОУ, подняв шлагбаум, махнул нам рукой: проезжайте.

— Вполне достаточно, чтобы мне начали угрожать смертью, — ответила я. — Это была одна из причин, по которым я ушла с работы.

Не проехав и полумили[37], мы остановились, уткнувшись в очередь из крытых грузовиков с задранным брезентом. Сопровождавшие груз тощие китайцы сидели на джутовых мешках с рисом, обмахиваясь разлохмаченными бамбуковыми веерами.

— Отлично. Я уж волноваться стал, что мы прозевали конвой, — сказал Магнус, глуша двигатель.

— Мы же в гору ползком будем двигаться, — заметила я, оглядывая грузовики.

— Ничего не поделаешь, *meisiekind*[38]. Зато у нас, по крайней мере, сопровождение будет, — ответил Магнус, указывая на два броневичка в голове очереди.

— Случаются нападения на Камеронском нагорье?

Три года минуло, как Малайская коммуни-

---

[37] Примечания: 37
Полумиля — около 800 метров.

[38] Примечания: 38
Meisiekind — дитятко, доченька (*африкаанс*).

стическая партия начала партизанскую войну против правительства, вынудив Верховного комиссара[39] объявить чрезвычайное положение в стране. Войне не было видно конца: коммунисты-террористы (которых правительство именовало «К-Ты» или по большей части «бандиты») беспрестанно нападали на каучуковые плантации и оловянные рудники.

— Засады устраивались на автобусы и армейские машины. Но на прошлой неделе они заявились на овощную ферму. Спалили дома и убили управляющего, — сообщил Магнус. — Ты выбрала не самое лучшее время навестить нас.

Слепило солнце, отражаясь от стоявших впереди грузовиков. Я опустила стекло в окошке со своей стороны, но только лишь впустила жар, исходивший от дороги. Пока мы ждали, за нами пристроились еще несколько машин. Минут пятнадцать спустя мы вновь двинулись. В целях безопасности все мелколесье по сторонам трассы было вырублено, деревья повалены, остались только узкие столбики пеньков. Поодаль от дороги стоял еще помнивший былую прохладную

[39] Примечания: 39

Верховные комиссары пришли на смену генерал-губернаторам колониальных времен, полномочные представители британской короны в странах Содружества наций.

тень деревьев длинный жилой дом коренных местных жителей, похожий на ковчег, вынесенный потопом. Какая-то старуха в саронге[40] сидела на корточках на пне и провожала нас взглядом, груди ее были выставлены напоказ, губы ярко окрашены красным.

Бамбуковые рощицы склонялись над дорогой, кромсая свет на бледные желтые заплатки. Какой-то грузовик, доверху груженный кочанами капусты, летел, кренясь, вниз, нам навстречу, заставив прижаться к скале на обочине: мне стоило только руку протянуть — и я могла бы ухватить росшие на ней папоротники, целый веник их сорвать. Температура продолжала падать, воздух прогревался только на коротких отрезках, где дорога сонливо нежилась на солнце. У водопада Лата Искандар водяная пыль раскинула над нами свою шуршащую сеть, насыщая воздух влагой, которая вздымалась до самых высоких горных пиков, увлекая за собой острый запах деревьев, перегноя и земли.

Час спустя мы добрались до Танах-Раты. Дорога

---

[40] Примечания: 40

Саронг — традиционная мужская и женская одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании из цветной хлопчатобумажной ткани, обертывается вокруг пояса (или середины груди — у женщин) и прикрывает тело до щиколоток, наподобие длинной юбки.

на въезде в селение просматривалась от здания из красного кирпича, стоявшего на возвышении.

— Если хочешь, можешь с местностью ознакомиться, — сказал Магнус, — только помни: деревенские ворота закрываются в шесть часов.

Туман размыл грузовики перед нами в бесформенные неуклюжие громадины. Магнус включил фары, обратив мир вокруг нас в желтушный мрак. Видимость улучшилась, стоило нам съехать с главной улицы.

— А вон «Зеленая корова», — кивнул Магнус. — Как-нибудь вечерком заедем сюда выпить.

Миновав здешний гольф-клуб, мы набрали скорость. Поглядывая искоса на Магнуса, я все думала, каково-то им с женой пришлось во время японской оккупации. В отличие от многих европейцев, живших в Малайе, они не эвакуировались, когда пришли японские солдаты, а остались жить в своем доме.

— Прибыли, — бросил он, сбавляя ход машины у ворот чайной плантации Маджуба. На гранитных столбах виднелись пустующие гнезда, в которых когда-то держались петли: словно бы зубы вырвали. — Джапы забрали ворота. Заменить их я не смог.

Он раздраженно покрутил головой:

— Война уже… сколько?.. шесть лет, как кончилась. А у нас все еще материалов не хватает.

Покрывавшие склоны холмов чайные кусты за десятилетия обрели форму коробчатой живой изгороди. Двигаясь между доходившими до пояса зарослями, работницы срывали листочки ненасытными пальцами, пригоршнями бросая их в закрепленные у них на спинах ротанговые корзины. Воздух отдавал чем-то травным: скорее привкус, чем запах.

— Это чай, да? — сказала я, глубоко вдыхая.

— Благоухание гор, — ответил Магнус. — Вот чего мне недостает больше всего, куда бы я отсюда ни уезжал.

— По виду не скажешь, что это место слишком сильно пострадало во время Оккупации.

Уловив горечь в моем голосе, Магнус напрягся лицом:

— Пришлось много потрудиться, чтобы восстановить все после войны. Нам повезло. Джапы были заинтересованы в том, чтобы производство не прекращалось.

— Разве они вас с женой не интернировали?

— *Ja*[41]… можно сказать, в каком-то смысле, —

---

[41] Примечания: 41

Ja — да (*африкаанс*).

ответил он не без легкой нотки оправдания. — Старшие армейские офицеры вселились в наш дом. Мы жили вместе со всеми на отгороженном участке плантации. — Он посигналил, заставляя вышедшую на дорогу сборщицу перескочить обратно на поросшую травой обочину. — Каждое утро мы маршировали на склоны и работали бок о бок с нашими чернорабочими-кули. Но, должен сказать, джапы к нам были добрее, чем англичане — к *моему* народу.

— Значит, вы побывали в узниках дважды, — сказала я, вспомнив, что он воевал на бурской войне. Ему тогда всего лет семнадцать-восемнадцать было. Почти столько же было и мне, когда я оказалась в заключении.

— И вот сейчас я попал в месиво еще одной войны, — он покачал головой. — Судьба у меня, что ли, такая, а?

Дорога вела нас все дальше по плантации, петляя вверх по холмам, пока мы не выехали к длинной дорожке, ведущей к дому, которая была обсажена эвкалиптами. Дорожка, расширившись под конец, привела нас к круглому декоративному пруду, по воде которого скользила вереница утят, подергивая рябью отражение дома. Ограда из колючей проволоки, окружавшая эти угодья,

напомнила мне о концлагере.

— Это капско-голландский[42] дом, — пояснил Магнус, неверно поняв недоуменное выражение на моем лице. — Весьма типичный для мест, откуда я родом.

С поста охраны торопился гурка[43], чтобы открыть ворота. Пара крупных коричневых собак бежала вприпрыжку рядом с машиной, пока Магнус объезжал вокруг дома, направляясь к гаражу.

— Не бойся, они не укусят. — Он показал на полоску темной шерсти вдоль хребта собак. — Родезийские риджбеки[44]. Тот — Бруллокс, а что поменьше — Биттергаль[45].

По мне, оба пса выглядели одинаково большими, своими холодными влажными носами они

---

[42] Примечания: 42

Персонажи романа, имеющие отношение к Южной Африке, чаще всего называют ее на голландский манер: *Каар,* или на английский: *Cape* (т. е. «Мыс»). В основном под этим подразумевается территория бывшей Капской колонии, Оранжевой Республики и Трансвааля, где проживали африканеры, добивавшиеся независимости от колониальной Британии.

[43] Примечания: 43

Гурки — одна из народностей Непала, мужчины которой более двух веков составляли элиту британских сухопутных войск. На воздвигнутом в Лондоне памятнике гуркам начертано: «Самые смелые из смелых, самые верные из верных. Никогда моя страна не знала более преданных друзей, чем вы».

[44] Примечания: 44

Родезийские риджбеки — южноафриканская порода собак, родственная гончим. Эту породу отличает высокий уровень интеллекта, способность принимать самостоятельные решения и отличная память. Они беззаветно преданы семье своего хозяина и от рождения обладают охранными качествами, не нуждаясь в особой дрессировке.

[45] Примечания: 45

Персонажи классического произведения южноафриканского деятеля культуры и политики Корнелия Лангенховена, два старых и глуповатых негодяя, Бруллокс и Биттергаль, которыми запугивали многие поколения детишек в Южной Африке.

обнюхивали мне голени, пока я выбиралась из «Лендровера».

— Пошли, пошли, — приговаривал Магнус, подхватывая мой чемодан. На краю газона, перед входом, он остановился, широко повел рукой и произнес:

— Дом Маджубы.

Стены одноэтажного строения были оштукатурены белым, что оттеняло черный тростник речного камыша, которым была крыта крыша. Четыре широких окна, с размахом отставленные подальше одно от другого, располагались по обе стороны от входной двери. Деревянные ставни и рамы были выкрашены в цвет зеленых водорослей. Высокие округлые фронтоны, украшенные изображениями листьев и винограда, венчали крыльцо. Высокие стебли цветов (позже я узнала, что они называются стрелициями) росли под окнами, их красные, оранжевые и желтые лепестки напоминали мне остроугольных птичек, которых любил складывать из бумаги один японец-охранник в моем лагере. Я поскорее отогнала это воспоминание.

На крыше ветер надувал флаг с незнакомыми мне четырьмя широкими полосами — оранжевой, белой, синей и зеленой.

— *Vierkleur*[46], — пояснил Магнус, проследив направление моего взгляда. — Флаг Трансвааля.

— И вы его не снимаете? — Вывешивать иностранные государственные флаги было запрещено еще год назад, чтобы предотвратить вздымание красных китайских знамен сторонниками Малайской коммунистической партии.

— Сперва меня пришлось бы пристрелить.

Магнус не снял обуви, прежде чем зайти в дом, и я последовала его примеру. Стены прихожей были выкрашены белым, желтые доски пола маслянисто поблескивали под лучами вечернего солнца, лившимися в окна. Мое внимание привлек ряд картин на стене в гостиной, и я решила взглянуть на них поближе. Горные пейзажи, бесплодные, протянувшиеся до горизонта…

— Фома Бэнс[47]. А вот те литографии с хинными

---

[46] Примечания: 46

Vierkleur, вирклёр (четырехцветный, *африкаанс*) — государственный флаг Южноафриканской Республики Трансвааль с 1858 по 1902 г.: зеленая вертикальная полоса у древка, от которой отходят три горизонтальные полосы равной ширины — оранжевая, белая, синяя.

[47] Примечания: 47

Фома Бэнс — английский художник и путешественник (1822–1875). Участвовал в экспедициях по исследованию Африки в бассейне реки Замбези и северной Австралии, где его именем названа одна из рек.

деревьями — это Пьерниф[48], — разъяснил Магнус, заметно польщенный моим интересом. — С Мыса.

В рамку вплыло чье-то отражение, и я повернулась навстречу китаянке лет под пятьдесят, седые волосы которой были скручены в пучок на затылке.

— Моя Лао Пуо, Эмили, — произнес Магнус, целуя жену в щеку.

— Очень рады видеть тебя у нас, Юн Линь, — поприветствовала та. Свободная бежевая юбка скрадывала очертания ее тонкой фигурки, на плечах — красный жакет.

— Где Фредерик? — спросил Магнус.

— Не знаю. Наверное, у себя в бунгало, — ответила Эмили. — У нашей гостьи усталый вид, Лао Кун. У нее был долгий день. Перестань хвастаться своим домом и проводи ее в ее комнату. Я уезжаю в медпункт: жену Муту укусила змея.

— Ты вызвала доктора Йео? — спросил Магнус.

— Конечно же, *лах*. Он уже едет. Юн Линь, мы поговорим попозже.

Она кивнула мне и ушла.

Магнус повел меня по коридору.

---

[48] Примечания: 48

Якобус Хендрик Пьерниф (1886–1957) — художник-пейзажист, признанный лучшим из южноафриканских старых мастеров.

— Фредерик — ваш сын? — спросила я: не могла припомнить, чтобы что-то слышала о нем.

— Мой племянник. Он капитан Родезийских африканских стрелков.

Дом был наполнен напоминаниями о родине Магнуса: крашенные охрой ковры, сотканные каким-то африканским племенем, хрустальная ваза с торчащими из нее иглами дикобраза, массивная, фута в два[49] длиной, бронзовая скульптура леопарда, преследующего невидимую добычу. В восточном крыле задней части дома мы миновали комнатушку, немногим больше кладовой для белья. Половину узкого стола в ней занимала рация.

— Вот так, — указал на нее Магнус, — мы поддерживаем связь с другими фермами. Завели мы их после того, как К-Ты стали слишком часто срезать наши телефонные линии.

Моя комната была последней по коридору. Стены — и даже пластиковые выключатели — были выкрашены белым, и на несколько секунд мне представилось, будто я снова в Ипохской городской больнице. На столе стояла ваза с цветами, каких я прежде никогда в тропиках не видела —

---

[49] Примечания: 49
Около 61 сантиметра.

кремово-белые, напоминающие формой раструб фанфары. Я потерлась запястьем об один цветок: его лепестки казались бархатными.

— Что это за цветы?

— Лилии ароидеи. Мне прислали клубни с Мыса, — сообщил Магнус. — Они здесь хорошо приживаются. — Он поставил мой чемодан у комода из тикового дерева и спросил: — Как твоя мама? Улучшения есть?

— Она ушла в свой собственный мир. Полностью. Больше даже не спрашивает меня о Юн Хонг.

Меня это в какой-то мере радовало, но об этом я ему не сказала.

— Тебе следовало бы после войны сюда приехать, здоровье восстановить.

— Я ждала ответа из университета.

— Но работать в Трибунале по военным преступлениям… после того, что с тобой случилось?!

Он покачал головой:

— Удивляюсь, как только отец тебе позволил.

— Всего три месяца-то и работала.

Я помолчала, потом сказала:

— За всю войну у него не было ни единой весточки обо мне или о Юн Хонг. Когда он меня увидел, то не знал, что со мной делать. Я была для

него призраком.

То был единственный раз в моей жизни, когда я видела отца плачущим. Он так сильно постарел… Однако, если разобраться, и я тоже. Мои родители уехали с Пенанга и перебрались в Куала-Лумпур. В новом доме он, прихрамывая (чего до войны никогда не было), привел меня на второй этаж, в комнату моей матери. Моя мать меня не узнала и повернулась ко мне спиной. Через несколько дней она вспомнила, что я ее дочь, но всякий раз, завидев меня, принималась расспрашивать о Юн Хонг: где она, когда домой придет, почему до сих пор не вернулась? Довольно скоро я стала испытывать жуткий страх, навещая ее.

— Мне было лучше, когда я уходила из дома, когда была занята чем-нибудь, — сказала я. — Отец чувствовал то же самое, хотя и не признавался в этом.

Попасть в Куала-Лумпуре на место помощника научного сотрудника Трибунала по военным преступлениям было несложно: на самом деле обладатель этой должности был не более чем клерком на побегушках. Столько много народу было убито или ранено на войне, что, когда японцы сдались, Британская военная администрация столкнулась с нехваткой кадров. Запись свиде-

тельских показаний жертв имперской японской армии, однако, подействовала на меня куда хуже, нежели я ожидала. Видя, как жертвы теряют самообладание, рассказывая о перенесенных ими жестокостях, я поняла, что мне только предстоит оправиться от того, что я пережила. Я обрадовалась, получив извещение о том, что принята в Гиртон.

— Сколько же военных преступников в итоге действительно покарали? — спросил Магнус.

— В Сингапуре и Малайе — совокупно — к смерти приговорили сто девяносто девять… но всего сто были в конечном счете повешены, — сказала я, заглядывая в ванную, — очень светлую и полную воздуха, пол выложен в шашечку холодной черной и белой плиткой. У стены на когтистых лапах стояла ванна. — Я присутствовала всего на девяти повешениях до того, как уехала в Гиртон.

— *My magtig*[50], — Магнус был явно ошарашен.

Какое-то время мы молчали. Затем он открыл дверь рядом с буфетом и попросил меня следовать за ним. Позади дома вилась усыпанная гравием тропка, которая повела нас мимо кухни, пока наконец мы не вышли на широкую террасу

---

[50] Примечания: 50
My magtig — вот ужас-то (*африкаанс*).

с хорошо ухоженной лужайкой. Пара мраморных статуй стояла в центре лужайки, каждая на своем постаменте, обращенные лицами друг к другу. На первый взгляд они казались одинаковыми, вплоть до складок на одеждах, свисавших с постаментов.

— Купил их поразительно дешево у жены старого плантатора после того, как плантатор сбежал с пятнадцатилетней любовницей, — сообщил Магнус. — Та, что справа, — Мнемозина. Слышала о ней?

— Богиня памяти, — сказала я. — А кто другая женщина?

— Ее сестра-близняшка, само собой. Богиня забвения.

— Ну и как ее зовут?

Магнус пожал плечами, развернув ко мне пустые ладони:

— Понимаешь, люди не помнят ее имени.

— А они не совсем одинаковые, — заметила я, приближаясь к статуям. — У Мнемозины черты лица четкие, нос и скулы выдаются, губы полные. Лицо ее сестрицы размыто, даже складки на одежде не так четко обозначены, как у сестры.

— Какая из них, по-твоему, старшая из близнецов? — задал вопрос Магнус.

— Мнемозина, конечно.

— В самом деле? Она выглядит моложе, ты так не считаешь?

— Память должна существовать до того, как появляется забвение, — улыбнулась я ему.

— Или ты позабыла о прежней памяти? — Магнус засмеялся. — Пойдем. Позволь я тебе кое-что покажу.

Он остановился у низкой стенки, проходившей по краю террасы. Вознесенный на самое высокое плато на плантации, Дом Маджубы позволял беспрепятственно любоваться всеми окрестностями. Магнус указал на шеренгу елей примерно в трех четвертях пути до подножия холма:

— Вон там начинается владение Аритомо.

— На глазок — не так уж и далеко, чтобы пешком дойти.

Я даже прикинула, что у меня это заняло бы минут двадцать.

— Не верь глазам своим. Ты когда с ним встречаешься?

— Завтра утром, в половине десятого.

— Фредерик или один из моих служащих отвезут тебя.

— Я пойду пешком.

Заметив решимость, которую выразило мое

лицо, он на мгновение умолк.

— Твое обращение застало Аритомо врасплох… не думаю, что он обрадовался, получив его.

— Это была *ваша* идея, чтоб я обратилась к нему, Магнус. Надеюсь, вы ему не сказали, что я была заключенной японского лагеря?

— Ты же просила меня не говорить. Я рад, что он согласился устроить тебе сад.

— Пока не согласился. Решение он примет после разговора со мной.

Магнус поправил тесемку повязки на глазу.

— Ты уволилась даже до того, как он определился? Довольно безответственно, а? Разве тебе не нравилось обвинять?

— Нравилось. Поначалу. Но в последние несколько месяцев в душе какая-то пустота появилась… ощущение, что я понапрасну трачу время. — Я помолчала. — И я просто взбесилась, когда был подписан мирный договор с Японией.

Магнус смотрел на меня, склонив голову набок, его прикрывавшая глаз черная шелковая повязка стала очень похожа на кошачье ухо.

— Он-то какое отношение имеет к цене на яйца[51]?

---

[51] Примечания: 51

Идиоматическое выражение, соответствующее русскому «В огороде бузина, а в Киеве дядька».

— Одна из статей этого договора гласит, что Союзные Державы признают, что Япония *должна* выплатить репарации за ущерб и страдания, причиненные ею во время войны. Однако, поскольку платить Япония не в состоянии, Союзные Державы отказываются от всех репарационных требований Союзных Держав и их граждан. *И их граждан!* — Я сознавала, что почти перешла на крик, но была уже не в состоянии остановиться. Такое облегчение — выбить пробку и дать излиться своим чувствам. — Так что, понимаете, Магнус, англичане сделали все, чтобы никто… ни единый мужчина, ни единая женщина, ни единый ребенок, кого пытали, держали в заключении, зверски убивали джапы… никто из них или их семей ни в какой форме не могли бы потребовать от японцев денежного возмещения. Наше правительство предало нас!

— Ты так говоришь, будто тебя это удивляет, — хмыкнул Магнус. — Что ж, теперь тебе известно, на что способны эти *fokken Engelse*[52]. Извини, — прибавил он.

— Я потеряла интерес к своей работе. Я грубила своим начальникам. Я собачилась со своими

---

[52] Примечания: 52
Fokken Engelse — гребаные англикосы (*африкаанс, смягч.*).

коллегами. Я отпускала уничижительные замечания по адресу правительства любому, кто готов был слушать. Один из слушавших меня оказался репортером из «Стрэйтс таймс». — Воспоминания об этом вновь вызывали половодье горечи. — Я не уволилась, Магнус. Меня уволили.

— То-то твой отец, должно быть, расстроился, — заметил он. Показалось или в самом деле сверкнул в его глазу озорной — и даже злой — проблеск?

— Он назвал меня неблагодарной дочерью. Он за столько ниточек потянул, чтоб я получила эту работу, а теперь из-за меня он потерял лицо.

Магнус хлопнул ладонями за спиной.

— Ладно, что бы ни решил Аритомо, ты, надеюсь, побудешь у нас какое-то время. Неделя — это слишком мало. И — ты здесь в первый раз. Тут полно прелестных местечек, которыми можно полюбоваться. Приходи попозже в гостиную, скажем, через часок. Выпьем перед ужином, — произнес он, прежде чем вернуться в дом.

Воздух сделался прохладнее, но я осталась на террасе. Горы поглотили солнце, ночь растекалась по долинам. Запищали летучие мыши, охотясь на невидимых насекомых. Кучка заключенных в моем лагере однажды поймала летучую

мышь, изголодавшиеся мужики растянули крылья мыши над хилым огоньком, который высвечивал тонкие косточки под ее кожей…

На краю владений Накамура Аритомо угасавший свет обратил ели в пагоды, в стражу, охраняющую лежащий позади них сад.

Глава 4

На следующее утро, в половине седьмого, я вышла из Дома Маджубы. Даже после более чем пяти лет лагерный распорядок не оставил меня: два последние часа сна уже не было. Спалось урывками, не давало уснуть беспокойство: как-то примет меня этот японский садовник? В конце концов я решила не дожидаться половины десятого — времени, назначенного для встречи, а отправиться в путь, как только небо достаточно просветлеет.

Сунув свиток бумаг под мышку, я тихонько прикрыла входную дверь и пошла к воротам. Воздух покусывал за щеки, а облачка изо рта, казалось, делали мое дыхание более слышным, чем обычно. Гурка за оградой точил свой *кукри*[53] и, прежде чем открыть мне ворота, сунул кривой клинок в ножны.

День был воскресный, и чайные посадки пустовали. В долинах слабенькими звездочками

---

[53] Примечания: 53

Кукри — клинок особой (с «обратным изгибом») формы, имеющий профиль «крыла сокола» и заточенный по вогнутой грани. Национальный нож непальцев, особенно из племени гурков.

пробивались сквозь облачную пелену точки огоньков в крестьянских домах. Запахи подступавших вплотную джунглей возвращали меня в тюремный лагерь: этого я не ожидала. Я остановилась и огляделась. Луна уходила за горы — та самая луна, которую я, считай, каждый день видела на рассвете в лагере, и все же, кажется, не та. Столько времени прошло после освобождения из плена, а до сих пор, бывает, не могу поверить, что война кончилась, что я осталась в живых.

Мне припомнился разговор с Магнусом в баре клуба «Селангор» месяцем раньше, я тогда еще была заместителем государственного обвинителя. Возвращаясь к себе в прокуратуру по завершении дела, я срезала путь и пошла по узкому проулку позади дворов. Повернув за угол, я увидела, что путь мне преградила толпа. Мужчины в белых рубахах и черных брюках устанавливали объемные бумажные изображения японских солдат, сделанные в полный рост и наглядно представлявшие, как тех потрошили демоны преисподней. Я слышала о таких обрядах, но никогда их не видела. Совершались они для того, чтобы ублажить души убитых японцами — души, блуждающие безымянно по всей вечности.

Стоя позади толпы, я смотрела, как даосский священник в полинялом черном одеянии звонил в колокольчики и вычерчивал в воздухе невидимые слова заклинаний кончиком своего меча. Потом бумажные фигуры предали огню, жар пламени заставил толпу раздаться. Повсюду вокруг меня люди завывали и падали на колени, когда пепел взметнулся в небо, оставляя в воздухе запах обуглившейся бумаги и краски. По-видимому, души были умиротворены, однако я ощутила, как гнев с новой силой вспыхнул во мне, когда толпа разошлась. Понимая, что теперь до конца дня не смогу сосредоточиться на работе, я решила отправиться в библиотеку клуба «Селангор». Магнуса я не видела лет одиннадцать-двенадцать, но узнала его в вестибюле — повязка на глазу запомнилась — и окликнула. Магнус стоял в группе мужчин, сдававших сотруднику клуба оружие, и, услышав свое имя, оглянулся, силясь припомнить, кто я такая. Когда я назвала свое имя, лицо его расцвело улыбкой и он настоял на угощении — пригласил выпить по кружечке. Мы сели за столик на веранде, выходившей на игровое поле для крикета, *паданг*, с видом на судебные здания.

— Парень! — подозвал Магнус официанта (пожилого китайца) и заказал нам выпить. Верхний

вентилятор крутился вовсю над нашими головами, но был не способен разогнать влажность. Часы над зданием суда прозвонили, их звон перелетел через *паданг*. Было три, обычная орава плантаторов и юристов не должна была нагрянуть, по крайней мере в течение ближайших двух часов.

Магнус сообщил, что приехал в К-Л взять деньги в банке «Надежный» для выплаты зарплаты своим рабочим.

— Я слышал, твои родители теперь в К-Л живут, — сказал он. — Никогда бы не подумал, что твой отец когда-нибудь решится уехать с Пенанга. Твоя мама…

Магнус понизил голос и пристально глянул на меня:

— Как она?

— У нее бывают хорошие дни, бывают и плохие, — ответила я. — К сожалению, плохие случаются чаще.

— Знаешь, я пытался навестить ее. Это было сразу после твоего отъезда в Англию. Но твой отец не позволил. Думаю, он никому не дает ее видеть.

— Она слишком сильно расстраивается, когда кто-то, кого она не узнает, заговаривает с

ней, — объяснила я. — А сама она с трудом узнает большинство людей.

— Слышал, что случилось с твоей сестрой. Ужасно! — произнес он. — Я всего раз с ней встречался. Помню, она активно увлекалась садоводством.

— Она всегда мечтала создать свой собственный японский сад, — кивнула я.

Магнус изучающе оглядел меня, взгляд его скользнул вниз, на мои руки, прежде чем снова подняться к моему лицу.

— Создай его за нее. — Его палец поправил тесемку повязки на глазу. — Ты могла бы сделать Сад Памяти для нее. Не уверен, что ты помнишь, но мой сосед — японский садовник. Поверишь ли, был садовником самого императора! Может, он согласится выручить тебя. Ты могла бы попросить его создать сад для… Да, попроси Аритомо устроить сад для твоей сестры.

— Он же *джап*! — презрительно сморщилась я.

— Ну, знаешь, если нужен японский сад… — забурчал Магнус. — Аритомо в войне не участвовал. И если б не он, половину моих рабочих загребли бы и отправили куда-нибудь на рудники или вкалывать до смерти на железной дороге.

— Им придется повесить своего императора, прежде чем я попрошу кого-то из них о помощи.

Он недовольно уставился на меня: казалось, у него вся сила утраченного глаза перешла в здоровый, удвоив его остроту.

— Эта ненависть в тебе… — заговорил он, немного погодя, — тебе нельзя позволять ей вредить твоей жизни.

— Это выше моих сил, Магнус.

Официант вернулся с двумя запотевшими кружками пива. Магнус одним глотком опорожнил половину своей и отер рот тыльной стороной ладони.

— Мой отец разводил овец. Мать моя умерла, когда мне было четыре года. Меня сестра вырастила, Петронелла. Мой старший брат, Питер, учительствовал в Южной Африке. Когда началась война… я о Бурской войне говорю, о второй… я пошел добровольцем. Меньше чем через год попал к англичанам в плен и меня переправили в лагерь для военнопленных на Цейлоне. — Он опять поднес к губам кружку, но потом, даже не пригубив, тяжело опустил ее на стол. — Я дрался себе где-то далеко с англичанами, когда однажды утром на нашей ферме появились солдаты

Китченера[54]. Па был дома. Он затеял драку. Его пристрелили, а затем сожгли наш дом.

— А что случилось с вашей сестрой?

— Ее отправили в концентрационный лагерь в Блумфонтейн. Питер пытался ее вытащить оттуда. У него жена была англичанка, но даже ему не разрешили наведаться в лагерь. Петронелла умерла от тифа. Или, может, не от тифа… Позже выжившие говорили, что англичане добавляли заключенным в еду растертое стекло.

Он перевел взгляд на *паданг* — трава была сухая, воздух корчился от жары.

— Вернуться домой после войны, чтобы узнать все это о своей семье… нет, я не мог больше жить в тех краях, где вырос. Поехал в Кейптаун. Но все равно — и это казалось мне не очень далеко. Однажды весной, кажется, девятьсот пятого, купил билет до Батавии[55]. Судно вынуждено было встать на ремонт в Малаккский док, и нам сказали, что раньше чем через неделю ремонт

---

[54] Примечания: 54

Гораций Герберт Китченер, 1-й граф Китченер (1850–1916) — английский военный деятель, в 1900–1902 гг. был главнокомандующим британских войск в Англо-бурской войне, во время которой ввел систему концентрационных лагерей для мирного населения.

[55] Примечания: 55

Батавия — до 1942 г. главный город Нидерландской Индии на острове Ява; ныне Джакарта, столица Индонезии.

не закончится. Я шел по городу, когда увидел заброшенную церковь на холме…

— Святого Павла.

— *Ja, ja,* — заворчал Магнус, — Святого Павла. Там, на церковном погосте, я увидел надгробия, которым было по три, по четыре сотни лет. И что же я нашел среди них? Могилу Яна Ван Рибека![56]

Видя отсутствующее выражение на моем лице, Магнус покачал головой:

— Знаешь, мир был сотворен не только для английской истории. Ван Рибек основал Мыс, Капскую колонию. И стал ее губернатором.

— Почему же он кончил дни свои в Малакке?

— ОИК[57], голландская Ост-Индская компания, послала его туда в качестве наказания за какой-

---

[56] Примечания: 56

Йохан Антонисзон ван Рибек (1619–1677) — известный голландский исследователь и мореход, основатель города Кейптауна (Капская колония), позднее — колониальный администратор Нидерландской колониальной империи, в частности ее азиатских владений (современная Индонезия).

[57] Примечания: 57

Объединенная Ост-Индская компания (ОИК) существовала в 1602–1798 гг. Акционерами ОИК были богатейшие голландские купцы. На всем пространстве к востоку от мыса Доброй Надежды до Магелланова пролива ОИК имела монопольное право торговли и мореплавания, беспошлинного провоза товаров в метрополию, создания факторий, крепостей, набора и содержания войск, флота, ведения судопроизводства, заключения международных договоров и т. д. С конца XVII — начала XVIII в. в условиях общего экономического упадка Голланд-

ской республики и конкуренции со стороны английской Ост-Индской компании начался упадок ОИК. В 1798 г. она была ликвидирована, все ее имущество и активы перешли в собственность государства.

то проступок. — Воспоминание смягчило лицо Магнуса и, казалось, в то же время его состарило. — Как бы то ни было, увидев там его имя, вырезанное на глыбе камня, я почувствовал, что отыскал для себя место, здесь, в Малайе. На судно свое я так и не вернулся, не поплыл в Батавию. Вместо этого я отправился в Куала-Лумпур.

Он рассмеялся:

— В конце концов я оказался на британской территории. И прожил тут… сколько… — губы его беззвучно шевелились, пока он высчитывал, — сорок шесть лет. Сорок шесть! — Он вытянулся на стуле и огляделся, высматривая официанта. — За это шампанское надо пить!

— Вы простили британцев?

Магнус снова осел на стуле. Некоторое время молчал, обратив взор куда-то внутрь себя.

— Они не смогли убить меня, когда между нами шла война. Они не смогли убить меня, когда я был в лагере, — выговорил он наконец сдавленным голосом. — Но держать в себе ненависть все сорок шесть лет… вот уж это наверняка убило б любого.

Взгляд его подобрел, когда он обратил его на меня:

— Вам, китайцам, полагается уважать стар-

ших, Юн Линь, так ведь говорил этот парень Конфуций, а? Так, во всяком случае, мне моя жена говорит. — Он наконец-то смог отхлебнуть пива. — Так что — послушай меня. Послушай старого человека… Не презирай всех японцев за то, чту кое-кто из них натворил. Дай ей уйти, этой ненависти в тебе. Отпусти ее.

— Они сделали вот это.

Я медленно подняла свою изувеченную руку, спрятанную в кожаной перчатке.

Магнус указал на глазную повязку:

— Думаешь, он сам собой выпал?

Через три недели после той встречи в клубе с Магнусом меня уволили.

Его идея создать сад в память о Юн Хонг запала мне в душу. В лагере сестра часто говорила со мной о саде, который она разобьет, как только кончится война и наши жизни снова вернутся к нам…

В свой последний рабочий день я взялась за разборку стола. Укладывая личные вещи, я вдруг замерла, наткнувшись на заметку, вырезанную мною когда-то из «Стрэйтс таймс». Сопровождавшее текст фото изображало группу японцев во фраках, стоявших позади их премьер-министра Иосиды во время подписания им и американца-

ми договора о гарантии безопасности Японии[58]. Разглядывая фотографию, я думала о лагере. Думала о Накамура Аритомо, вспоминая, как много-много лет назад впервые услышала это имя. Никогда не забывала я этого имени: оно следовало за мною повсюду. Настало время встретиться с ним. Создать сад — вот что я должна сделать в память о Юн Хонг, вот каков мой долг перед нею.

Взяв чистый лист бумаги, я открутила колпачок авторучки и написала письмо Магнусу с просьбой устроить мне встречу с садовником. Когда я закончила, заклеила конверт и попросила посыльного отправить его по почте. После чего покинула свое рабочее место в прокуратуре в последний раз.

Мир вокруг делался ярче, обесцвечивая луну и звезды. На половине спуска в долину я нашла тропинку, отделявшую один участок чайных кустов от другого. Земля на ней была плотно утоптана поколениями сборщиков чая. Вчера вечером за ужином Магнус рассказал мне, что этот путь напрямик приведет меня к Югири. «В той стороне ограды нет, — сказал он, — но ты сразу поймешь,

[58] Примечания: 58

Договор, а по сути военное соглашение между США и Японией, подписанное 8 сентября 1951 г., в один день с Сан-Францисским мирным договором, и вступившее в силу 28 апреля 1952 г.

где начинается Югири, когда попадешь туда».

Чем ближе я подходила к Югири, тем выше вздымались ели в отдалении. Тропинка вилась между ними и продолжалась в зарослях бамбука, стволы которого легонько перестукивались друг с другом, словно бы передавали от дерева к дереву сообщение о моем прибытии.

Заморосило. Отирая с лица капли дождя, я прошла под бамбуком — и оказалась в ином царстве.

У тишины здесь было иное свойство: я почувствовала себя так, словно вместе с леской, увлекаемой ко дну грузилом, ушла в более глубокий, плотный слой океана. Стояла, позволяя безмолвию просачиваться в меня. Лишь в листве иногда пересвистывались невидимые птицы, углубляя разреженность воздуха между каждым посвистом. Вода капала с листьев. Невдалеке сквозь верхушки деревьев проглядывал край красной черепичной крыши. Направившись туда, я вскоре вышла к длинному прямоугольнику из округлого белого гравия. Я присела и подобрала один камушек. Размером он был с яйцо кожистой черепахи, моя мать иногда покупала

их на рынке Пулау-Тикус[59].

Слева от меня, футах в пятнадцати[60], стояли две круглые мишени. Справа на низких сваях покоилось простое деревянное одноэтажное сооружение с крышей из пальмовых листьев. Положив камешек, я подошла поближе. Спереди сооружение было открыто, бамбуковые занавески закатаны под самый карниз крыши. На краю помоста стоял мужчина, одетый в белую длинную рубаху и серые брюки, из-под которых выглядывали белые носки. Было ему на вид лет пятьдесят с небольшим, в волосах только-только начала пробиваться седина. В правой руке он держал лук. На мое появление мужчина никак не отреагировал, но я почему-то поняла: он знает, что я тут.

Я почти шесть лет не видела японца и ни с одним не говорила, зато всегда могла отличить их. Положим, обратиться с письмом к Накамура Аритомо было довольно легко, зато было глупо с моей стороны думать, что я смогу вот так просто прийти сюда и говорить с ним. К этому я была не готова, а возможно, никогда и не буду. У меня

---

[59] Примечания: 59
Пулау-Тикус — рынок в богатых кварталах Пенанга.

[60] Примечания: 60
Чуть более 4,5 метра.

появилось острое желание развернуться и уйти. Однако, взглянув на зажатый в руке свиток документов, я поняла: говорить с садовником придется, мне нужно выложить ему, что мне от него нужно. Сделаю это, а потом уйду. Если он решит принять мое предложение, мы станем переписываться по почте. С ним лично мне больше беседовать будет незачем.

Подняв лук, мужчина стал натягивать тетиву, его руки расходились в разные стороны, пока в какой-то момент не показалось, будто он попросту парит над досками помоста. Вот он застыл с туго натянутым луком, выражение полного покоя разливалось по его лицу. Время остановилось: не было начала, не было и конца.

Он пустил стрелу. Тетива высекла из воздуха резкий звук. Мужчина оставался недвижим, одна рука по-прежнему была вытянута и удерживала лук за центр все в том же положении — на уровне глаз. Он еще мгновение смотрел на мишень, прежде чем опустил лук. Стрела попала порядком далеко от центра. Я в три коротких шажка поднялась на помост, поблескивающие кипарисовые доски заскрипели под моими ногами.

— Мистер Накамура? — произнесла я. — Накамура Аритомо? Мы договаривались встретиться

сегодня попозже…

— Снимите обувь! — велел он. — Вы привносите сюда заботы мира.

Глянув назад, я увидела пятна песка и травы на дощатом настиле. Я спустилась со стрельбища. Мужчина поставил лук обратно на положенное ему место, его белые носки оставляли влажные следы на досках. Я ждала, пока он наденет сандалии.

— Идите кругом ко входу в дом, — сказал он. — А Чон проводит вас в гостиную.

Китаец-слуга провел меня через жилище, раздвигая двери, отделявшие каждую комнату, а затем сдвигая их за нами. Мне стало казаться, будто я пробираюсь через целую вереницу коробков, каждый из которых, открываясь, ведет еще в один коробок, а тот — в еще один. Слуга оставил меня в гостиной. Ее двери открывались на веранду, где располагался низенький квадратный столик.

На газоне, ниже веранды, натянутая на четыре бамбуковые планки нить обозначала прямоугольник, внутри которого травяной покров был снят, обнажая лежавшую под ним влажную темную почву. За прямоугольником земля покато спускалась к краю углубления, широкого и пустого, как высохшее соляное озерцо. На одной его

стороне высились кучи земли и щебня.

Морось прошла, но вода все еще сочилась со скатов крыши, сгустки света капали на землю. Слуга вернулся с подносом, на котором стояли две маленькие зеленоватые фарфоровые чашечки, заварной чайник и небольшой чайник для кипятка, над носиком которого струился слабый парок. Несколькими минутами позже лучник присоединился ко мне. Он переоделся в бежевые шерстяные брюки и белую сорочку, хорошо сочетавшиеся с серым льняным пиджаком. Он сел в традиционной позе на один из ковриков, согнув ноги и перенеся вес тела на пятки. Знаком предложил мне расположиться по другую сторону столика. Я секунду смотрела на него, а потом последовала примеру хозяина, положив свиток документов возле колен.

— Я — Накамура Аритомо, — сказал он, выкладывая на столик какой-то конверт.

Я узнала написанный моим почерком адрес. Назвала свое имя, и Аритомо попросил:

— Напишите его по-китайски.

— Я ходила в школу при монастыре, мистер Накамура. Я учила латынь, а не китайский язык. Только после войны подучила немного.

— Что означает имя «Юн Линь»?

— Облачный лес.

Подумав, он оценил:

— Красивое имя. По-японски вас бы звали…

— Я знаю, как бы меня звали.

Несколько мгновений он пристально разглядывал меня. Потом вылил воду из заварного чайничка в чашу и выплеснул еще исходивший паром чай за веранду. Я сочла это странным, но промолчала. Он вновь наполнил заварной чайник горячей водой, заметив:

— По-моему, мы договорились встретиться в половине десятого.

— Если вам сейчас неудобно, я приду позже.

Он покачал головой.

— Сколько вам лет? Тридцать три, тридцать четыре?

— Мне двадцать восемь.

Я знала, что выгляжу старше из-за лишений, перенесенных в лагере, и полагала, что вполне примирилась с этим, но вдруг, к своему удивлению, почувствовала укол обиды.

— Вы пруд делаете? — спросила я, глядя на полую яму, которой заканчивался склон.

— Просто меняю его форму, делаю больше. — Подняв чайничек, он наполнил чашки какой-то полупрозрачной зеленой жидкостью и одну из

них подвинул ко мне, словно шахматную фигуру на доске. — Вы были гостьей императора.

На этот раз его стрела попала в цель.

— Я была узницей в японском лагере, — отчеканила я, удивляясь про себя, откуда ему об этом известно.

— Когда я строил этот дом, Магнус подарил мне акварель, нарисованную вашей сестрой, — сказал Аритомо. — Он напомнил мне об этом, когда привез ваше письмо.

— Когда-то Юн Хонг выставляла свои картины вместе с другими художниками.

— Меня это не удивляет. У нее большой талант. Она до сих пор рисует?

— Она была в одном со мной лагере. — Я выпрямилась, облегчая боль в коленях: прошло много времени с тех пор, как я сидела так в последний раз. — Она умерла там.

Аритомо перехватил мою левую руку, когда я потянулась к чашке. Едва его пальцы обхватили мое запястье, как мое лицо укрылось за выражением, полным осторожности. Я попробовала выдернуть руку, но он только крепче обхватил ее, взглядом убеждая меня прекратить борьбу. Как выбившееся из сил животное, попавшее в западню, рука моя перестала двигаться, расслабленно

обмякла. Он повернул ее и потрогал стежки на том месте, где были срезаны два последние пальчика на перчатке. Я вытащила руку, убрала ее под край стола.

— Вы хотите, чтобы я устроил для вас сад.

С того самого момента, как я отправила садовнику письмо, я все время твердила про себя, чту скажу ему, когда мы встретимся.

— Юн Хонг… моя сестра… она узнала о вас одиннадцать лет назад, вы только прибыли в Малайю. Это было где-то в 1940-м.

— Одиннадцать лет. — Он обратил взгляд на ничего не выражавшем лице в сторону пустого пруда. — Верится с трудом, что я уже так долго живу здесь.

— Юн Хонг восхищалась японскими садами еще до того, как мы узнали про вас. Раньше, чем вы приехали Малайю.

— Откуда она узнала о наших садах? — спросил он. — Сомневаюсь, что в те времена хоть один такой был на Пенанге да и во всей Малайе. Даже сегодня мой — единственный.

— Наш отец взял нас с собой на месяц в Японию. В тридцать восьмом. Ваше правительство собиралось покупать у него каучук. Он был занят своими встречами, а жены чиновников возили нас по го-

роду. Мы побывали в нескольких храмах и садах. Даже ездили на поезде в Киото. — Воспоминание о том празднике (единственном разе, когда я побывала за границей до той поры) заставило меня улыбнуться. — Мне никогда не забыть, в каком восторге была Юн Хонг! Мне было пятнадцать, а она на три года старше меня. Но в той поездке… в той поездке она вела себя как маленькая девочка, а я чувствовала себя старшей сестрой.

— А-а… Киото… — тихо молвил Аритомо. — Какие же храмы вы видели?

— «Лунный Сад» в храме Киёмизу-дэра, Тофуку-дзи и храм Золотого Павильона, — сказала я. — Когда мы вернулись домой, Юн Хонг прочла все книги про японские сады, какие только смогла достать. Ей хотелось знать… она просто помешалась на том, чтобы понять, как эти сады создавались.

— Возделыванию садов нельзя научиться из книг.

— В этом мы скоро убедились. Сестра попробовала сделать сад камней позади нашего дома. Я помогала ей, но ничего не получилось. Моя мама была вне себя оттого, что мы загубили ее газон. — Она помолчала.

— Когда Юн Хонг узнала, что вы живете здесь,

то захотела посмотреть на ваш сад.

— Не на что было бы смотреть. В тот момент Югири не был закончен.

— Любовь Юн Хонг к садам помогала нам выжить, когда мы были в лагере.

— Каким образом?

— Мы убегали в выдуманные миры, — сказала я. — Некоторые в своих мечтах представляли себя строящими дом или конструирующими яхту. Чем больше подробностей они могли привлечь, тем больше отгораживались от окружавших ужасов. Одна женщина-евразийка, жена голландского инженера в «Шелл», — так она захотела снова пересмотреть свою коллекцию марок. Это наделяло ее волей к жизни. А еще один мужчина по памяти, раз за разом, воспроизводил названия всех пьес Шекспира в том порядке, в каком они были написаны… когда его пытали.

У меня пересохло в горле, и я отпила чай.

— Юн Хонг поддерживала нас рассказами о садах, в которых мы побывали в Киото, описывая их мне в мельчайших деталях. «Вот так и мы выживем, — говорила она мне, — и выйдем из этого лагеря».

Солнце пробивалось из-за гор. Над далекими верхушками деревьев по небу носилась стая

птиц, готовясь вытянуться в черную колеблющуюся нить.

— Однажды охранник стал бить меня за то, что я не поклонилась как следует. Он не унимался, а просто бил и бил меня. Я очутилась в саду. Повсюду росли цветущие деревья, пахло водой…

Я умолкла.

— И я поняла, что там, где я очутилась, сошлись все сады Киото, в каких я побывала. Я рассказала об этом Юн Хонг. С той минуты мы и принялись создавать наш собственный сад, вот здесь, — я тронула пальцем голову около лба. — День за днем мы добавляли детали к нему. Сад стал нашим убежищем. У себя в мыслях — мы были свободны.

Аритомо тронул конверт на столе:

— Вы упомянули, что работали сотрудником Трибунала по военным преступлениям.

— Мне хотелось сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Хотелось увидеть, что правосудие вершится.

— Считаете меня глупцом? Не в одном правосудии было дело.

— То был единственный способ, который позволял мне изучать судебные документы и официальные отчеты. Я хотела выяснить, где

похоронена моя сестра.

Его глаза сощурились:

— Вы не знали, где находился лагерь?

— Нам завязали глаза, когда джапы… когда японцы везли нас туда. Он находился где-то в самой чаще джунглей. Это все, что мы знали.

— А другие уцелевшие из вашего лагеря, что с ними стало?

Бабочка трепетала над каннами возле веранды. Наконец села на лист, сводя вместе крылья в молитве.

— Нет других уцелевших.

— Вы единственная? — Он взглянул на меня так, будто я пыталась обмануть его.

Я выдерживала его взгляд, не отводя своего.

— Да.

Какое-то время он безмолвствовал. Отодвинув в сторону поднос, я развязала тесемку вокруг свернутых в трубку бумаг, которые принесла с собой, и разложила их на столе, придавив края нашими чашками.

— Бабушка оставила нам с Юн Хонг кусок земли в К-Л. Там около шести акров[61], — я указала на первый документ, план участка из Земельно-

---

[61] Примечания: 61
Около 2,43 га, 243 сотки.

го управления. — До него пешком недалеко от Озерного Сада, вверх по холму. Климат слишком жаркий и влажный для настоящего японского сада, я знаю, — прибавила я быстро, — но, думаю, вы сможете задействовать местную флору. Вот, я сделала фотографии этого места. Вы можете получить представление о том, как выглядит местность и что нужно сделать.

Садовник лишь мельком взглянул на план и фотографии:

— Создавать сады мечтала ваша сестра, а не вы.

— Юн Хонг лежит в необозначенной могиле, мистер Накамура. Это — в честь нее, этот сад — в память о ней.

Я поискала подходящие слова, чтобы убедить его, но не нашла.

— Это единственное, что я могу для нее сделать.

— Мне неловко… от того, что заняться этим вы просите меня, учитывая то, что произошло с вашей сестрой… и с вами.

— Неловкости быть не должно, если вы не причастны к Оккупации, — я произнесла это резче, чем собиралась.

Садовник стиснул скулы.

— Будь я причастен, разве меня не повесили бы? Возможно, даже и вы?..

— Не все виновные японцы были осуждены, и того меньше — понесли кару.

Что-то изменилось в атмосфере между нами, как будто мягко веявший до того ветерок вдруг резко замер.

— Однажды сюда пришли британские солдаты, вскоре после того, как японские войска сдались, — сказал Аритомо. — Они вытащили меня из дома, заставили встать на колени на землю, вон там. Прямо там.

Он указал на поросший травой клочок.

— Били меня прикладами. Когда я свалился и попытался подняться, они били меня ногами, раз за разом. Потом увезли.

— Куда?

— В Ипох, в тюрьму. Меня заперли в камеру. Не предъявляя никаких обвинений. — Он принялся тереть щеку тыльной стороной ладони. — Там были и другие узники, японские офицеры, ожидавшие, когда их приговоры будут приведены в исполнение. Некоторые из них рыдали, когда их вели на казнь. Их уводили одного за другим, пока я не остался один. А потом, как-то вечером, надзиратели пришли за мной. — Он перестал тереть

щеку. — Меня вывели из камеры. Я подумал, что меня собираются повесить. Но меня отпустили. У ворот тюрьмы меня поджидал Магнус. Я просидел в тюрьме два месяца.

Бабочка вспорхнула, ее крылышки засемафорили черно-желтым. Садовник забарабанил пальцами по столу. Наконец он поднялся на ноги:

— Пойдемте, мне следует показать вам часть сада.

— Наш чай остынет.

У меня оставалась надежда узнать о его решении, ведь он никак не дал мне понять, что принимает мое предложение.

— Вряд ли в этой части света мы останемся без чая, — едва заметно усмехнулся он, — не так ли?

Он снял со стоявшей у входной двери вешалки для шляп старенький пробковый шлем и повел меня наружу. Мы пошли вдоль края незаполненного пруда. Я заметила, что дно его уже было выложено затвердевшей глиной. В глубине сада тамил-кули укладывал в колесную тачку камни, покрытые грязью и выдранными корнями. «*Селамат паги, туан*[62]», — приветствовал он

---

[62] Примечания: 62

Селамат паги, туан — доброе утро, господин (*малайск.*).

Аритомо. Садовник посмотрел на работу кули и, не скрывая раздражения, покачал головой. Тамил едва-едва изъяснялся по-английски, и Аритомо был не в состоянии разъяснить ему в точности, что нужно сделать. Я встала между ними и перевела его приказания на малайский. Аритомо попросил меня передать работнику более подробные указания и выспрашивал его до тех пор, пока не убедился, что тот понял его как следует.

— Все равно он все перепутает, — произнес Аритомо, когда тамил укатил свою тачку.

— Сколько у вас тут работников?

— Когда-то было девять, — ответил Аритомо. — Когда война кончилась, они уехали в Куала-Лумпур. Теперь осталось всего пять, которые работают со мной. У них нет ни интереса, ни способностей к разбивке садов. И, как видите, они не понимают моих указаний.

— Вы тут уже одиннадцать лет, — сказала я, оглядываясь вокруг. — Я думала, за это время можно завершить любой сад.

— Я постоянно кое-что меняю в нем, — прозвучало в ответ. — Солдаты, явившиеся меня забрать, находили удовольствие в том, чтобы порушить мой сад. Долгое время я сомневался: а есть ли смысл восстанавливать его? Не хотел,

чтобы толпа солдат снова уничтожила его. Я тянул с восстановлением и взялся за работу лишь несколько месяцев назад.

— Эти изменения… сколько времени займет закончить их?

— По-видимому, еще год. — Аритомо остановился осмотреть росшие рядком цветы гелихонии. — Есть кое-какие новые идеи, которые мне хочется осуществить.

— Это что-то долгонько, чтобы просто подправить сад.

— Вот теперь ясно, что знаете вы слишком мало. Камни надо выкопать и переместить. Деревья извлечь и посадить заново. Все должно делаться вручную — *все полностью.* — Аритомо сломил прутики с низко свисавших ветвей. — Так что, как вы понимаете, ваш заказ я принять не могу.

Я была подавлена горечью разочарования. И в конце концов выговорила:

— Я готова ждать год. Даже два, если будет необходимо.

— Ваше предложение меня не интересует.

Он быстро пошел к большому валуну, возвышавшемуся над живой изгородью. Секунду спустя я последовала за ним. Камень доходил мне до бедер. На его плоской поверхности было полое

углубление размером с небольшой тазик для умывания. Вода стекала по бамбуковому лотку, наполняя углубление, прежде чем перелиться по сторонам через край. Рядом с этой природной чашей лежала трубочка из бамбука. Аритомо опустил ее в воду и стал пить, а напившись, передал трубочку мне. Поколебавшись, я взяла ее.

Вода была ледяной, отдавала на вкус мхом и минералами, дождем и туманом. Склонившись, чтобы опустить палочку, я скользнула взглядом по поверхности воды к проему в изгороди, через который в отдалении была видна одинокая горная вершина. Вид был до того неожиданный, до того идеально обрамлен листьями, что я на мгновение замерла. А когда выпрямилась, спокойствие утекло из меня, оставив ощущение утраты.

— Чайный мастер привел в ужас своих учеников, устроив в своем саду живую изгородь, которая закрыла вид на Внутреннее море, — и это составило славу его школе, — заговорила я скорее сама с собой. — Он оставил в изгороди один только проем и поставил перед ним чашу. Всякий пивший из нее должен был склониться и взглянуть на море через этот проем.

— Где вы слышали эту историю?

На какое-то мгновение мне захотелось сказать ему, что это Юн Хонг вычитала в какой-то книжке, но почему-то я поняла, что он мне не поверит.

— Один джап рассказал мне, — произнесла я. — В лагере.

— Солдат?

— Он не был военным. Во всяком случае, я ни разу не видела его в форме. Я так и не поняла, кем он был. Его звали Томинага. Томинага Нобуру. Он рассказал мне эту историю.

Что-то проблеснуло во взгляде Аритомо, скоротечное, как мотылек, бросающийся на пламя свечи. То был первый раз, когда я заметила в нем хоть какой-то намек на неуверенность.

— Я много лет не слышал этого имени, — выговорил он.

— Вы его знаете?

— Чайным мастером был его двоюродный дед. Как, по-вашему, почему он посадил изгородь, чтобы закрыть прекрасный вид?

— Томинага объяснил мне, — сказала я. — Но лишь сейчас, только что, я по-настоящему поняла это: внезапно открывающийся вид воздействует куда сильнее, чем постоянно открытый.

Он изучающе смотрел на меня некоторое вре-

мя, потом кивнул.

Мы приближались к дому, когда оттуда вышел домоправитель вместе с высоким рыжеватым европейцем.

— Добрый день, мистер Накамура, — произнес рыжеволосый. И перевел взгляд на меня. — А вы, должно быть, Юн Линь. Я Фредерик. — Его выговор отличался от акцента дяди: больше английского. Он, прикинула я, года на два, на три старше меня. — Дядя Магнус прислал меня, чтобы я отвез вас домой. Беспокоится, как бы беды не вышло.

— Что-то случилось? — спросил Аритомо.

— А вы не слышали? Все утро по новостям передают: Верховный комиссар погиб. К-Ты убили его.

Аритомо глянул на меня:

— Вы должны ехать.

У обветшавшей под ветрами и дождями двери главного входа Фредерик, задержавшись, сказал:

— Ах да, мистер Накамура… Магнус просил напомнить вам о своем празднестве. Почему бы вам не поехать с нами? Мы вас подождем.

— У меня здесь есть дело, которое я должен закончить, — сказал Аритомо.

Он откинул щеколду и открыл дверь. Я резко

развернулась в двери, позволив Фредерику протиснуться мимо меня к припаркованному через дорогу «Лендроверу». Аритомо отдал мне поклон, но я поклоном не ответила: слишком уж много воспоминаний о временах, когда я была обязана кланяться японцам, о том, как получала оплеухи, если кланялась недостаточно быстро или низко.

Я уже открыла было рот, однако Аритомо покачал головой. Я прошла через дверной проем, потом оглянулась и посмотрела на него. Он еще раз поклонился мне и закрыл деревянную дверь. Я стояла, застыв, еще мгновение, не сводя с нее глаз. И услышала, как звякнула, упав, щеколда и ключ повернулся в замке.

Глава 5

Каждому ребенку хочется иметь сказочного, не из нашей жизни, дядюшку, а поскольку у меня такого не было, то объектом моих грез стал Магнус Преториус, даром, что в моей подростковой жизни он если и появлялся, то как-то смутно. Познания свои о нем я почерпнула из рассказов моих родителей и из того, что они оставляли невысказанным — я подбирала обломанные ростки разговоров, когда они мне попадались, — а еще из того, что сам Магнус рассказал потом, когда мне повезло узнать его получше.

Добравшись в 1905 году из Кейптауна в Куала-Лумпур, Магнус работал помощником управляющего на одной из каучуковых плантаций семейства Гатри в Ипохе. Ему нравилось рассказывать людям, как он получил работу: ведший собеседование выяснил, что Магнус умеет играть в раггер[63]. Только поэтому. Как раз в то время он и подружился с моим отцом. Они занялись бизнесом вместе, приобрели каучуковую плантацию, а со временем — и еще несколько.

---

[63] Примечания: 63
Раггер — разговорное название регби по правилам Регбийного союза.

Плантаторы, чьи угодья находились в глубинке, жили в окружении каучука, ближайший сосед-европеец обычно обитал не менее чем милях в двадцати[64], а то и побольше. Девочкой, живя на Пенанге, я слышала истории о плантаторах, которые упивались до смерти или умирали от змеиного укуса, либо от малярии, либо еще от каких-то тропических болезней. Втиснутый в четкие нескончаемые ряды каучуковых деревьев, Магнус возненавидел такую жизнь и занялся поисками поприща получше. Как-то на выходных он, будучи в Ипохе, сидел за выпивкой в баре «ФМШ»[65] и услышал, что какой-то чиновник рассказывает о плато на высоте трех тысяч футов[66] на горном хребте Титивангса. Чиновник проболтался о планах превратить его в административный правительственный центр и горный курорт для высокопоставленных малайских государственных служащих.

---

[64] Примечания: 64

Примерно 32 км.

[65] Примечания: 65

ФМШ, Федерированные Малайские Штаты, федерация четырех государств Малаккского полуострова (Негри-Сембилан, Паханг, Перак и Селангор) под протекторатом Великобритании, существовавшая в 1896–1942 гг.

[66] Примечания: 66

Чуть выше 914 метров.

Магнус, который, было дело, когда-то забирался на одну из гор в тех местах, сразу же понял, какие возможности кроются в этих планах. Неделю спустя он приобрел у правительства концессию на шестьсот акров[67] земли в нагорье. Он продал акции всех своих каучуковых плантаций моему отцу перед самой Великой депрессией — это был поступок, который отец вечно будет вменять ему в вину.

Геодезист на службе правительства, Уильям Камерон, составил карту этого нагорья в 1885 году. Он на слонах переваливал бесконечно открывавшиеся туманные вершины и долины, пока вел съемку хребтов, чтобы проложить на карте границу между Пахангом и Пераком. «Как Ганнибал, переходящий через Альпы», — частенько слышала я, живя в Маджубе, фразу, повторяемую Магнусом своим гостям.

С холмов Цейлона Магнус привез семена и саженцы чая. Из Южной Индии морем были доставлены рабочие для расчистки джунглей. За четыре-пять лет скаты и склоны холмов на его плантации покрылись чайными кустами. В конце концов от беспрестанного ощипывания у чай-

---

[67] Примечания: 67
Более 243 га.

ных деревьев прекратился рост, как у деревцев бонсая, которые культивировались поколениями японской знати. Через несколько лет после того, как Магнус разбил плантацию, на Камеронском нагорье появились еще две (недружественные) чайные плантации, но к тому времени товарная марка «Маджуба» уже укоренилась в Малайе.

Это был единственный сорт чая, который мой отец запрещал держать у нас дома.

Во время короткого обратного пути до Дома Маджубы Фредерик пытался вовлечь меня в беседу, однако мои мысли постоянно возвращались к Аритомо и моей неудаче: я не смогла убедить его устроить для меня сад. Глядя в окошко, я видела разбитые террасами склоны овощных ферм за пределами Маджубы или редкие бунгало, мимо которых мы проезжали. И только когда гурка в Доме Маджубы открыл нам ворота, я заметила стоявшие на подъездной дороге машины.

— Что тут происходит?

— *Braais*[68] Магнуса. Он их устраивает каждую субботу, — объяснил Фредерик. — Начинается в

[68] Примечания: 68

Braais — от слова *braaivleis* («жаренное на огне мясо», *африкаанс*), вошло в английский язык как южноафриканский синоним «барбекю». Примерно то же, что и российские загородные встречи друзей-приятелей «на шашлыках».

одиннадцать утра и обычно длится до семи-восьми вечера. Вам очень понравится.

Я смутно припомнила, что накануне Магнус говорит мне что-то про *браай*, только я напрочь забыла об этом.

В коридоре рядом с кухней мы едва не столкнулись с Эмили, спешившей куда-то с противнем, уставленным чем-то странным, блестящим, округлым и в трубочку.

— *Ай-йох*[69], мы так переволновались за тебя, *лах*, — укоряла она меня. — Все уже собрались там, — она указала подбородком на лужайку позади дома. — Иди к ним. Нет, не ты, Фредерик! Ты пойдешь мне помогать. А ты неси это Магнусу, — и она сунула мне противень.

Тут я разглядела блестящие странные штучки: это оказались уложенные в круговую спираль сырые колбаски, с дюйм толщиной и фута полтора длиной[70] каждая.

На террасе позади дома собрались человек пятнадцать-двадцать — китайцы, малайцы и европейцы вперемешку. Одни расположились

---

[69] Примечания: 69

Ай-йох — малайское восклицание, сродни русскому «ой-ей» или «ай-яй».

[70] Примечания: 70

Около 2,5 см и 45 см.

в плетеных креслах, другие, стоя маленькими группками, беседовали, держа в руках бокалы и стаканы. День был яркий и безветренный, а вот атмосфера — мрачная. Какая-то женщина рассмеялась, тут же осеклась и оглянулась по сторонам. Тарелки с приборами и блюда с едой занимали длинный стол в конце террасы. Угощения, приправленные карри, доходили на медленном огне в духовках на древесном угле, а солнечные зайчики подмигивали с боков бутылок пива, установленных на лед. В тени камфарового дерева Магнус бдительно следил за подобием мангала, изготовленного из старой масляной бочки, разрезанной пополам по длине и уложенной на козлы. Риджбеки бездельничали у его ног, потягиваясь и поглядывая на меня, пока я подходила к их хозяину.

— А-а! Нашлась наконец-то! — воскликнул Магнус. — Так и понял, что ты в Югири, когда ты завтракать не явилась.

— Никогда не видела, чтоб такое в морозилке хранилось, — сказала я, вручая ему противень.

— *Boerewors*[71]. Я сам их сделал.

— Вид у них такой, что Бруллокс с Биттергалем

[71] Примечания: 71

Boerewors — фермерские колбаски (*африкаанс*), популярное южноафриканское кушанье.

к ним вряд ли притронулись бы, — заметила я. Собаки вскинулись, услышав свои имена, заколотили хвостами по траве.

— *Sies*![72] — воскликнул с гримасой на лице Магнус. — Поставь их на *браай.* Скоро сама увидишь, что это за *lekker*[73].

Колбаски были посыпаны кориандром и еще какими-то приправами, назвать которые Магнус отказался:

— Это рецепт моей *ouma*[74].

Когда все это стало поджариваться на угольях, аромат пошел чудеснейший, и я вдруг вспомнила, что, не считая чая, который пила с Аритомо, я за все утро ничего не ела.

— Прежде чем ты решишь, будто я проявляю неуважение, — Магнус указал бутылкой пива на собравшихся на лужайке людей, — скажу: к тому времени, когда мы узнали о гибели Гарни, было уже слишком поздно отменять. — Он сделал очередной добрый глоток пива. — Ты получила, чего хотела, от Аритомо?

---

[72] Примечания: 72
Sies! — зд.: «Глупенькая!» (*африкаанс*).

[73] Примечания: 73
Lekker — вкуснятина (*африкаанс*).

[74] Примечания: 74
Ouma — бабушка (*африкаанс*).

— Он мне дал от ворот поворот.

— *Ag*, стыдно. Все равно оставайся здесь. На сколько душе твоей будет угодно. Один воздух тебе невесть сколько пользы принесет. — Магнус взглядом поискал кого-то в толпе. — Фредерик ему напомнил про *браай*?

— Да, но он занят каким-то делом, — сказала я.

Магнус взял металлические щипцы. Я спросила:

— Его преследовали после того, как Оккупация закончилась?

— Антияпонские партизаны? — Магнус отер рот рукой. — Конечно же, нет.

— Он рассказал мне, как его арестовали.

— Ну, бриты могли пришить ему что угодно, — ответил Магнус. — И я поручился за него.

Он перевернул *boerewors*, и жир закапал на угли, вознеся клуб ароматного дыма.

— Аритомо добился, чтобы нас в лагеря не сажали. Во время войны был такой момент, когда у него работали больше тридцати человек. Все они — и их семьи — пережили войну.

— Моей семье надо было бы тоже приехать сюда и переждать войну.

Магнус замер, перестав передвигать колбаски по решетке, и взглянул на меня:

— За много недель до того, как джапы напали, я предложил твоему отцу привезти вас всех сюда.

Я вытаращилась на него:

— Он никогда ничего об этом не говорил.

— Ему стоило бы приехать. Жаль, что не послушался меня.

Шум, который доносился от компании гостей позади меня, казалось, отступил далеко-далеко. Меня вдруг охватила ярость из-за упрямой гордыни моего отца. Магнус был прав: тогда все было бы по-другому. Меня не изуродовали бы, моя мать не растеряла бы разум, а Юн Хонг была бы жива.

— А вы заранее знали, что японцы нападут на нас? — спросила я, пристально глядя на него.

— Любой и с половинкой мозгов, глядя на карту, сообразил бы это, — ответил Магнус. — Китай слишком велик, такой кус Японии не проглотить, она только и способна, что с краешков пообгрызать. Зато эти сравнительно небольшие территории в морях Тихого океана — лакомая и легкая пожива.

Подошел Фредерик еще с одним подносом: этот был заполнен бараньими отбивными.

— Купи осла, — обратился к нему Магнус.

— Что купить? — я подумала, что ослышалась.

— Пытаюсь заставить вот этого молодого чело-

века побольше говорить на африкаанс, — стал разъяснять Магнус. — Он так долго путался с англичанами, что забыл свой собственный язык. Расскажи ей, что это значит.

— Английское «купи осла» соответствует «*baie dankie*» на африкаанс, — разложил мне все по буквам Фредерик. — А значит это — «спасибо». Я еще и уроки малайского брал, — добавил он. — Даже забавно, как много общих слов у этих языков — *pisang, piring. pondok*[75].

— Это пошло от рабов, завезенных с Явы на Мыс, — сказал Магнус.

Он вылил свое пиво на уголья и позвал нас обоих за собой. Стал представлять нас гостям. Несмотря на прохладу, ощутимую на воздухе, я единственная была в перчатках.

— Знакомьтесь, — подвел нас Магнус, — это Малколм. Он — Покровитель Аборигенов. Следите за тем, чту вы говорите, когда он поблизости: этот человек говорит по-малайски и по-китайски, причем и на кантонском, и на мандаринском, и на фуцзяньском диалектах.

— Малколм Тумз, — тепло улыбнулся мужчина. Ему было ближе к пятидесяти, лицо бесхитрост-

---

[75] Примечания: 75
Pisang, piring… pondok — бананы, тарелки… коттедж (*малайск.*).

но-простодушное, оно мне сразу понравилось. Такое лицо, наверное, помогало ему в его работе — заботиться о благосостоянии *оранг-асли*[76].

— Личность отнюдь не замогильная, — шепнул мне Фредерик, — невзирая на фамилию[77].

Мы наложили себе на тарелки по горке всякой еды со стола и уже собирались приступить к ее поглощению, но вдруг Тумз попросил всех встать в кружок. Магнус поджал губы, но промолчал. Мы закрыли глаза на минуту молчания в память о Верховном комиссаре. Только теперь вся очевидность смерти Гарни с очевидностью дошла до меня. Несмотря на заверения, которыми тешило нас правительство, дела шли все хуже.

— Ну, как *boerewors*? — спросил Магнус, как только все расселись и принялись за еду.

— На вкус они куда лучше, чем на вид, — я прожевала, проглотила и спросила: — Как погиб Гарни?

— Террористы устроили засаду на его машину и застрелили его. Вчера днем, на дороге к горе Фрэзера. Они явно отдохнуть ехали, он и его жена.

---

[76] Примечания: 76

Оранг-асли, исконные люди (*малайск.*) — так называют все коренное население полуостровной Малайзии.

[77] Примечания: 77

Фамилия Малколма (Toombs) созвучна английскому слову «могила».

В окружении вооруженного конвоя.

— И все же их убили, — заметил Джафар Хамид, владелец гостиницы «Вид на озеро» в Танах-Рате. Он подвинул свой стул поближе к нам.

— Почему кровавые вести утаивали до сегодняшнего дня? — спросил Магнус.

— Нынче все новости проходят цензуру, — сказала я. — Только уж теперь-то… едва ли где в мире отыщется радиостанция, не рассказывающая в эфире о том, что произошло. Должно быть, он был уже мертв, когда вы везли меня сюда с вокзала. Вот почему на дороге было такое множество армейских машин.

— Это возможно… — тихо произнес Тумз. — Прямо успех красных. Боюсь, они напляшутся и напоются вечерком в джунглях.

— А жена Гарни? — спросила я, глядя на Магнуса.

— По радио сказали, что сначала К-Ты принялись палить по машине в лоб. Гарни вывалился из машины и пошел в сторону от нее.

— Какое безрассудство с его стороны, — высказалась одна из женщин-европеек.

Магнус строго ответил:

— Он отвлекал огонь от жены, Сара.

— Бедная женщина… — вздохнула Эмили.

Магнус сжал плечо жены.

— Думаю, нам на пользу будет снова пересмотреть наши меры безопасности и внести кое-какие предложения по их улучшению.

— Не так-то много мы можем, верно? — сказал мужчина средних лет. Чуть раньше он представился мне как Пол Кроуфорд, сообщив, что владеет клубничной фермой в Танах-Рате и что сейчас он — бездетный вдовец. — Мы обнесли наши дома заборами, обучили наших работников нести караул и создали в *кампонгах*[78] «домашнюю гвардию». Однако мы до сих пор дожидаемся присылки особоуполномоченного констебля, о котором просили. Когда война закончилась, я надеялась, что больше никогда не испытаю ничего подобного. Но вот она я — в самом пекле еще одной войны.

— Те немногие недели после того, как джапы сдались, — заговорила Эмили, — мы только и слышали что о коммунистах, убивающих малайцев в их *кампонгах*, и о малайцах, вымещающих злобу на китайцах. От этого делалось страшно.

---

[78] Примечания: 78
Кампонг — деревня (*малайск.*).

— Китайские скваттеры[79], с которыми я говорил, — заметил Тумз, — до сих пор уверены, что победили джапов именно коммунисты.

— Я и недели не пробыл в Малайе, — отозвался Фредерик, — как один солдат заявил мне, что он был в первом отряде войск, вернувшихся, чтобы взять власть в стране. Он считал, что войну выиграли коммунисты. Каждый городок, через который проезжала его часть, был сплошь украшен флагами и плакатами, прославлявшими победу коммунистов над джапами.

— Малайя, Малайя, — забурчал Хамид. — А никому из вас не кажется странным, что то, что вы, англичане, беспечно именуете «Малайей»… моя земля и воздух, моя родина… до недавнего времени *официально* и не существовала?

— Это и моя родина тоже, *енчик*[80] Хамид, — сказала я.

— Вы оранг-китайцы, вы все — потомки иммигрантов, — резко возразил Хамид. — Вы всегда будете приверженцами Китая.

---

[79] Примечания: 79

Скваттеры — не очень лестное название самовольных поселенцев, как правило, бегущих от нужды в поисках лучшей доли (от англ. *squatter* — «сидеть на корточках»).

[80] Примечания: 80

Енчик — сэр (*малайск.*).

— Это чушь, — парировала я.

— Ах, извините. Вы ведь *проливная* китаянка, верно? Того хуже! Не счесть, сколько вас почитают своей родиной Англию — место, какое мало кто из вас и видел-то когда-нибудь!

Хамид бухнул себя в грудь кулаком:

— Мы, малайцы, — истинные сыны этой земли, *бумипутра*[81]. — Он окинул взором всех вокруг. — Ни один из вас здесь не может называться так.

— Прошу вас, Хамид, *лах*, — сказала Эмили.

— Старые государства умирают, Хамид, — сказала я, с трудом сдерживая гнев, — и рождаются новые. Не имеет значения, откуда прибыли чьи-то предки. Вы можете утверждать… с абсолютной точностью… что один из *ваших* далеких предков не приплыл из Сиама, с Явы, из Ачеха[82] или с островов Зондского пролива?

— Вы что имели в виду, говоря, что Малайя существует лишь с недавних пор? — заговорил

---

[81] Примечания: 81

Бумипутра — наименование этнической группы малайцев (в буквальном переводе с *малайск.* — «дети земли»). Термин принят в политическом контексте, в том числе и для защиты особых привилегий бумипутра в сравнении с возможностями граждан Малайзии, принадлежащих к другим этническим группам.

[82] Примечания: 82

Ачех — индонезийская провинция, существовавшая до 1904 г. как независимый Султанат Ачех.

Питер Бойд, помощник управляющего каучуковой плантацией. Он всего несколько недель как приехал из Лондона, чтобы занять место своего предшественника, убитого К-Тами.

— Это всегда было удобным названием для сшитой из лоскутков совокупности территорий, над которыми британцы установили контроль, — пояснила я, не дав Хамиду ответить. — Сначала были Федерированные Малайские Штаты на западном побережье, каждый из которых возглавлялся губернатором. — Меня потрясло, что подобное невежество все еще распространено среди европейцев, которых присылали управлять Малайей. Что ж удивляться, что малайцам это надоело и они пожелали выдворить *мат-селлехов*[83]…

— Затем Нефедерированные Малайские Штаты, — продолжила я, — которыми правили султаны с помощью британских советников. А потом появились Проли́вные Поселения — Малакка, Пенанг и Сингапур.

— И все украдены у нас, малайцев, — вставил Хамид.

---

[83] Примечания: 83

Мат-селлехи — обозначающее выходцев с Кавказа разговорное выражение, которым порой пользуются в речах (но не в документах) малайские политические деятели.

— Которые были слишком ленивы, чтобы хоть как-то противостоять этому, — вмешалась Эмили. — Вам хорошо известно, Хамид, что это мы, китайцы, создали оловянную промышленность. Мы основали города, и мы развили торговлю. Куала-Лумпур был основан китайцем! Не притворяйтесь, будто вы не знали этого.

— Ха! Мы слишком умны и не желаем проводить свои дни, рабски горбатясь на *мат-селлехов* в рудниках и шахтах, не то что вы, оранг-китайцы, — Хамид вытянул руку с тарелкой и подался вперед: — Эх, Эмили, лучше положите-ка мне еще своей *белачаны*[84], пожалуйста.

Открытие олова в долине реки Кинта в восемнадцатом веке вынудило британцев кораблями везти связанных договором об ученичестве кули из Южного Китая для работы на шахтах, поскольку малайцы предпочитали оставаться в своих *кампонгах* и возделывать свои собственные поля. Китайские иммигранты приезжали с намерением вернуться к себе на родину после того, как накопят денег. Многие, впрочем, остались, не желая менять размеренную жизнь в британской

[84] Примечания: 84

1 Белачана — малайское название широко распространенного блюда в Юго-Восточной и Южной Азии, представляющего собой пасту из креветок, приготовленную с карри и другими приправами.

колонии на войны и беспорядки в Китае. Они создали семьи и состояния на Пенанге, в Ипохе и Куала-Лумпуре и открыли путь для еще большего числа своих соотечественников из южных портов Китая. Скоро эти иммигранты стали частью Малайи. Я никогда не удивлялась этому, как никогда не считала странным, что и мне довелось родиться под дождливыми небесами экватора, что, едва раскрыв рот, я вдохнула в себя влажный жаркий воздух тропиков, сразу и навсегда почувствовав, что я — у себя дома.

Магнус потер кулаком свой единственный здоровый глаз и сказал:

— Помню, пару лет назад сидел я у себя в кабинете, слушал вечерние новости. Услышанное повергало в отчаяние. — Он обернулся к Кроуфорду и Тумзу. — Ваш мистер Эттли[85] дал официальное признание правительству этого парня, Мао, в Китае в то время, когда коммунисты каждый месяц убивали нас в Малайе сотнями.

— Не забывайте, что у нас на носу, через пару недель, выборы, — заметил Кроуфорд. — Мы

---

[85] Примечания: 85

Клемент Ричард Эттли (1883–1967) — британский политик, лидер Лейбористской партии, и государственный деятель. В 1940 г. вошел в коалиционный кабинет во главе с Уинстоном Черчиллем. С 1945-го, победив Черчилля на выборах, по 1951 г., когда вновь уступил ему, был премьер-министром Великобритании.

вполне можем вернуть Уинстона.

Магнус просто поморщился: его гримаса лучше слов говорила, насколько такая перспектива его не вдохновляет.

— Если вы преуспеете, — сказал Фредерик, — то ваш Уинстон унаследует Мао в этой части света и Мау-Мау[86] в Африке.

— Ты говоришь ужасные вещи, *лах*, — произнесла Эмили, прикрывая ладошкой смеющийся рот.

— То, о чем только что говорила Юн Линь, об умирании старых государств… что ж, она права, — сказал Магнус. — Нет ни одной страны старее Китая, а посмотрите-ка на него нынче! Новое имя и новый император.

— Император Мао? — произнес Фредерик.

— Во всем, кроме имени.

— Ради всего святого, — вмешалась Эмили. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом, идет? Кто-нибудь читал эту новую книжку этой Хан

---

[86] Примечания: 86

Движение африканских племен «за землю и свободу», развившееся (особенно в Кении) во второй половине 1940-х гг. Сами участники движения называли себя Кенийской армией земли и свободы (KLFA). Термин «Мау-Мау» использовали британцы, имевшие основания опасаться, что поднятое KLFA в начале 1950-х восстание получит международный резонанс, а само движение — легитимность в глазах мирового сообщества.

Суин[87]? Знаете, она была здесь с визитом в прошлом году. Эй, Молли, это правда, что по ней фильм собираются снимать? С Уильямом Холденом?..[88]

Обед завершался, когда один из слуг вышел из дома и что-то прошептал Магнусу. Тот встал со своего места и через кухню пошел в дом. Ридж-беки на мягких лапах последовали за ним. Когда через несколько минут Магнус вернулся к нам, вид у него был обеспокоенный.

— Позвонил один из моих помощников, — сказал он, обводя взглядом всех нас. — Час назад К-Ты сожгли дотла деревню скваттеров в Танах-Рате. Старосту изрубили в куски *парангом*[89]. Его жену и дочерей заставили смотреть на это. Я вовсе не стараюсь выпроводить вас, но шестичасовой комендантский час введен и уже действует.

---

[87] Примечания: 87

Элизабет Комбер (1917–2012) — известная в Азии врач и писатель (псевдоним Хан Суин), долго жившая в Гонконге, в Малайзии, а в последние годы — в Европе.

[88] Примечания: 88

Уильям Холден, настоящее имя Уильям Франклин Бидл-младший (1918–1981) — американский актер, лауреат премии «Оскар» за главную роль в фильме «Лагерь для военнопленных № 17» (1953). Американский институт киноискусства отвел ему 25-е место в списке «100 величайших звезд кино».

[89] Примечания: 89

Паранг — малайский крестьянский нож, род мачете.

Енчик Хамид вскочил на ноги, крошки так и полетели у него с колен:

— *Аламак!*[90] У меня жена одна в доме.

Остальные тоже вскочили, и я поняла, что убийство Верховного комиссара перепугало людей больше, чем они хотели показать. Магнус с Эмили пошли провожать гостей к выходу, а я осталась в саду. Прошла мимо статуй двух сестер и остановилась у низкой каменной балюстрады, облокотившись о нее. Внизу, на террасе, располагался надлежаще строгий садик, по газону которого опавшие дубовые листья разлетелись, как кусочки незавершенной мозаики. Один павлин гнался за другим по траве, и перья их хвостов сгребали, вороша, листья. На газоне благоухал розовый сад, кусты которого были посажены по спирали.

Поначалу я подумала, что долетавший шум производит какой-нибудь грузовик, одолевавший крутой подъем дороги где-то за соседним хребтом. С каждой секундой рокот становился все громче, взорвавшись пробравшим до костей ревом самолета, пролетевшего над Домом Маджубы и ушедшего на круг над чайными полями.

---

[90] Примечания: 90
Аламак! — ой! (*малайск.*)

— «Дакота», — определил Фредерик, выходя из дома, чтобы присоединиться ко мне.

Дверца в хвосте самолета открылась, из нее выползло какое-то коричневое облачко и мгновение спустя рассыпалось на мелкие кусочки. На секунду мне показалось, что самолет разваливается, с него словно стала облетать чешуя.

— Что это? — спросила я.

— Охранные пропуска и уведомления, призывающие К-Тов сдаваться, — объяснил Фредерик. — Магнус говорит — адова работа очищать от них кусты, когда ветер относит все это на чай. Кули сокрушаются горше горького.

«Дакота» полетела за холм, шум от нее постепенно стихал. Листочки бумаги вихрем полетели к дому. Я отошла в дальний конец газона и поймала одну листовку в воздухе. Я слышала об этих уведомлениях, распространявшихся Управлением психологической обработки противника, но сих пор ни одного не видела. На листовке бок о бок помещались две фотографии. На первой был изображен бандит в момент сдачи: костлявый, дурно питающийся, одетый в тряпье, на лице одни только скулы да торчащие зубы остались. *«Товарищи, меня зовут Чон Ка Хенг. Когда-то я входил в Четвертый Джохорский полк»*, — прочла

я вслух. На второй фотографии был снят тот же мужчина: улыбающийся и хорошо накормленный; одетый в ослепительно-белую рубашку и черные, отлично отутюженные брюки, он походил на мелкого чиновника; одной рукой он обнимал за талию невзрачную, но улыбающуюся молодую китаянку. *«Правительство отнеслось ко мне по-хорошему, поскольку я сдался в плен. Призываю вас подумать о своей семье, о своем отце и своей матери, которым очень не хватает вас. Кончайте свою борьбу и возвращайтесь к людям, которым вы нужны»*. Обещания амнистии и вознаграждения были повторены на малайском, китайском и тамильском языках. Бумага была тонкой и светло-коричневой, будто вымокла за ночь в остатках чая.

— Странный выбор цвета, — заметила я.

— Это умышленно. Вызовет больше доверия у бандита, когда он такую листовку поднимет. — Фредерик откашлялся. — Магнус позволяет мне пользоваться одним из бунгало. Оно на другой стороне плантации.

И добавил, помолчав:

— Пойдемте выпьем?

— Уже комендантский час.

— Мы же в пределах плантации.

— Не сегодня, Фредерик, — сказала я, комкая в руке листовку. — А вам — спасибо за то, что отвезли меня сегодня утром.

Боль занялась в левой руке, когда я вернулась в спальню, временами ее ноющее подергивание шло в такт пульсу. Ярость, вызванная отказом Аритомо, притихшая на время вечеринки, вновь дала о себе знать. Вот ведь наглость у человека: заставить меня проделать путь от самого К-Л только для того, чтобы столь поспешно отвергнуть мое предложение, даже всерьез не обдумав его! Чертов джап. Чертов, чертов джап-кровосос!

Выдвинув ящик у тумбочки рядом с кроватью, я достала свой дневник. Он был тяжелый — распух от газетных вырезок, которые я в него вклеивала. Перебирала странички, по сути, не глядя на них: то, что содержалось в дневнике, я знала наизусть. Еще когда я работала помощником научного сотрудника на процессах по военным преступлениям, я собирала газетные отчеты о таких же процессах в Токио и других странах, которые захватили японцы. Я близко к сердцу принимала обвинения, которые вменялись в вину японским офицерам, но все равно регулярно перечитывала вырезки, хотя давным-давно смирилась с тем, что в них не было ни знакомого мне имени, ни зна-

комого лица на фотографии. Нигде не попалось упоминание о лагере, куда я была заключена.

Между страниц в конце дневника торчал бледно-голубой конверт, адрес на котором был написан по-японски и по-английски. Я взяла его — он был легок, как листик дерева. Конвертом была заложена страница, куда я занесла свой последний разговор с осужденным военным преступником, произошедший за неделю до моего отъезда в Кембридж. Я вспомнила про обещание, которое дала тому человеку, обещание отправить его письмо по почте.

Потихоньку левая рука перестала ныть. Но боль еще вернется.

Откуда-то слабо доносились голоса слуг, остававшихся в доме. Один из павлинов протяжно звал самку. Я вложила конверт обратно между страниц, закрыла дневник и пошла на террасу.

Долго стояла там, глядя в сторону Югири. Стояла до тех пор, пока вечер не затопил подошвы холмов в долинах и сад Аритомо не пропал из виду.

Глава 6

Убийство Верховного комиссара вынудило Магнуса с Фредериком самим взяться за руководство ремонтом защищавшей дом ограды. Рабочие установили пару прожекторов, развернутых вовне. Услышав от кого-то в гольф-клубе Танах-Раты о том, что случилось в Ипохе, где управляющему каучуковой плантацией К-Ты швырнули ручную гранату в окно столовой, когда там обедало все семейство, Магнус решил затянуть окна тонкой проволочной сеткой.

— Эмили говорила, что ты еще не видела наш медпункт, — заметил Магнус, когда я помогала ему прибивать кусок сетки поверх окон в моей спальне. От сетки в комнате сделалось мрачно, и я включила свет. Прошло уже два дня после того, как Аритомо выпроводил меня восвояси, но я все еще была возмущена этим.

— Поезжай, взгляни, — продолжил Магнус. — У нас в прошлом году медсестра уволилась: заявила, что работать тут слишком опасно. Эмили решила заняться медпунктом сама. Она, видишь ли, выучилась на медсестру еще до того, как свет

в окошке увидела и вышла за меня.

В лечебницу мне не хотелось, но я понимала: надо. Хотя бы для того только, чтоб уважить Эмили. Пройти до побеленного бунгало от жилищ рабочих было недалеко. Когда я вошла в приемную, мужчина-тамил, сидевший, сгорбившись, на стуле, осклабился. Эмили находилась за низкой конторкой и беззвучно шевелила губами, отсчитывая пилюли, которые отправляла в пузырек. В открытую дверь я разглядела палату с двумя койками, разделенными перегородкой. С одной койки торчали босые женские ноги.

— Это Лечуми, — сказала Эмили, взглянув на меня.

— Укушенная змеей.

Эмили склонила голову набок.

— Ах, ну да, это ж было в вечер, когда ты приехала. Сейчас у нее все хорошо. Доктор Йео сделал ей укол. Маньям, эй, Маньям! *Амбил убат!*[91]

Сидевший на стуле тамил встал, подошел и взял у нее пузырек с пилюлями. Эмили заставила его повторить по-малайски предписания по дозировке и только после этого отпустила. Вновь повернувшись ко мне, кивнула на сложенные в

---

[91] Примечания: 91
Амбил убат! — Принимай лекарства! (*малайск.*).

углу коробки с медикаментами:

— Вот, сегодня прислали. Я побольше заказала на тот случай, если К-Ты нападут на нас, — она покачала головой. — В том, что Гарни убили они, есть своя ирония, верно?

— Как это?

— Этот человек свою *задницу* не мог оторвать от кресла целыми днями после того, как К-Ты напали на плантацию в Сунгай-Сипуте. И ничего не делал.

— Он все же объявил о введении чрезвычайного положения по всему государству.

— Только потому, что плантаторы заставили его пойти на это. Магнус здесь у всех до единого подписи собрал под петицией. Вы, живущие в больших городах… — она иронично хмыкнула, — вы даже понимаете, что идет война.

В ее обвинениях была доля истины.

— Одно меня радует, — прибавила она, — по крайней мере Магнус больше не будет по субботам попусту бегать по горам со своими приятелями.

— А что они делают? На кабанов охотятся?

— Ты разве не слышала этих россказней? Говорят, что перед капитуляцией джапы в Танах-Рате упрятали где-то в горах кучу золотых слитков.

— Наверняка это просто слухи.

— Они же как школьники, *лах*, ищут запрятанное сокровище. Меня спроси, так я думаю, что им просто нравится быть подальше от своих жен.

Эмили открыла шкаф и принялась укладывать в него коробки с гигиеническими салфетками. Махнув коробкой в мою сторону, заметила:

— Надеюсь, ты не считаешь, что я лезу не в свои дела, потому как я вовсе не лезу. Но меня всегда любопытство разбирало: как же ты вот без этого (она кивнула на коробки) обходилась, когда в заключении была?

— У многих из нас прекратились менструации.

— Такое случается. Ужасные условия, еды не хватает.

— Даже после того, как я освободилась, месяца два-три не было. А потом, в один прекрасный день, когда я в конторе сидела, она опять явилась, нежданно-негаданно.

Помню, я была застигнута врасплох, пришлось попросить свою секретаршу хоть как-то помочь. И помню, как же легко стало после этого. Смогла наконец-то прочувствовать: война воистину кончилась. Мое тело могло вновь свободно вернуться к его естественным ритмам.

От запаха дезинфекции в медпункте я почув-

ствовала приближение тошноты, должно быть, это стало очень заметно, потому как Эмили забеспокоилась и спросила:

— Тебе дать тигрового бальзама или нет?

— Это место, запахи… напоминают мне о госпиталях.

— *Саянг*[92], — произнесла она, сокрушенно качая головой, — а я-то надеялась, что ты сможешь тут помочь.

— Я тут вообще недолго задержусь.

Я вышла из медпункта, радуясь возможности снова побыть на солнышке и свежем воздухе. Вернувшись в Дом Маджубы, нашла у себя на туалетном столике свернутые в рулон бумаги: планы и фотографии, оставленные в Югири, чтоб Аритомо мог с ними ознакомиться.

Созывавшая рабочих сирена уже затихала, когда на следующее утро я вышла из дома. Стояла возле гаража, терла ладошкой о ладошку. Мир вокруг был серым и промозглым. Минуту спустя до меня донесся размеренный хруст гравия, потом из тумана появился Магнус, а следом за ним и риджбеки. Накануне вечером я попросила его показать мне плантацию, но все равно он,

---

[92] Примечания: 92
Саянг — милая (*малайск.*).

похоже, изумился, увидев меня.

— Не думал, что ты способна вставать в такую рань, — сказал он, открывая для собак заднюю дверцу «Лендровера». Под курткой у него я заметила револьвер в кобуре.

— Мне много спать не требуется, — ответила я.

На коротком тряском пути до фабрики Магнус вкратце объяснил мне, как управляется плантация:

— Джофф Харпер — мой помощник управляющего. У нас с ним пять младших помощников-европейцев, которые приглядывают за *керани*[93] в конторе.

— А в полях?

— Плантация разбита на тридцать пять участков. Каждый участок находится под началом *кангани*, смотрителя. Под ним — *мандоры*, бригадиры. Они отвечают за работу своих бригад — сборщиков, травопольщиков, чистильщиков. Стража отвечает за то, чтобы не было воровства или бездельничанья. И я еще назначил «домашнюю гвардию» следить за ними.

— Вчера, когда я проходила мимо фабрики, возле нее дети играли.

---

[93] Примечания: 93
Керани — клерки (*малайск.*).

— Дети рабочих, — кивнул Магнус. — Мы платим им по двадцать центов за каждый пакет гусениц, которых они обирают с чайных кустов.

Фабрика была размером с причальный пакгауз. Возле нее уже выстроились в очередь кули. Сигарки-*кретек*[94], которые они курили, насыщали воздух запахом гвоздики. Магнус приветствовал их, а старший *кангани* выкрикивал их имена, помечая вышедших в списке на планшетке с зажимом.

Магнус посовещался с помощником управляющего Джоффом Харпером, низеньким, крепеньким мужчиной лет за пятьдесят, за спиной у которого болталась пара ружей.

— Сегодня все рабочие вышли? — спросил Магнус.

Харпер кивнул:

— Цена на каучук была низкая.

— Будем надеяться, такой она и останется.

— У нас тут одни в засаду вчера ночью попали на дороге, идущей в Ринглет. Китайская пара, — сообщил Харпер. — Эти мерзавцы… прошу прощения, мисс… эти К-Ты, они раскидали их

---

[94] Примечания: 94

Кретйк (индон. kretek) — сигареты, как минимум на треть заполненные лепестками гвоздики (дым от таких сигарет более мягкий, с особым привкусом).

тела, разрубленные на куски, по всей дороге.

— Кто-то из знакомых?

— В гости приехали из Сингапура. Возвращались на машине со свадьбы.

Сборщики чая направились на склоны. Я следовала за очередью рабочих, входивших на фабрику.

— Дробилки, барабаны, сушилки, — называл Магнус, указывая на стоявшие рядами внутри огромные молчащие станки. Запах обжариваемых листьев забивал воздух, у меня было ощущение, будто я сунула нос в раскрытую банку с чаем. Рабочие везли стойки с оловянными поддонами, покрытыми иссохшими листьями, свернувшимися наподобие личинок насекомых. Еще секунда — и станки заработали, сотрясая своим грохотом всю фабрику. Магнус дал знак мне рукой: уходим обратно на улицу.

Мы вышли на дорожку между чайных кустов. Собаки рысили впереди, обнюхивая носами землю.

— Какое отношение имеет цена на каучук к вашим рабочим? — спросила я.

— Джофф ее по радио каждый день проверяет. Если идет вверх, мы знаем: кто-то из наших рабочих уйдет на каучуковые плантации. Большин-

ство из ушедших до Оккупации уже вернулись, но рабочих рук у нас всегда не хватает.

— Вы их опять наняли, после того как они вас бросили?

Магнус обернулся, посмотрел на меня, потом зашагал дальше.

— Когда пришли джапы, я сказал своим рабочим, что они могут уходить по своей воле. Их старые места работы останутся за ними, когда война кончится. Я им обещал сдержать свое слово, если останусь в живых.

Земля круто забирала вверх: икрам приходилось напрягаться. Завитки пара раскручивались с верхушек кустов. Оглянувшись на меня, Магнус умерил шаг, отчего мне пришлось еще сильнее тянуться, чтобы не отставать. Когда мы добрались до вершины подъема, я тяжело дышала. Он остановился и указал на горы.

Они пробивались из земли в трехстах милях[95] к северу, у границы с Таиландом, и тянулись до самого Джохора на юге, образуя хребет, деливший Малайю надвое. В нежном свете утра горы своей картинной мягкостью напоминали роспись по шелку.

---

[95] Примечания: 95
Около 500 километров.

— Я тут всегда вспоминаю о неделе, которую я провел в Китае, в провинции Фуцзянь, — сказал Магнус. — Я побывал на горе Ли Ву. Там храм был, ему тысяча лет — так монахи говорили. Они свой чай выращивали, монахи эти. И рассказали мне, что самое первое чайное дерево там посадил сам бог, можешь себе представить? Храм был знаменит вкусом своего чая, такого букета нигде в мире больше было не найти.

— И что за вкус?

— Чтобы сохранить девственность чая, собирать его позволяли только монахам, не достигшим половой зрелости. И за месяц до начала сбора листьев этим мальчишкам не разрешалось есть острый перец или квашеную капусту, никакого чеснока или лука. Они не смели коснуться даже капли соевого соуса, иначе могли бы своим дыханием отравить листья. Мальчишки собирали чай на восходе солнца, вот примерно в это время. Работали они в перчатках, чтобы их пот не навредил вкусу чая. Собранный и уложенный чай тут же посылался как дань императору.

— Мой отец считал, что вы с ума сошли, занявшись выращиванием чая.

— Не он один так считал. — Магнус засмеялся, сорвал листочек с куста, растер его меж пальцев

у себя под носом.

Из долины доносились голоса и пение сборщиков чая. Большинство из них составляли женщины, укрывшие головы потрепанными соломенными шляпами. Большие плетеные корзины крепились ремнями у них на спине и удерживались лентами, накинутыми на лоб. Собирали они примерно по пятьдесят фунтов[96] листьев в день, отправляясь на фабрику, чтобы опорожнить наполненные корзины, и снова возвращаясь на склоны, путь этот они проделывали снова и снова, пока не заканчивался день. Глядя на них, я вдруг подумала, до чего же обманчивы рекламные изображения, которые я с самого детства привыкла видеть на стенах захудалых продовольственных лавок рядом с выцветшими плакатами, прославляющими какой-нибудь сорт пива или сигарет: реклама изображала сборщиц радующимися жизни, одетыми в чистые яркие цветные сари, их зубы восхищали белизной, а носы и уши сияли золотыми кольцами и сережками, золотые браслеты унизывали кисти рук.

Работницам, которых я разглядела внизу, в долине, платили плохо за этот один из самых

---

[96] Примечания: 96
Около 22,7 килограмма.

механических, изматывающих видов труда.

После блужданий по плантации я поняла, что Магнус был вполне приличным работодателем: обеспечивал своих работников жильем, а их детей начальным школьным образованием. А еще я поняла, что доносящиеся со склонов смех и пение этих женщин по большей части были пропитаны горечью суровой их жизни. Каждый вечер сборщицы возвращались в свои лачуги с земляными полами, к своим восьми-девяти, а то и десяти детишкам, к своим опухшим от пьянства мужьям.

— Армейский сержант рассказал мне, как на следующий день после того, как застрелили Гарни, нагрянули силы безопасности и выселили всех живущих в Трасе, — поделился Магнус.

— Где это?

— Деревушка скваттеров поблизости от места, где убили Гарни.

— Должно быть, решили, что жители деревни помогали К-Там.

— Во всяком случае, солдаты не сожгли их дома дотла, — взгляд Магнуса, казалось, был устремлен на какой-то иной горизонт, очерчивающий другой, более давний мир. — Когда я служил в коммандос, то частенько проезжал мимо фер-

мерских домов, спаленных *rooinek*[97] солдатами. Порой развалины еще дымились и дым стлался по всему вельду, погружая его на целые дни в жуткий сумрак. Повсюду валялись мертвые овцы, жирно обсиженные мухами: красношеие привязывали их к лошадям и рвали на части. Куда бы мы ни добирались верхом, воздух всегда, казалось, вибрировал от низкого непрестанного гуда. Это мухи жужжали. — Он расстроенно ударил себя в грудь. — Нас такая ярость обуревала, такая ненависть к англичанам… и это наполняло решимостью сражаться с ними до последней капли крови, — он обвел рукой чайные поля. — Первая партия саженцев прибыла с той самой плантации на Цейлоне, где я когда-то вкалывал военнопленным. История щедра на ироничные совпадения, ты не считаешь?

Облака проплывали мимо горных вершин: духи, бегущие от восходящего солнца. Мне представлялось, что я ощущаю какое-то волнение в самой глуби земли, чувствующей надвигающийся свет.

— Завтра домой поеду, — я пнула ногой ка-

---

[97] Примечания: 97

Rooinek — красная шея (*африкаанс*). Слово стало презрительной кличкой британских солдат в Южной Африке, носивших мундиры с красным воротником.

мушек, и тот стремительно понесся за край уступа. — Вы довезете меня до Тапаха? А там я на поезд сяду.

Магнус взглянул на меня:

— Что делать будешь? Вернешься на прежнюю работу?

— Это после всего сказанного мною про правительство?

— Наверняка есть и другие садовники, у кого ты могла бы получить план своего сада.

— Только не в Малайе. Здесь нет никого под стать Аритомо. А в Японию ехать я не хочу, — сказала я. — Не могу. И, думаю, никогда не смогу.

Отказ садовника бревном лег у меня на пути, я представления не имела, что делать.

— Поговорите с ним от моего имени, Магнус. Попросите его передумать, — произнесла я. — У меня есть накопленные деньги. Я ему хорошо заплачу.

— Я знаю его десять лет, Юн Линь. Если он что решил, то уже никогда этого не меняет.

На гребне неподалеку от нас пара аистов, распустив крылья с серыми подпалинами по краям, сорвалась с верхушки деревьев и полетела над горой, устремляясь к долинам, скрытым от наших глаз. Было так тихо, что я, казалось, слышу каж-

дый мах их крыльев, которые вздымали легкий туман, делая его похожим на взбудораженные волны прибоя…

Магнусу до завтрака надо было обследовать еще несколько участков, и я убедила его, что сама доберусь обратно до Дома Маджубы. Я шла по тропинке между чайными полями и краем джунглей, как вдруг застыла на ходу. Глаза шарили по стволам высоченных деревьев, но я не знала, что именно ищу. Перевела взгляд на тропинку, тронулась дальше. Десятка шагов не прошла, как заметила стоявшую в тени фигуру. Она двинулась ко мне. Я отступила на шаг, а она все приближалась. Ступила в пятно солнечного света — и я вздохнула с облегчением. То была девочка лет девяти-десяти, ее лицо и одежду покрывала грязь. Она была из местных, и она плакала.

— *Какак сайя*, — выговаривала она, выталкивая слова между рыданиями. — *Толонг марека*[98].

— *Мана?* — спросила я, приседая, чтобы заглянуть ей в лицо. Слегка тряхнула ее за плечи. — *Где?*

Девочка указала пальцем на деревья позади себя. Я почувствовала, как джунгли надвинулись

---

[98] Примечания: 98

Какак сайя… Толонг марека — Моя сестра… Помогите им (*малайск.*).

ближе.

— Мы вызовем полицию, — успокаивала я, все еще говоря по-малайски. — *Мата-мата*[99] помогут твоей сестре.

Я встала и пошла обратно к дому, но девочка ухватила меня за руку и потянула, стараясь утащить к деревьям. Я сопротивлялась, заподозрив ловушку К-Тов. Заслонив ладонью глаза, я, прищурившись, оглядела склоны, однако сборщики чая еще не добрались до этого участка плантации, не было заметно и никого из «домашней гвардии». Заплакав еще громче, девочка опять потянула меня за руку. Я пошла за ней, но застыла, едва мы дошли до первых зарослей.

Впервые с тех пор, как кончилась война, мне предстояло вступить в тропический лес. Меня обуял страх: если войду, то уже никогда оттуда не выйду. Не успела я повернуться, как девочка цепко сжала мне руку и потащила в заросли папоротника. Насекомые издавали клацающие металлом звуки. Цикады ткали вокруг звенящие сети. Птичьи крики впивались в воздух острыми блестящими гвоздями. Было похоже, что мы вошли в какую-то кузницу на задворках Джор-

---

[99] Примечания: 99
Мата-мата — агенты (*малайск.*).

джтауна, где вовсю кипела работа. Солнечный свет сочился сквозь переплетения веток и листьев над головой, не в силах пролиться ниже, чтобы разогнать дышащую влагой тьму у самой земли. Толстыми петлями свисали с ветвей лианы. Девочка вела меня по узенькой звериной тропке, по камням, скользким от мха, на которых того и гляди растянешься во весь рост, стоит только зазеваться. Минут пятнадцать-двадцать тащилась я за нею под раскидистыми ветвями, больше похожими на широкие и длинные листья деревьев, которые укрывали нас сверху и размывали свет до состояния полупрозрачной зелени.

Мы вышли на небольшую поляну. Девочка остановилась и показала пальцем на бамбуковую хижину под деревьями, крышей для которой служили лысеющие пальмовые ветви. Дверь была полуоткрыта, но внутри было темно. Мы подобрались к хижине поближе, стараясь производить как можно меньше шума. Среди деревьев позади нас вдруг затрещали ветки и что-то тяжело бухнуло об землю. Я разом развернулась и пригляделась. Деревья стояли не шевелясь. Наверное, то был всего-навсего переспевший плод дуриана, его колючки, которыми была утыкана броня кожуры, кромсали листья во время падения. Я

услышала еще какой-то звук, пробивавшийся сквозь шум джунглей, какое-то гудение, до того слабое, что оно звучало почти умиротворяюще. Доносилось оно из хижины.

Дверь никак не хотела открываться, и я вышибла ее ногой. Она распахнулась настежь. На земляном полу лежали три тела в луже крови, настолько темной и густой, что казались приклеенными к ней. Сотни мух ползали по их лицам, вздутым животам и набедренным повязкам. У всех было перерезано горло. Девочка взвизгнула, и я закрыла ей рот ладонью. Она билась, бешено махала ручонками, но я держала ее крепко. Мухи взлетели с тел и роем поднялись на внутреннюю сторону крыши, которая почернела так, будто в одно мгновение покрылась плесенью.

Запах еды накинулся на меня, когда мы подходили к кухне. Фредерик с Эмили сидели за столом. Они перестали разговаривать и подняли взгляды, когда я вошла вместе с выглядывавшей из-за меня девочкой. Эмили усадила нас за кухонный стол, на котором был накрыт завтрак плантатора: тарелки со свежим беконом, колбасками и яйцами, поджаренный хлеб и клубничный джем. Фредерик налил нам чаю, щедро приправил его сгущенным молоком. Я отпила несколько глот-

ков. По телу разлилось тепло и уняло мою дрожь. Я вкратце рассказала, что произошло.

— Где Магнус? — Взгляд Эмили впился в меня.

— Все еще объезжает поля, полагаю. Я не знаю.

— Свяжись с Джоффом! — резко бросила Эмили Фредерику. — Скажи ему, пусть отыщет твоего дядю. И позвони в полицию. И Тумзу. Ступай!

Горничная принесла два одеяла, Эмили укутала в одно из них плечи девочки, другое дала мне. Вернулся Фредерик, а вскоре вслед за ним — и Магнус. Риджбеки обогнали обоих и принялись обнюхивать ноги девочки. Та вскрикнула и съежилась на стуле. Эмили гаркнула на собак, и те, поджав хвосты, убрались в угол.

— Черт побери, Юн Линь, — заворчал Магнус, — тебе следовало бы идти прямо домой!

Девочка опять принялась плакать.

— Не ори, *лах*, ты пугаешь бедняжку, — сказала Эмили, хмуро глянув на Магнуса.

— Она хотела, чтоб я за ней пошла, — объяснила я.

— Заходить в джунгли было *blerrie*[100] глупо, — буркнул тот. — *Blerrie* глупо! Твой отец отрезал бы мне все на свете, случись что с тобой.

---

[100] Примечания: 100
Blerrie — зд.: чертовски (*африкаанс*).

— Ничего со мной не случилось.

Он рванул к себе стул и тяжко плюхнулся на него. Когда приехал Тумз, девочка тут же соскочила со стула и, подбежав, обхватила его ногу. Покровитель Аборигенов опустился на одно колено и мягко стал расспрашивать ее, причем по-малайски он говорил куда свободней, чем я. Через некоторое время Тумз взял ее за руку и снова подвел к столу, убедив допить чай в чашке. Она сделала глоточек, потом другой — не сводя глаз с Тумза.

— Она не захотела назвать нам своего имени, — сказала Эмили.

— Это Рохана, — сообщил Тумз. И обернулся ко мне: — Те тела, что вы видели, это были ее сестра, брат и двоюродный брат.

— А что они делали в хижине? — спросила я.

— Не хижина на самом-то деле. Укрытие. Они ждали, когда ночью придут кабаны. Ушли из деревни на охоту два дня назад. И взяли Рохану с собой. Вчера вечером она играла неподалеку от укрытия и услышала крики. И спряталась среди деревьев.

— Она видела, что произошло? — спросил Магнус.

— Четверо К-Тов, из них две женщины, — отве-

тил Тумз, глянув на девочку. Ее глаза, большие и темные, смотрели на него поверх чашки. — Брата с сестрой и двоюродного брата силой затащили в укрытие. Мгновение спустя она услышала их крики. Потом вопли. Когда К-Ты снова вышли, то несли кабана, которого подстрелил ее брат. Один из них заметил ее, и все бросились в погоню. Рохана убежала в джунгли. Всю ночь пряталась.

Час спустя прибыли полицейские во главе с субинспектором Ли Чун Минем. Нас с Роханой допрашивали порознь. Когда пришел черед девочки, рядом с нею сидел Тумз. Субинспектор Ли попросил меня показать полиции, где мы обнаружили тела. Поехали на двух машинах, постарались как можно ближе подъехать к месту, где я заметила девочку, а потом уже пешком отправились в джунгли.

Позже, на обратном пути в Дом Маджубы, мы проехали группу сборщиков чая, сидевших на корточках возле дороги, куривших *кретек* и разговаривавших между собой. Корзины стояли у их ног. Когда мы проезжали мимо, сборщики провожали нас взглядами.

Весть об убийстве быстро разлетелась по плантации.

Только вечером субинспектор Ли со свои-

ми людьми закончили опрашивать рабочих с плантации. Я ушла к себе в комнату и сложила чемодан. Закончив, прилегла отдохнуть, только мысли мои не желали знать отдыха. Я вышла на террасу. Оттуда, где я находилась, был виден кусочек заднего дворика. Немного погодя из кухни появилась Эмили, три благовонные палочки были зажаты у нее меж ладоней. Стоя перед висевшим на стене красным металлическим алтарем Бога Небесного, она подняла лицо к небу, воздела руки ко лбу и закрыла глаза, беззвучно шевеля губами. Закончив молиться, встала на цыпочки и воткнула благовонные палочки в держатель для воскурений между двумя апельсинами и тремя чашечками чая. Струйки дыма от палочек возносились к небесам. Запах горящего сандалового дерева долетел до меня, успокоил ненадолго и тоже растворился с дымом. И тогда я поняла, чту должна сделать, прежде чем вернуться в Куала-Лумпур.

— *Эй*, куда это ты направилась? — строго спросила Эмили, увидев, как я прохожу мимо кухни. — Мы скоро ужинать садимся. Сегодня я готовлю *ча-сью*[101].

[101] Примечания: 101

Ча-сью, жаркое на огне (*кит.*) — китайское блюдо, свинина, обжаренная на вертеле или вилке в пламени огня.

— Я ненадолго.

И вновь я, следуя за А Чоном, прошла в дом, и вновь, как и прежде, он не сказал мне ни слова. Мы миновали комнату, где я сидела с Аритомо в то утро, когда мы впервые встретились, почти неделю назад. Домоправитель не остановился, а повел меня дальше по проходу, тянувшемуся вдоль маленького дворика с садом камней. Он остановился у комнаты с полуоткрытой раздвижной дверью и тихонько постучал по дверной раме. Аритомо сидел за столом, укладывая кипу документов в деревянную шкатулку. Он поднял на меня взгляд, удивился и произнес:

— Заходите.

Несмотря на студеный ветер, окна были открыты. В отдалении погружались в сумрак горы. Я оглядела комнату, отыскивая то, что мне было нужно. Бронзовый Будда, в локоть длиной, возлежал на подоконнике, изгиб его руки покоился на бедре, такой же благородный, как и линия гор за ним. Черно-белая фотография императора Хирохито в военной форме висела на стене — я отвернулась. Дальний конец комнаты был разделен на части стеллажами, заставленными томами книг по малайской истории и мемуарами, написанными Стэмфордом Раффлзом, Хью

Клиффордом, Фрэнком А. Светтенхемом[102]. Пара китайских бронзовых лучников, дюймов в девять[103] высотой, стояла на столе, натягивая луки, не имевшие ни тетивы, ни стрел. С потолка на тонкой веревке свисала бамбуковая птичья клетка, пустая, если не считать огарка наполовину оплывшей свечи внутри. Садовник, очевидно, был собирателем древних карт: по стенам в рамках висели карты Малайского архипелага и Юго-Восточной Азии, скрупулезно вычерченные от руки голландскими, португальскими и английскими исследователями восемнадцатого века.

В другом конце комнаты висела картина, изображавшая богатый дом, выстроенный в англо-индийском стиле, столь популярном на Пенанге. Широкая веранда опоясывала три стороны здания, соединяясь впереди портиком. На фронтоне в центре крыши значилось: «Атель-

---

[102] Примечания: 102

Раффлз, сэр Томас Стэмфорд Бингли (1781–1826) — один из наиболее известных «отцов» Британской империи, эрудит-востоковед, знаток истории и культуры, основатель современного Сингапура. Клиффорд, сэр Хью Чарльз (1866–1941) — британский колониальный администратор, глубокий знаток языка и культуры малайцев. Служил в качестве британского резидента в Паханге в 1896–1900 и 1901–1903 гг. Светтенхем, сэр Фрэнк Ательстан (1850–1946) — всю жизнь проработал в колониальной администрации Малайзии, был губернатором Проливных Поселений.

[103] Примечания: 103

Почти 23 сантиметра.

стан»[104] и ниже «1899». Позади дома зеленые воды пролива отделяли Пенанг от материка. Я помню, как гордилась собою моя сестра, когда закончила эту картину.

Аритомо отодвинул стул, вышел из-за стола и встал рядом со мной. Я продолжала разглядывать картину.

— Полиция расспрашивала меня про семью этих семайи[105], — произнес он. — Вы, должно быть, испытали сильное потрясение, обнаружив их в джунглях.

— Не в первый раз я увидела мертвые тела. — Я рассматривала его отражение в стекле. — Запах… Мне думалось, что я уже забыла этот запах. Но такое не забывается.

Он вытянул руку и поправил наклон рамы.

— Ваш дом?

— Его мой дед построил.

Дом стоял на восточном конце Нортхем-Роуд

---

[104] Примечания: 104

Ательстан — английский король (правил в 926–939 гг.), установил господство над всей Англией, Уэльсом и Южной Шотландией, разгромив наголову объединенные силы скоттов и датчан (937). К тому же создал хорошо действующую администрацию, улучшил чеканку монет, дал хартии городам.

[105] Примечания: 105

Семайи — полукочевой народ, живущий в центре Малайского полуострова в Юго-Восточной Азии, известный своей приверженностью ненасилию.

— протяженной улицы, укрытой тенью тропических деревьев ангсана и уставленной с обеих сторон дворцами высокопоставленных колониальных чиновников и богатых китайцев.

— Старый Мистер Онг был нашим соседом, — сказала я, глядя на дом, уже не на картине, а в своей памяти. — Он велосипеды ремонтировал, прежде чем стать одним из богатейших людей в Азии. А все это случилось потому, что он влюбился в девушку. — Я улыбнулась, вспоминая, как мама рассказывала нам с Юн Хонг кое-что. — Старый Мистер Онг захотел жениться на этой девушке, но ее отец не допустил этого. Он был из старинной богатой семьи и смотрел свысока на починщика велосипедов. Он велел ему покинуть их дом и никогда впредь их не беспокоить.

Аритомо скрестил руки на груди.

— Но он побеспокоил?

— Онгу понадобилось всего четыре года, чтобы стать богатым. Он выстроил себе дом прямо через дорогу напротив дома, где жила семья девушки. Это был самый большой дом на Нортхем-Роуд. И самый уродливый, как всегда говорила моя мама.

Я глянула на самое себя в стекле. Укрытые тенью, мои глаза провалились в глубину лица.

— Онг никому не сказал, что он — его владелец. Вселившись в дом, он в тот же день велел шоферу перевезти его через дорогу в своем серебристом «Даймлере». Он снова заговорил с отцом девушки и еще раз попросил ее руки. Отец ее, естественно, дал согласие. Свадьба состоялась месяцем позже. Она была самой богатой из всех, какие только видывал наш остров, говаривали старики.

— За что еще я люблю Малайю, — сказал Аритомо, — так за то, что она полна историй, вроде этой.

— Я часто видела Старого Мистера Онга в его саду, одетым, как кули, в замызганный белый жилет, просторные синие шорты из хлопка, несущим певчую птичку в клетке. Он всегда разговаривал с птичкой с большей нежностью, чем с любой из своих жен.

Аритомо указал на фронтон:

— Ательстан. Это второе имя Светтенхема.

Я удивленно глянула на него, но потом вспомнила о книгах первого губернатора Проли́вных Поселений у садовника на полке.

— Так его мой дед назвал. Глупое, напыщенное имя для дома, — заметила я. — Уверена, соседи потешались над моим дедом и над нами.

— Буду на Пенанге, посмотрю на него.

— Он был разрушен, когда самолеты джапов бомбили остров.

Лицо Аритомо не выразило ничего.

— Мы уехали из него всего на несколько дней раньше. Всё оставили — все наши фотографии. И все картины Юн Хонг тоже.

Мне было как-то не по себе видеть тут одну из ее картин: казалось, она все еще жива и вот-вот появится в дверях моей спальни поделиться со мной какой-нибудь сплетней, услышанной от подружек…

Подняв руку, я прикоснулась к стеклу. Оставленное мною запотевшее пятнышко через секунду исчезло, словно бы отыскало путь — как попасть в картину, написанную акварелью.

— Я хочу купить ее у вас.

Аритомо покачал головой:

— Мне ее подарили.

— Для вас эта картина ничего не значит, — я повернулась лицом к нему. — Я прошу вас продать ее мне. Уж в этом-то вы не можете мне отказать, по меньшей мере.

— Почему? Из-за того, чту моя страна сделала с вами?

— Продайте ее мне.

Он почти ласковым движением широко развел

руки:

— С момента вашего посещения я раздумываю над вашим предложением.

Я напряглась, гадая, о чем он намерен мне поведать.

— Вы спланируете и разобьете мой сад?

Он отрицательно повел головой:

— Но вы можете научиться сделать это сами.

Понадобилась секунда-другая, чтобы вникнуть в суть его предложения.

— Вы просите меня стать… вашей ученицей? — Вот уж чего бы я совсем не хотела. — Это смешно.

— Я обучу вас умению и навыкам создания своего собственного сада, — сказал он. — Простого, незатейливого сада.

— Для Юн Хонг не годится бесчувственный японский незатейливый сад.

— Это все, что я могу вам дать, — сказал он. — У меня нет времени… да и желания… создавать сад для вас. Или еще для кого бы то ни было. Последний заказ, за который я взялся, научил меня никогда больше не соглашаться на следующий.

— С чего это вы передумали?

— Мне нужен кто-то в помощь.

Мысль стать его ученицей, служить у него на

побегушках ничуть не прельщала меня. Когда я приходила в себя в госпитале после заключения, то поклялась себе: никто и никогда больше не будет распоряжаться моей жизнью.

— И долго вы меня будете обучать? — спросила я.

— До монсуна.

Сезон дождей, прикинула я, вернется месяцев через шесть-семь.

Медленно прошлась по комнате, обдумывая его предложение. Я была безработной, зато скопила вполне достаточно денег, чтобы позволить себе какой-то срок не работать. И у меня было время. Предложение Аритомо — единственный для меня способ подарить моей сестре японский сад. «И всего-то — шесть месяцев, — говорила я себе. — Я выносила кое-что похуже».

Остановившись, я взглянула на него:

— До монсуна.

— Взять ученика, а тем более ученицу — дело не пустячное, — предостерегающе поднял он палец. — Возлагаемые на меня обязательства тяжелы.

— Я понимаю, что это не будет увлечением на досуге.

Хмурясь, он подошел к полке, снял с нее книгу:

— Это поможет вам понять, чем я занимаюсь.

Тоненькая книжечка в сером матерчатом переплете, название оттиснуто по-английски под строкой японской каллиграфии.

— *«Сакутей-ки»*[106], — прочла я.

— Древнейшее собрание текстов о японском садоводстве. Изначальные свитки были написаны в одиннадцатом веке.

— Но в то время создателей садов не существовало, — сказала я.

Аритомо вскинул брови.

— Мне Юн Хонг рассказывала, — добавила я. — Об этом говорилось в одной из ее книг по садоводству.

— Ваша сестра была права. Тачибена Тошицуна, тот, кто составил *«Сакутей-ки»*, принадлежал к придворной знати. Говорят, он в высшей степени умело обращался с деревьями и растениями.

— Я не настолько сильна в японском языке, чтобы осилить это.

— Книга, что у вас в руках, — это сделанный мною перевод на английский, опубликованный много лет назад. Она ваша. Теперь — об уроках, —

---

[106] Примечания: 106

«Сакутей-ки» — древнейшая японская печатная книга (XI в.) о садоводстве. Содержит трактат «Образец создания садов», автором которого считается Тачибена Тошицуна (1028–1094).

он прервал меня, едва я стала благодарить его. — В первый месяц вам предстоит работать в разных местах сада, которые все еще обновляются. Мы должны начинать в половине восьмого. Работа заканчивается в половине пятого, в пять, а то и позже, если понадобится. У вас будет час отдыха на обед в час дня. Мы работаем с понедельника по пятницу. Если я попрошу, то вы обязаны будете явиться и по выходным.

Я ведь знала, что будет нелегко убедить его составить план и создать для меня сад. Но теперь до меня дошло, что самое трудное только-только начинается. Вдруг, ни с того ни с сего, на меня напала неуверенность в себе и в том, на что я дала согласие.

— Та девочка, что когда-то ходила по садам Киото со своей сестрой, — заговорил Аритомо, всматриваясь в мои глаза так, будто выискивал камушек, который уронил на дно пруда, — та девочка, она все еще там?

Понадобилось время, чтобы я смогла заговорить. Но и тогда голос мой звучал, как мне казалось, слабенько и сухо:

— С ней столько всего произошло.

Его пристальный взгляд безотрывно проникал в самую глубь моих глаз.

— Она там, — произнес он, отвечая на свой собственный вопрос. — Глубоко внутри — она все еще там.

Глава 7

До восхода солнца оставался еще час, но я, лежа в постели, уже чувствовала его приближение, чувствовала, как свет огибает землю. В лагере для интернированных я ждала его появления со смертельным страхом: рассвет означал еще один день непредсказуемых истязаний. Узницей я страшилась утром открыть глаза, теперь, когда я больше не в лагере, теперь, когда я свободна, я боялась закрыть глаза, когда засыпала, — боялась уготованных мне снов.

Читая всю ночь напролет перевод Аритомо *«Сакутей-ки»*, я вспомнила некоторые заповеди японского садоводства, о которых мне рассказывала Юн Хонг. Из объяснений Аритомо основ садоводства в Японии я поняла, что мои познания в этой области — лишь жалкие скребки граблями по верхнему слою почвы.

Начало устройству садов было положено в храмах Китая, над их разбивкой трудились монахи. Сады создавались, дабы как-то выразить человеческое представление о рае. Гора Шумеру, центр буддистской вселенной, не раз упоминалась в

«Сакутей-ки», и я стала понимать, почему главной особенностью многих садов, виденных мною в Японии, был характерный порядок камней. У гор в географическом и эмоциональном пейзажах Японии вид грозный и завораживающий, с течением веков их присутствие пропитало ее поэзию, фольклор и литературу.

Наверное, подумала я, именно поэтому Аритомо приехал сюда, в горы. И устроил себе дом среди облаков.

Самое раннее упоминание об искусстве разбивать сады в Японии относится к периоду Хэйан[107] — тогда, около тысячи лет тому назад, особое внимание уделялось *моно-но аварэ*[108], восприимчивости к возвышенному, и на всем лежала печать какого-то страстного увлечения всеми сторонами китайской культуры. Созданные в тот период сады (ни один из них

---

[107] Примечания: 107

Хэйан — период в истории Японии с 794 по 1185 г. Слово «Хэйан» в переводе с японского означает «мир, спокойствие».

[108] Примечания: 108

Моно-но аварэ, «печальное очарование вещей» (*яп.*) — эстетический принцип, характерный для всей культурной традиции Японии, требующий глубокого душевного отклика на явную и неявную красоту вещей и явлений, с обязательным оттенком грусти, вызванной чувством иллюзорности и бренности всего видимого. Точного определения *моно-но аварэ* не может существовать, так как попытка выразить глубинные чувства словами может быть только относительной, способной лишь намекнуть на происходящее, пережить которое каждый должен сам.

не сохранился до нашего времени) в точности воспроизводили сады пространственного удовольствия, какими обзаводились китайские аристократы, жившие по ту сторону Японского моря. Они разбивались вокруг озер, что позволяло по-разному использовать лодки, в том числе при проведении литературных вечеров и поэтических состязаний, во время которых пелись песни и слова как будто плыли по воде…

Постепенно влияние Китая размывалось эстетикой последующих эр Муромати, Мамояма и Эдо[109], японские садовники выработали свои собственные принципы композиции и разбивки. На планы садов Японии уже больше не влиял древний континент за морем, их определяли окружающие пейзажи самой Японии. Рост дзен-буддизма подвигал к более строгому аскетизму, излишества предыдущих эр сошли на нет по мере того, как монахи находили выражение своей веры в создании все менее суетных и загроможденных садов, сведя свои едва ли не к пустоте.

Я отложила книгу, закрыла глаза. Пустота — она манила меня, эта возможность избавиться ото всего мною виденного, слышанного и пере-

---

[109] Примечания: 109
Эры Муромати, Мамояма и Эдо — с 1392 по 1867 год.

житого…

В тот вечер, прежде чем лечь спать, я сообщила Магнусу, что не уезжаю с Камеронского нагорья. Он был в восторге, но плотно поджал губы, когда я сказала, что подыскиваю себе бунгало где-нибудь по соседству.

— Тебе нельзя жить одной, — сказал он.

— Это небезопасно, Юн Линь, — добавила со своего кресла в другом конце гостиной Эмили, оторвавшись от романа, который читала.

— Горы кишат К-Тами, — возвысил голос Магнус.

— Посмотри, что они сделали с этими молодыми семайи!

— В К-Л я жила сама по себе, — сказала я.

Узницей я находилась в окружении сотен людей, и теперь мне так хотелось уединения!

— И вообще, — заметила я, — у Фредерика вон свое собственное бунгало.

— Он *мужчина*, Юн Линь, и солдат, — возразил Магнус. — И живет он внутри плантации. Послушай, я уже говорил тебе: живи у нас сколько хочешь, нам это только в радость.

— Не хочу обременять вас.

Магнус глянул на Эмили, потом вновь обратился ко мне. Грудь у него вздымалась и опускалась

от глубоких вдохов и выдохов:

— У нас на плантации есть несколько свободных бунгало. Мои помощники управляющего жили там когда-то. Я поговорю с Харпером, посмотрим, какое бунгало тебе подойдет.

— Мне все равно, главное — оно должно быть поблизости от Югири. И я настаиваю: за проживание вы возьмете плату.

— Взамен, — произнесла Эмили, — ты должна ужинать у нас — по меньшей мере раз в неделю. Не желаю, чтоб ты где-то пряталась.

— Она права, — кивнул Магнус. — И еще одно: я дам рабочего, чтоб каждое утро сопровождал тебя до Югири. Он же будет провожать тебя домой, когда ты вечером закончишь работу.

— Налейте мне бокал вина, и мы выпьем за это.

Предложение Магнуса обеспечить меня охраной порадовало: о хождении в Югири в предрассветных сумерках думалось с беспокойством.

Пока Магнус откупоривал бутылку, я обошла гостиную, любуясь хинными деревьями на литографиях Пьернифа. В самом конце ряда висела гравюра на дереве: лист дерева. Вглядываясь в нее, я различила Дом Маджубы, сокрытый в переплетениях жилочек листа.

— Это работа Аритомо, — сказал Магнус.

Рядом с гравюрой в застекленной рамке висела медаль, цвета ленты которой были почти те же, что и на развевавшемся над крышей флаге.

— А что означает «Оорлог»? — спросила я, читая надпись на медали.

Магнус поправил мое произношение и ответил:

— *Oorlog* означает — война.

Указав на фотографию в сепии старика в цилиндре, щеки которого тонули в пенистой седой бороде, я спросила:

— Ваш отец?

Магнус подал мне бокал вина.

— Этот? — переспросил он. — *Ag, nee*[110], это ж Пол Крюгер, президент Республики Трансвааль во время второй бурской войны. Ты что, никогда не слышала про миллионы Крюгера? Нет? Когда англичане захватили Преторию, то обнаружили, что с трансваальского монетного двора пропало золота и серебра на два миллиона фунтов стерлингов. Огромные деньги пятьдесят лет назад — прикинь, сколько бы это сейчас стоило!

— И кто это взял?

---

[110] Примечания: 110
Ag, nee — о, нет (*африкаанс*).

— Есть люди, убежденные, что *Оот*[111] Пол запрятал золото с серебром где-то в Нижнем Вельде в последние дни войны.

— Так же, как джапы?

Магнус хохотнул, глянув на Эмили:

— Лао Пуо, ты жаловалась этой юной леди на мои забавы по выходным? Так вот, то, что джапы спрятали в Танах-Рате, скорее всего, крохи в сравнении с миллионами Крюгера.

— Они не могут стоить дороже золота Ямашиты[112], — сказала я. — Вы о нем слышали?

— Кто ж не слышал!

— Странно, правда, что истории вроде этих всегда появляются в связи с войной, — сказала я. — Кто-нибудь нашел золото, спрятанное Крюгером?

---

[111] Примечания: 111

Оот — дядя (*африкаанс*).

[112] Примечания: 112

Японский генерал Томоюки Ямашита в годы войны был фактическим правителем всех захваченных Японией территорий Юго-Восточной Азии. В его штаб на Филиппинах стекался огромный поток реквизированных японцами сокровищ. Стоимость их условно оценивалась от 20 до 100 млрд долларов (речь шла о тысячах тонн золота). Руководила этим грабежом тайная организация под названием «Кин но йури» («Золотая лилия»). Сокровища «Золотой лилии» были собраны японцами в течение 50 лет грабежа Юго-Восточной Азии и Китая и зарыты на территории Филиппин из-за блокады Японии подводными лодками США. Многочисленные источники подтверждают, что в конце Второй мировой войны сокровища японской империи были обнаружены американскими военными и, по некоторым сведениям,

тайно использованы США для создания трех финансовых фондов, сыгравших основную роль в послевоенном возрождении Японии.

— Пятьдесят лет искали и все еще ищут, — сказал Магнус.

Глухо зарокотал гром. Магнус поднял взгляд к потолку.

Мое внимание привлекла еще одна фотография.

— Это мой брат Пит, — пояснил Магнус, подойдя и встав со мной рядом, — папа Фредерика. Снялся незадолго до смерти. Я попросил Фредерика привезти фотографию с собой, когда он собрался приехать сюда. Это единственное фото, которое осталось у меня от всей моей семьи.

— Фредерик очень похож на своего отца.

Эмили отложила роман и посмотрела на Магнуса.

— Мы все потеряли: дневники моего *Oupa*[113], книгу рецептов моей *Ouma,* мои фигурки, вырезанные из вонючего, но очень прочного дерева, — перечислял Магнус. — Фотографии моих родителей и моей сестры. Все.

— А вы до сих пор… — Я осеклась, потом попыталась сызнова: — Вы можете вспомнить их лица?

Он пристально посмотрел на меня. По его глазам я догадалась, что он понял мои собственные

---

[113] Примечания: 113
Oup — дедушка (*африкаанс*).

тревоги.

— Долгое время не мог. А вот в последние несколько лет… словом, они снова вернулись ко мне. Когда становишься стариком, начинаешь вспоминать старое.

— Дождь собирается, — сказала Эмили.

Она встала, протянула Магнусу руку, и они вместе вышли на веранду взглянуть на сад позади дома. Порыв ветра, увлажненный дождем из-за гор, прошелся по гостиной, взметнув занавески. Немного поколебавшись, я тоже вышла из дома и встала от них в стороне.

«*Nou lк die aarde nagtelang en week in die donker stil genade van die rллп*», — тихо нараспев произнес Магнус, обнимая Эмили за талию и привлекая ее к себе.

Почему-то звучанье этих слов взволновало меня, и я спросила:

— Как это переводится?

— «Вот нежится Земля, ночь напролет купаясь в непроглядной тихой благости дождя», — произнесла Эмили. — Это из его любимого стихотворения.

Отвернувшись от меня, она еще теснее припала к мужу.

Над горами зигзагом вспыхнула молния. Мину-

ту спустя припустил дождь, размывая ночь.

Еще не было шести, когда я включила лампочку у кровати, надела старую желтую блузку и шорты до колен. На руки натянула пару старых бумазейных перчаток, позаимствованных у Эмили. Слуги растапливали печи на кухне, когда я зашла туда, съела два ломтика хлеба, выпила чашку молока. Услышала, как откашливался и прополаскивал горло Магнус у себя в ванной, когда, открыв входную дверь, выходила из Дома Маджубы. Завыла сирена плантации, но скоро расстояние и деревья заглушили ее.

Когда я добралась до Югири, дневной свет уже пробивался по кромке неба. Я пришла на несколько минут раньше, а потому отправилась вокруг к заднему входу. А Чон прислонял к стене свой велосипед. Он поклонился, когда я поздоровалась с ним. Аритомо упражнялся в стрельбе из лука. Я стояла в сторонке и наблюдала за ним. Закончив стрельбу, он велел мне ждать у входа в дом. Когда он снова вышел, я увидела, что он успел переодеться в синюю рубаху и брюки цвета хаки. Указав на мою записную книжку, сказал:

— Я не хочу, чтоб вы делали записи, даже когда придете домой в конце дня.

— Но я не сумею всего запомнить.

— Сад сам запомнит это для вас.

Я оставила записную книжку в доме и последовала за ним в сад, внимательнейшим образом слушая, как он расписывает работу на день.

Я уже говорила, что самыми первыми садовниками в Японии были монахи, воплощавшие на монастырских землях мечту о рае на земле. Из вступления к *«Сакутей-ки»* я знала, что семейство Аритомо были *ниваши* — садовниками. У правителей Японии с шестнадцатого века каждый старший сын был продолжателем того дела, которое оставлял отец. Существовала легенда, что первый Накамура во времена Империи Сун был китайским монахом, изгнанным из Китая. Этот монах отправился через океан в Японию, чтобы распространять учение Будды. Но вместо этого влюбился в дочь одного придворного и забыл про свои обеты, оставшись в Японии на всю жизнь. Подглядывая уголком глаз за Аритомо, я почти верила этой сказке. Было что-то от монаха в его манере держать себя, в спокойной, но имеющей точную цель сосредоточенности подхода к делу, в его неспешной и обдуманной речи.

— Отнеситесь со вниманием. — Аритомо щелкнул пальцами у меня перед лицом. — Что за сад я делаю здесь?

Вернувшись мысленно к тем частям сада, которые я уже видела, к их извилистым аллеям, я быстренько предположила:

— Прогулочный сад. Нет, подождите… сочетание прогулочного и пейзажного сада.

— Какой эры?

Это совершенно озадачило меня:

— Какую-то конкретно мне выбрать не по силам, — призналась я. — Это не Муромати, это и не совсем Мамояма или Эдо.

— Годится. Когда я планировал Югири, то хотел соединить элементы из разных периодов.

Я обошла лужу дождевой воды.

— Из-за этого вам, должно быть, еще труднее достичь в этом саду общей гармонии.

— Не все из моих идей были осуществимы. Это одна из причин, почему сейчас я вношу изменения.

Идя по саду, о котором я услышала едва ли не полжизни назад, я жалела, что рядом со мной нет Юн Хонг. Она радовалась бы этому больше, чем я. Мне же оставалось только ломать голову: что я делаю тут, живя жизнью, какой должна бы была жить моя сестра?..

На каждом повороте дорожки Аритомо обращал мое внимание на расположение камней,

необычную скульптуру или каменный фонарь. Вид у них был такой, будто они уже целые века лежали здесь, на ложе из мха и папоротников.

— Эти предметы — сигнал для странника о том, что он вступает на новый уровень своего странствия, — пояснял он. — Они подсказывают ему: надо остановиться, с мыслями собраться, насладиться видом.

— Была ли когда-нибудь хоть одна женщина, которую учили быть садовником?

— Ни одной. Это не означает, что это не допускается, — ответил он. — Вот только для разбивки сада требуется физическая сила. Женщина недолго выдержала бы работу садовника.

— А что, по-вашему, нас заставляли делать охранники? — выпалила я в приступе гнева. — Они насильно гнали нас рыть туннели, и мужчин и женщин. Мужчины разбивали скалы, а мы сваливали камни в ущелье за мили от каменоломни. — Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. — Юн Хонг как-то сказала мне, что для создания сада требуется умственная сила, а не физическая.

— У вас явно в избытке и той, и другой, — заметил он.

Во мне снова взыграл гнев, но не успела я отве-

тить, как до нас долетели голоса и смех.

— Рабочие пришли, — вздохнул Аритомо. — Опоздали, как обычно.

Мужчины шли босиком, одетые в залатанные майки с шортами, с наброшенными на плечи полотенцами. Аритомо познакомил их со мной. Каннадасан, тот, что кое-как объяснялся по-английски, был за главного. Остальные четверо знали только тамильский и малайский. Белые зубы воссияли на фоне темной кожи, когда они услышали, что я составлю им компанию.

Вслед за Аритомо мы прошли на участок позади кладовки с инструментами. Там были сложены камни размерами от кокосового ореха до глыб, доходивших мне до плеч.

— Я разыскивал их по пещерам в округе возле Ипоха во время Оккупации, — сказал Аритомо.

— Вы уже тогда намеревались изменить сад? — спросила я.

— Мне нужна была веская причина, чтобы держать здесь рабочих. Вот я и бродил по окрестностям в поисках подходящих материалов.

— Тогда вы должны были видеть и слышать,

что Кэмпэйтай[114] вытворял с людьми.

Аритомо глянул на меня, затем повернулся и зашагал прочь, вклинив болезненное молчание в пространство между нами. Почуяв напряжение, рабочие отводили от меня глаза. Глядя вослед удалявшейся фигуре Аритомо, я поняла: как бы ни было трудно для меня, придется отставить свои предубеждения, если я хочу чему-то у него научиться.

Я припустила рысцой и, поравнявшись с ним, сказала:

— На тех камнях, что вы нашли… на них, на всех, какие-то необычные отметины.

Довольно долго он не отвечал. Наконец выговорил:

— Создание садов — это «искусство располагать камни», отсюда можно понять, насколько они важны.

У меня от сердца отлегло, но я не позволила ему этого заметить. Мы вернулись к камням, Аритомо пристально их осматривал, оглаживая руками. Камни побольше были высотой в пять-шесть

---

[114] Примечания: 114

Кэмпэйтай — военная полиция имперской армии Японии (1881–1945). Ее сотрудники (кэмпэй), носившие особую форму и нарукавные повязки, охраняли заключенных, вели разведку и контрразведку на оккупированных территориях.

футов[115], узкие, с резкими гранями, с полосками и прожилками на поверхности. На них наползла сорная трава, словно бы стараясь утянуть их обратно в прохладную сырую землю.

— Каждый камень наделен своей собственной индивидуальностью, и каждому нужно свое, — Аритомо отобрал пять из них, касаясь одного за другим. — Перевозите эти к входу.

У меня дыхание перехватило. Приказы садовника вернули меня обратно к тому времени, когда я была рабыней для японской армии. Решимость моя стала таять. Но я чувствовала на себе испытующий взгляд Аритомо. Я огляделась и припомнила, как там, в лагере, — и заставила себя сделать первые шаги к спасению жизни. Мой путь, тот путь, еще не завершен, осознала я.

— И снимите свои перчатки, — прибавил Аритомо.

— Их можно стирать. Я достану еще несколько пар.

— Что ж за садовник из вас получится, если вы не будете чувствовать почву собственными голыми руками?

Мы стояли и смотрели друг на друга в упор,

---

[115] Примечания: 115
Более 152–182 сантиметров.

как мне казалось, бесконечно долго. Он не отвел глаз даже после того, как я стянула перчатки и рассовала их по карманам. Взгляд его упал на мою левую руку. Ни один мускул на его лице не дрогнул, зато рабочие залопотали промеж себя.

— Вы все, чего ждете? Пока трава вырастет? — Аритомо хлопнул в ладоши. — А ну, за работу!

Двое рабочих, приподняв, держали первый камень над землей, пока Аритомо просовывал под ним оплетку из прочной веревки. Оплетку подцепили к лебедке, свисавшей с восьмифутовой[116] деревянной треноги. Опоры треноги были обвязаны по верхушкам кольцами веревки, и каждую из трех можно было перемещать, применяясь к контуру местности. Каннадасан крутанул рукоять лебедки, и валун тяжело оторвался от земли: гора, сбрасывающая оковы гравитации. Когда валун поднялся фута на три[117], Аритомо остановил рабочего и вручил мне щетку с жесткой бамбуковой щетиной. Я дотянулась до проемов в оплетке и счистила с валуна комья земли, корни и всяких личинок. Когда я закончила, мы обвязали камень веревками, привязав их к центру

---

[116] Примечания: 116
Около 2,5 метра.

[117] Примечания: 117
Чуть меньше метра.

тяжелого шеста. Я вскинула передний конец шеста на плечо, но от тяжести осела на одно колено. Рабочие бросились было мне на помощь, но я только отмахнулась от них. Услышала, как Каннадасан пробормотал сзади:

— Мисси, он слишком тяжел для вас, *лах*.

Аритомо, стоя в стороне, следил за мной. Меня ожгло ненавистью к нему. «Сейчас все по-другому, — говорила я себе, чуя, как пот катится по спине. — Я больше не узница джапов, я свободна, свободна. И я жива».

Тошнота отступила, но оставила кислый осадок в глотке. Я облизнула губы и глотнула — разок, другой.

— Подожди, Каннадасан, *тунгу секейап*[118], — подправила веревки и подала ему знак: — *Сату, дуа, тига*[119]!

На счет «три» мы снова подняли шест на плечи. Мужчины гикали, подбадривали криком, пока я, словно раненое животное, шаталась на ногах, отбиваясь от врезавшейся в плечо боли.

---

[118] Примечания: 118
Тунгу секейап — обожди немного (*малайск.*).

[119] Примечания: 119
Сату, дуа, тига! — Раз, два, три! (*малайск.*).

— *Джалан!*[120] — крикнула я, указывая дорогу.

Утро было потрачено на чистку валунов и перенос их на участок перед верандой у входной двери. Когда был опущен последний камень, Каннадасан с рабочими уселись на корточки на травке, пустив по кругу пачку сигарет и утираясь полотенцами. Я последовала за Аритомо в дом, в гостиную. Оклеенные бумагой двери были закрыты, и я обнаружила, что за ними находится целый ряд раздвижных застекленных дверей. Аритомо кивнул мне на место, где можно было присесть. Я показала свою перепачканную в грязи одежду:

— Я перемазалась вся.

— Садитесь.

Дождавшись, когда я исполнила приказ, он раздвинул сначала застекленные двери, а потом — и бумажные ширмы, открывая вид на сад. Над деревьями по небу зубчатой линией тянулись горы.

Аритомо опустился на колени рядом и руками показал Каннадасану и другим рабочим, где, по его замыслу, должен быть помещен первый валун. Наконец они установили камень так, как он считал нужным. То же самое садовник проделал с четырьмя оставшимися камнями, утверждая

---

[120] Примечания: 120
Джалан! — Пошли! (*малайск.*)

каждый на коротком расстоянии от предыдущего, настраивая гармонию музыки, слышимой только им самим.

— Они похожи на строй придворных, кланяющихся и отшатывающихся от императора, — заметила я.

Он одобрительно хмыкнул:

— Мы строим композицию картины вот в этой рамке, — и, очерчивая пальцами прямоугольник в воздухе, провел линии по крыше, опорам и полу. — Когда смотришь на сад, смотришь на произведение искусства.

— Но композиция не выверена, — вытянула я руку. — Зазор между первым и вторым камнями слишком широк, а последний камень слишком близок к третьему. — Я еще раз осмотрела ландшафт. — Они смотрятся так, будто вот-вот повалятся в пустоту.

— И тем не менее именно в этом расположении чувствуется динамика! Взгляните на наши картины — большие пустуты, композиция асимметрична… в них — ощущение неуверенности, зыбкости, готовности к изменениям. Именно это мне здесь и нужно.

— Как мне узнать, куда помещать камни?

— Каков первый совет, который дает *«Саку-*

тей-ки»?

Я подумала секунду.

— «Следуй требованию камня».

— Эти слова открывают книгу, — согласно кивнул он. — Место, где вы находитесь, это отправная точка. Именно отсюда гость обозревает сад. У всего посаженного и созданного в Югири есть своя дистанция, свой масштаб и свое пространство, исчисленные в отношении к тому, что видится отсюда. Это место, где первый камешек разбивает гладкость воды. Поместите первый камень как следует, и остальные подчинятся его требованиям. Этот эффект распространяется на весь сад. Если исполнить пожелания камней, они будут счастливы.

— Вы так говорите, будто у них есть души.

— Разумеется, есть, — слегка пожал он плечами.

Мы сошли с веранды и присоединились к рабочим.

— Всего лишь треть каждого камня должна быть видна над землей, — сказал Аритомо, подавая мне лопату. — Так что копайте глубже.

И он оставил нас наедине с работой.

Ручка лопаты быстро натерла волдыри на моих голых ладонях. Земля не была твердой, но уже че-

рез несколько минут я обливалась потом. Не один и не два года прошло с тех пор, когда я последний раз выполняла тяжелую физическую работу, эту или другую, так что приходилось частенько брать передышку. Аритомо вернулся два часа спустя, когда я уже закопала все пять камней до нужного ему уровня. Встав на колени, он принялся плотно уминать почву вокруг основания камней, велев мне делать то же самое.

Я погрузила пальцы в рыхлую почву — земля дарила коже ощущение прохлады и влаги, успокаивая боль в левой руке. Такое простое, элементарное действие: голыми руками притронуться к земле, по которой ходим, — а вот поди ж ты, я и не помнила, когда делала это в последний раз…

К вечеру тело у меня одеревенело и болело. Прежде чем отправиться домой, я прошла мимо участка, где мы раньше днем посадили камни. По одну сторону его стояли мешки с гравием: его приготовили для того, чтобы в завершение работ разровнять по площадке. Я коснулась округлой верхушки одного из камней, толкнула его. Он стоял прочно, недвижимо, словно бы пророс от каменного ствола, вознесшегося из несусветной глубины под ногами, а не был уложен нами всего

лишь утром.

Аритомо вышел из дома, за ним мягко вышагивал большой шоколадный бирманский кот. Садовник заметил, что я смотрю на кота.

— Это Кернильс, — возвестил он. — Мне его Магнус подарил.

Несколько мгновений мы следили, как тянутся по земле тени от камней.

— Где планы и чертежи этого сада? — спросила я. — Хотелось бы взглянуть на них.

Аритомо повернулся ко мне и слегка коснулся рукою головы.

И в тот момент меня поразило, до чего же он похож на эти валуны, которые мы переносили и закапывали все утро.

Миру видна всего лишь малая его часть — все остальное запрятано глубоко внутри и скрыто от глаз.

Глава 8

В бунгало, снятое мною у Магнуса, можно было вселиться уже к концу моей первой недели ученичества у Аритомо. Фредерик, каждый вечер заходивший в Дом Маджубы, в пятницу за ужином предложил мне помочь перевезти вещи.

— Завтра утром устроит? — спросил он. — Скажем, часов в девять?

— Лучше соглашайся, — проворчал с другой стороны стола Магнус. — Молодой человек вскоре покидает нас.

— В девять вполне годится, — сказала я.

От работы неделю напролет в Югири у меня ломило все тело, а потому мысль, что кто-то будет помогать с переездом, была приятна.

В ту ночь, прежде чем лечь спать, я несколько минут простояла у балюстрады террасы между тенями от двух мраморных статуй. Надвигавшийся дождь привносил в воздух запах свежести с легким металлическим привкусом, словно бы его прожгла затаившаяся в туче молния. Запах напомнил мне о времени в лагере, когда мой разум цеплялся за малейший, самый несущественный

пустяк, чтобы отвлечься: бабочка, вспорхнувшая с куста, паутина, растянутая по веточкам нитями шелка и просеивающая воздух для насекомых…

Начальные такты мелодии *«Und ob die wolke»*[121] тягуче полились из открытых окон гостиной. Магнус опять поставил пластинку с Сесилией Весселс[122]. Внизу, в долине, бусинки света засияли на деревьях вокруг Югири. Я смотрела туда, пытаясь угадать, чем занимался в своем доме Аритомо.

Ария закончилась. Я выжидала, зная, что последует. Еще немного — и, словно примериваясь, зазвучал рояль, постепенно придавая звукам форму ноктюрна Шопена. У Магнуса вошло в привычку каждый вечер играть на «Бехштейне», прежде чем погасить свет. Один ноктюрн сменился другим, а вскоре до меня донеслись печальные вздохи начала «Романса» (*Larghetto*) из первого концерта для фортепиано с оркестром Шопе-

---

[121] Примечания: 121

«Und ob die wolke» — «Толпами ходят в небе тучи», каватина Агаты из оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок».

[122] Примечания: 122

Сесилия Весселс — южноафриканская оперная певица (1895–1970), первая, получившая признание в Европе и широчайшую известность в Южной и Юго-Западной Африке. Ее исполнение партии Агаты до сих пор считается одним из лучших.

на[123]. Магнус сам переложил его для соло на рояле. И всегда играл вечером напоследок. «Романс» — любимое произведение Эмили, сказал он мне как-то. И в данный момент она лежала в постели, засыпая под музыку, которую он исполнял для нее.

Я закрыла глаза и отдалась музыке, плывшей во тьму гор. Последние несколько нот, отзвучав, еще парили в воздухе, чтобы мгновение спустя растаять в тишине. Я знала: мне будет недоставать этого ежевечернего ритуала Магнуса, когда я перееду в свое бунгало.

Совсем уже собравшись вернуться в дом, я вновь обратила взгляд к Югири. Отыскивала свет среди деревьев, но не находила: его погасили, покуда я смотрела в другую сторону.

Коттедж «Магерсфонтейн»[124] стоял на четырех приземистых бетонных опорах на склоне

---

[123] Примечания: 123

Вторая часть концерта для фортепиано с оркестром № 1 ми минор, опус 11 Фредерика Шопена, «Романс». Сам композитор, разъясняя указание темпа, писал: «Larghetto — это не мощно, а скорее романтично. Это какая-то греза в лунную ночь».

[124] Примечания: 124

Магерсфонтейн — местечко в Южной Африке, где в 1899 г. произошло сражение Второй англо-бурской войны между войсками Капской колонии и Оранжевого Свободного государства с одной стороны и британским экспедиционным корпусом — с другой. Сражение закончилось тактической победой буров, нанесших противнику большие потери.

холма в четверти мили[125] от Дома Маджубы и выстроен был в обычном англо-индийском стиле. Пятна ржавчины покрывали перфорированную жестяную крышу, штукатурка на дымоходе обвалилась, обнажив кладку красного кирпича. Широкая веранда выходила на укрытые чайными кустами склоны. С одной стороны бунгало к окну клонилось дождевое дерево, подслушивая разговоры, которые многие годы велись в этих стенах.

— Слуги, как могли, прибрались тут, — сказал Фредерик, вытаскивая мой чемодан из своего «Остина». — Водопровод с электричеством у вас есть, но нет телефона. И не ждите, что жилье окажется пяти-… — он засмеялся, — …или хотя бы четырехзвездочным отелем на Пенанге.

Дом пропах сыростью и плетеными креслами из ротанговой пальмы, а расшатанные столы к ним не подходили. На обвислых книжных полках валялось несколько заплесневелых номеров «Панча» и «Еженедельника малайских плантаторов». Камин с деревянной решеткой у очага занимал одну сторону небольшой гостиной. Ребячливая радость охватила меня: представилось,

---

[125] Примечания: 125
Чуть больше 400 метров.

как в холодные вечера я развожу огонь (бывали дни, когда я напрочь забывала, что живу в тропиках, что линия экватора не дотягивает на карте до Малайского полуострова всего-то на ноготь мизинца).

— Для меня он вполне хорош, — сказал я.

— Вам надо чем-то смазать это, — Фредерик указал на ссадину у меня на локте. — Попросите у Эмили немного генцианвиалета[126].

— Это всего лишь царапина, — я опустила рукав, прикрывая ранку.

— Я еду в Танах-Рату, — сказал он. — Поехали со мной.

— Мне надо вещи разобрать.

— Так запас продуктов-то вам нужен, верно?

Он был прав. Отныне мне придется готовить для себя самой.

— Поехали, — повторил он, почувствовав, что я теряю решимость. — Я угощу вас в *копитьям*[127] у А Хуата завтраком: люди приезжают туда издалека со всей округи отведать его *роти бакар*[128].

---

[126] Примечания: 126
Генцианвиалет — антисептическое средство наподобие марганцовки.

[127] Примечания: 127
Копитьям — кофейная лавка, кофейня (*малайск.*).

[128] Примечания: 128
Роти бакар — особо приготовленный поджаренный хлеб.

Расположенное на плато, от которого ему досталось имя, селение Танах-Рата было окружено низкими холмами. То тут, то там среди поросших лесами вершин виднелись бунгало: эти домики принадлежали европейским каучуковым компаниям, в них устроили дома отдыха для старшего (чаще всего — европейского) персонала.

— Когда я в первый раз приехал сюда, — сказал Фредерик, сбавляя ход «Остина» при въезде в деревню, — то решил, что принят какой-то закон, требующий, чтобы у всех домов здесь были эти жуткие ложнотюдоровские фасады. Магнус, по крайней мере, проявил хоть какую-то оригинальность, когда строил свой дом.

Мы встали на свободное место возле *пасар-паги*[129]. Утренний рынок на открытом воздухе уже заполнили толпы людей, все вокруг пропахло тяжкими запахами свежей крови и потрохов кур, убитых по желанию покупателей. На толстых крюках висели мясные туши; рыба, креветки и молочно-белые кальмары кучами лежали на подстилках из тающего колотого льда, вода стекала на землю, заставляя всех обходить лужи стороной. Старухи-малайки сидели на корточках возле

[129] Примечания: 129
Пасар-паги — утренний рынок (*малайск.*).

глиняных горшков с карри. Мы протискивались между китайскими и индийскими домохозяйками, которые могли запросто остановиться посреди дороги посплетничать, не обращая внимания на то, что они перекрыли проход всем, идущим за ними.

В лавках вдоль главной улицы было потише, там толпились по большей части европейцы (одно из самых вежливых слов, которыми мы когда-то обозначали всех без разбора людей с белой кожей — не важно, откуда они на самом деле прибыли). Мы вручали владельцам лавок список нужных нам товаров, предъявляли им разрешение от окружных властей и требовали, чтобы все закупленное было доставлено в Маджубу.

— А вот и заведение А Хуата, — Фредерик указал на лавку в конце ряда точно таких же. — Пойдемте. Надеюсь, свободный столик найдется.

Копитьям, куда мы зашли, ничем не отличалась от себе подобных в любом городке или селении: местечко, где старики в майках и просторных шортах коротали утренние часы в разговорах, попивая кофе из блюдечек. Каллиграфически выписанные красными иероглифами приветствия полосками свисали с большого зеркала без рамы на одной стене. Мраморные

столешницы, желтые от нескольких слоев старых пятен от пролитого кофе. По радио какая-то певица пела китайскую песню. За стойкой и как раз под зеркалом сидел толстый китаец средних лет, его на диво изящные пальцы щелкали костяшками счетов, одновременно он криками извещал кухню о заказах. Иногда он запускал в ухо длиннющий ноготь мизинца, а потом внимательно разглядывал извлеченное оттуда.

— А-а, мистер Фледлик! *Cho san!* — закричал он, увидев нас. — *Уах*[130], ваш подруцка?

— Доброе утро, А Хуат. *Cho san.* — Фредерик бросил на меня полуизвиняющийся, полусмущенный взгляд. — И… нет, она не моя подружка.

Наш заказ: яйца всмятку, кофе и *роти бакар* — был принесен спустя всего несколько минут. Прямоугольники хрустящего поджаренного белого хлеба, покрытые маслом и кокосовым джемом, оказались такими вкусными, как обещал Фредерик.

По примеру стариков Фредерик налил себе кофе в блюдечко и подул на него.

— Меня мама обычно ругала, если я так делала, — заметила я. — Низкое воспитание, так она

---

[130] Примечания: 130
Уах — вот это да (*малайск.*).

это называла.

— Зато так куда вкуснее получается. — Он поднял блюдечко и, смачно причмокивая, втянул в себя кофе. — Попробуйте.

Я покрутила чашкой, взбалтывая со дна осевшую сгущенку. Быстро глянув вокруг, налила кофе в блюдечко и поднесла его ко рту. Но тут же снова его опустила: это слишком напоминало мне о том, как я принимала пищу, будучи узницей.

— Вы тоже на Мысе выросли? — спросила я Фредерика. — Выговор у вас совсем не такой, как у Магнуса.

— Моя мать засияла бы от радости, услышав это, — хмыкнул он. — На буров она смотрела сверху вниз. О, как презрительно она на них смотрела!

— Почему?

— Она была англичанка, родилась в Родезии. Одному богу известно, почему она вышла замуж за моего отца: он не был богачом, да и жить с ним — радости было мало. Даже совсем мальчишкой я понимал, что родители несчастливы вместе. После того как он умер, мы переехали в Булавайо, в Родезию.

— Сколько вам тогда было?

— Лет восемь или девять. Отец всегда прини-

мал сторону англичан, чем вызывал великое презрение у Магнуса. Потому-то они и не ладили, думаю.

Он объяснил, в какое восхищение приводил его дядя в Малайе, дядя, который владел целой чайной плантацией в горах:

— Когда мне было пятнадцать, я отправился из Кейптауна на круизном судне, чтобы провести у дяди Рождество. Это настолько отличалось от того, что я читал, от всех этих писаний Моэма, к которым моя мать не позволяла мне и притронуться!..

— Мои родители тоже не разрешали читать Моэма, — сказала я с улыбкой. — Но сестра брала его книги у подруги и передавала их мне.

— Магнус рассказал мне, что случилось с вашей сестрой. Сочувствую.

Я отвернулась от него.

Копитьям все больше заполнялась народом. Фредерик разбил яйцо всмятку о блюдце и выскреб чайной ложкой все, что было внутри скорлупы. Несколько раз сыпанул в водянистое содержимое белого перца и щедро сдобрил соевым соусом.

— Ну, вы и впрямь набрались наших привычек, — сказала я. — Сколько времени вы

оставались здесь в тот ваш первый приезд?

— Всего месяц, — ответил Фредерик, вытирая губы носовым платком. — Я знал, что захочу снова когда-нибудь вернуться сюда. Не было другого места на свете, где мне хотелось бы жить.

От счастливых воспоминаний глаза его засияли, но несколько секунд спустя блеск угас, наверное, от осознания утраченного детства. В тот краткий миг я увидела мальчика, каким он когда-то был, а в воображении моем промелькнул старик, каким ему еще предстояло стать.

— Вы вернулись в конце концов, — произнесла я.

— Четыре года назад умерла моя мать. Я написал Магнусу. Он попросил меня перебраться сюда, чтобы помогать ему управлять плантацией, — рассказывал Фредерик. — Принять предложение я не мог: хотелось завершить учебу. Вы будете это есть?

Он кивнул на последний кусок тоста у меня на тарелке. Я подвинула ее к нему.

— Родезийские африканские стрелки после войны были распущены, но в прошлом году полк собрали снова. Когда я услышал, что прежнюю мою часть отправляют в Малайю сражаться с красными, я вновь пошел на службу. — Он умолк,

оглядывая кофейню. — Думал, кампания будет легкой — поохотимся на коммунистов. Только вышло все совсем не так.

— Вы где были во время войны?

— В Бирме. Насмотрелся там настоящих ужасов… — Фредерик нерешительно примолк. — Так… как это у вас получается, а? Как вы смотрите джапу в лицо… день за днем… после того, что они с вами сделали?

Обдумывание ответа заняло у меня несколько минут.

— Дел так много, что, по правде говоря, когда мы работаем, у меня нет времени думать о чем-то еще, — выговорила я наконец.

Фредерик смотрел на меня недоверчиво, и я решила быть с ним откровенной:

— Только время от времени что-то им сказанное: слово или фраза — впиваются в память и воскрешают то, что я считала уже похороненным навечно.

Мне припомнилось случившееся накануне вечером.

Аритомо подвел меня к штабелю из деревьев, которые спилил месяцем раньше. Стволы были очищены от веток. «Возьмите одного из рабочих,

распилите эти *марута*[131] на поленья поменьше и уберите их», — распорядился он. Вместо того чтобы выполнять его приказ, я развернулась и быстро поспешила прочь. Слышала, как он звал меня, но не остановилась. Я шла все быстрее, забираясь в глубь сада. Спотыкалась, падала, вставала и шла, шла вверх по склону, пока не оказалась на краю высокого обрыва — лишь горы да небо были передо мною.

Не знаю, сколько времени я простояла там.

Потом я почувствовала, как ко мне приближается Аритомо. «Марута», — заговорила я, глядя прямо перед собой. — Так офицеры в лагере звали нас: *бревна*. Мы для них были всего лишь бревна. Можно рубить, можно пилить, можно в пепел сжечь». Какое-то время садовник молчал. Потом тронул меня за руку: «У вас кровь течет». Взял меня за локоть и прижал свой носовой платок к моей ссадине…

— «*Чжоу нех ах мах чау хай!*» — громкое дружелюбное ругательство на кантонском китайском вернуло меня обратно в *копитьям*. Фредерик смотрел на меня во все глаза. Я моргнула несколь-

[131] Примечания: 131

Марута — бревна (*яп.*). Программа опытов над «человеческим материалом» в концлагерях имперской армии Японии носила кодовое название «Марута».

ко раз, допила кофе и повернулась на стуле. Через пару столиков от нас сидели несколько седовласых китайцев. Один из них, тощий и сухопарый, развернул какую-то китайскую газету. Кто-то выкрикнул: *«Дьям, дьям! Мо чу»*[132], — и разговор сменился молчанием ожидания. Выкрикнувший оглядел каждого из своих приятелей и принялся медленно с расстановкой вслух читать что-то из газеты.

— И вот это я вижу в каждой *копитьям*, в какую ни зайду, — сказал Фредерик. Всем было известно, что К-Ты наведываются в заведения вроде этого, чтобы разузнать новости и передать донесения своим курьерам.

— Я завтра уезжаю, — сообщил Фредерик. — Моих солдат попросили помочь перевезти скваттеров из их поселения в новую деревню.

Во время японской оккупации тысячи китайцев перебрались жить на окраины джунглей, изо всех сил стараясь не попасться на глаза Кэмпэйтаю, надеясь, что в зарослях их не обнаружат и не поубивают. Уже шесть лет, как кончилась война, но люди так и остаются во временных поселениях, добывая себе пропитание крестьянским

---

[132] Примечания: 132
Дьям, дьям! Мо чу — угомонитесь, непоседы (*кит.*).

трудом на земле. Коммунисты использовали скваттеров как источник продуктов и медикаментов, информации и денег по подписке: скваттеры составляли *Мин Юн*, «народное движение». Генерал-лейтенант сэр Гарольд Бриггс[133], начальник оперативного управления, осознавал, что во время Чрезвычайного положения они представляют собой серьезную опасность. По всей стране армия занималась переселением полумиллиона человек: всех, до каждого ребенка, до каждой бабульки, до каждой семьи со всем ее скарбом скотиной — в специально отстроенные «новые деревни».

— Вы какое поселение переселяете? — спросила я.

— Я бы на вашем месте не интересовался этим, — усмехнулся он, грозя мне пальцем. — И выпытывать у меня, где находится *Сан-Чуен*, вам тоже нельзя.

— Просто проверяю, как вы умеете тайны хра-

[133] Примечания: 133

Генерал Гарольд Роудон Бриггс (1894–1952) — в 1950 г. был возвращен из отставки на военную службу в качестве начальника оперативного управления Имперского генерального штаба в Малайе. Составил план борьбы с коммунистическим партизанским движением, в основе которого лежало осуществление двух задач: организовать защиту мирного населения и изолировать его от партизан. Претворение плана Бриггса в жизнь считается одним из серьезных факторов победы властей над восставшей Малайской коммунистической партией.

нить.

Помолчав немного, я добавила:

— Мне пришлось съездить в одну из таких «новых деревень», когда я была обвинителем.

— Это вы вели… дело Чан Лю Фунг? — Он глянул на меня с возросшим интересом. — Об этом в новостях все время трубили.

— Это было последнее дело, в котором я представляла обвинение.

Чан Лю Фунг, тридцатилетняя сборщица каучука, была поймана на снабжении террористов продовольствием и изобличена как их курьер. Я побывала в ее доме в Салак-Саут, милях в десяти[134] от Куала-Лумпура, чтобы составить себе представление, как она умудрялась тайком передавать продукты и сведения. «Новая деревня», куда ее переселили, стала домом для шести сотен скваттеров и их семей. Двойная ограда в семь футов высотой, с колючей проволокой поверху, защищала открытую полоску ничейной земли шириною в десять футов[135]. Вооруженные охранники на сторожевых вышках несли вахту по периметру. Жителей деревни обыскивали,

---

[134] Примечания: 134
Около 16,5 километра.

[135] Примечания: 135
Соответственно — чуть более 2,13 метра и около 3,5 метра.

а лица сличали с фото на их удостоверениях личности — каждое утро, когда они проходили через ворота. Процедура повторялась, когда они вечером возвращались домой.

— Полиция привела меня в дом Чан Лю Фунг, — рассказывала я. — Он был пуст. Специальная служба забрала мужу в кутузку, а их четырехлетнюю дочь поместили в учреждение социального обеспечения.

Я помнила мрачные лица, взиравшие на меня из окошек соседних домов. Дабы лишить других жителей деревни возможности помогать коммунистам, был введен комендантский час. Большинство работали сборщиками каучука на плантации в пяти милях[136] от деревни. За оградой им разрешалось находиться только с восьми утра до часу дня. Это сильно поубавило шансы сельчан добыть средства пропитания: каучук надо было собирать на рассвете, до того, как сок деревьев высохнет.

— Ее же ведь в конце концов выслали в Китай? — сказал Фредерик.

Я кивнула.

— А муж и дочь? Им разрешили с ней уехать?

---

[136] Примечания: 136
Около восьми километров.

— Мое дело заключалось в том, чтобы террористы понесли наказание.

Фредерик оторвал от тоста кусочек, вытер им остатки яйца на блюдечке и кинул хлеб в рот.

Когда мы вышли из *копитьям,* хлынул дождь. Мы укрылись в узком проходе за рядом лавок, дожидаясь, пока прояснится небо. На возвышении, прямо у поворота уходившей вниз дороги, стояло низкое здание из красного кирпича.

— Что это? — спросила я.

— Когда-то была монастырская школа, пока джапы не превратили ее в госпиталь для своих солдат. Сейчас это госпиталь британской армии, — ответил Фредерик. — Мне рассказывали, что вскоре после капитуляции японцев наши солдаты нашли в этом доме нескольких молоденьких китаянок. Джапы пытались выдать их за больных туберкулезом.

— *Ёгун-янфу*[137], — произнесла я.

— Простите?

— Женщины — утешительницы военных.

— А-а. Мы встречали таких в Бирме, когда джапы сдались. Они направлялись по домам. Мы их подвозили.

— Семьи никогда не принимали обратно тех девушек.

Я вздрогнула: небо прорезала молния.

— Слишком уж велик был позор, каким они себя покрыли.

— То была не их вина.

— Никто на них ни за что бы не женился, зная, что всю войну им пришлось ублажать по три-четыре сотни мужчин на каждую.

Фредерик глянул на меня и высунул руку из-под навеса:

— Дождь слабеет. Давайте бегом — и побыстрее.

---

[137] Примечания: 137

Ёгун-янфу — с начала 1930-х и до конца Второй мировой войны японцы на захваченных территориях создавали так называемые «станции утешения» — бордели для солдат и офицеров имперской армии, куда насильственно помещали молодых девушек из 17 оккупированных стран. Их называли *ёгун-янфу* («женщины-утехи», *яп.*). Число жертв этой принудительной проституции разные источники определяют по-разному, от 50 до 300 тысяч. Японское правительство до сих пор не признало этого преступления, более того, находятся официальные лица, которые оправдывают все, списывая эти злодеяния на «неизбежные тяготы войны».

Вернувшись к коттеджу «Магерсфонтейн», он выключил двигатель и, обернувшись к заднему сиденью, вытащил что-то, завернутое в коричневую бумагу, из сумки с покупками:

— Это вам. Подарок.

Развернув, я рассмеялась: это был генциан-виолет.

— Так вот зачем вы бегали в китайскую лекарственную лавку.

— На тот случай, если у вас еще царапины появятся.

Пузырек был тяжелый и темный. Поглаживая наклейку большим пальцем, я взглянула на Фредерика:

— Я вам что-нибудь вкусненькое приготовлю, когда вернетесь в Маджубу.

— Все, что угодно, только, пожалуйста, не куриные лапки, — он передернул плечами. — Понять не могу, как китайцы могут есть такое!

— А что? Они вкусные и хрустящие!

Он засмеялся, но замолчал, увидев, что я даже не улыбаюсь.

Он смотрел на меня. В ответ я, не моргая, глядела на него.

Он наклонился и поцеловал меня. Рука его огладила мое плечо и скользнула вниз по спине.

Прошло несколько секунд, прежде чем я отстранилась.

— Пойдем в дом, — шепнула я ему на ухо. — Мне понадобится помощь с этим самым генцианвиалетом.

Сива, молодой тамилец, приданный мне в стражи, каждое утро поджидал меня возле моего бунгало, чтобы сопроводить в Югири. Вечерами я добиралась домой сама, каждый день меняя время и выбирая другой путь.

Копившаяся в душе раздраженность улеглась после того, как я переспала с Фредериком. Я всегда считалась более неказистой из двух маминых дочек, а потому после войны с удивлением открыла для себя: есть мужчины, которые находят меня привлекательной.

Раз уж я исцелилась от своих болячек, я заодно, чтобы убедить себя, что все еще физически привлекательна, переспала с несколькими мужчинами. То, что во время любовных игр я никогда не снимала перчаток, казалось, лишь еще больше заводило их. Оглядываясь на тот отрезок времени, я часто думаю: не было ли все это всего лишь попыткой подчинить своей воле другого человека — после того, как сама столь долго оставалась порабощенной пленницей.

Невзирая на свои страхи перед нападением К-Тов, я радовалась возвращению к самостоятельной жизни — в этих горах, где дыхание деревьев обращалось в туманы, где туманы сливались с облаками и вновь выпадали на землю дождем, где глубоко под землей корни впитывали дождь и он вновь, в виде паров, выбирался наружу через листья в сотне футов над землей. Дни здесь приходили из-за одного массива гор и уходили за другой, и я привыкла считать Югири местом, угнездившимся где-то в складке между рассветом и закатом солнца.

Однажды утром, пока рабочие, отложив инструменты, готовились попить чайку в перерыве, Аритомо привел меня в ту часть сада, где я прежде не бывала, и указал на лежавшую перед нами искусно подстриженную лужайку:

— Замечаете здесь что-то необычное?

Я присела на корточки, чтобы разглядеть получше:

— Да, что-то в ней есть странное…

Провела ладонью поверх травинок, почти надеясь, что смогу извлечь из них ответ: травинки пощекотали кожу, но ничего мне не сказали.

Я встала:

— Так что ж тут такого необычного?

Аритомо знаком предложил мне следовать за ним по тропинке, ведущей вверх по склону. Из-за деревьев донесся плеск бегущей воды. Над головой колыхались кленовые листья, их просвеченные солнцем шелковистые тени ложились на руки, на тропинку. Стараясь не отставать от садовника, я выбивалась из дыхания.

— Здесь самая высокая точка Югири, — сказал он, когда мы забрались на гребень.

Отсюда начинались предгорья, вздымавшиеся в горы, макушки которых скрывались в облаках. Под нами расстилался сад, приблизительно в центре которого помещался дом Аритомо. Угол красной черепичной крыши застрял между ветвями, словно воздушный змей, брошенный ветром.

Мы двинулись дальше и подошли к заводи, образованной чахлым водопадиком. Берега ее обросли высокими тростниковыми растениями.

— Аир, — произнес садовник, обрывая несколько листьев. — Моя жена любила их аромат.

Он растер листья и поднес их к моему носу: сладкий запах заполонил мне всю голову.

— Где она сейчас?

— Асука умерла много лет назад.

Мы сели на каменную лавку, и я на мгновение

подняла лицо к солнцу.

— То колесо — оно кажется таким древним на вид, — сказала я.

Водяное колесо, диаметром футов в пятнадцать[138], было закреплено на валу в дальнем конце заводи, под водопадиком. Оно медленно вращалось, вспенивая воду над запрудой, узким ручейком, поросшим папоротниками и обрамленным укутанными в мох камнями.

— Оно из буддистского храма в горах под Киото, который два века назад разграбили солдаты. Настоятель прогневал одного из сегунов Токугава[139] тем, что поддерживал шайку мятежников. Это подарок от императора Хирохито. Мне.

Резкий всхлип воздуха на вдохе громко отдался у меня в ушах. Я сидела не шелохнувшись.

Аритомо пристроил правую ногу на камень у кромки запруды и, казалось, был целиком поглощен завязыванием шнурка на ботинке. Где-то позади нас вскрикнула какая-то птица. Всякий раз имя императора возвращало меня в лагерь:

---

[138] Примечания: 138
Около 4,5 метра.

[139] Примечания: 139
Сегунат Токугава — феодальное военное правительство Японии, основанное в 1603 г. Токугавой Иэясу и возглавляемое сегунами из рода Токугава. Просуществовало более двух с половиной веков, вплоть до 1868 г.

там все происходило по японскому времени, и каждый день на рассвете нам приходилось бить поклоны в сторону местонахождения императора. В утренние часы тот восседал в своем дворце за завтраком, говорили нам офицеры. Юн Хонг как-то заметила, что нам еще повезло, что Токио всего на час опережает Малайю.

— Я часто сижу здесь, слушая, как крутится колесо. — Аритомо закрыл глаза. — Даже сейчас, медленно вращаясь в воде, оно словно бы поет скорбную сутру. Оно напоминает мне о старом монахе, единственном, оставшемся в брошенном монастыре, который творил молитвы до самого последнего дня, пока не умер.

— На обратной стороне лопастей какие-то надписи, — сказала я.

— Немногие их замечают. — Аритомо открыл глаза. — Молитвы, вырезанные монахами. С каждым оборотом колеса лопасти приникают к воде, впечатывая в ее поверхность святые слова, — сказал он. — Только подумайте: давным-давно эти молитвы разносились из монастыря в горах до самого синего моря, благословляя всех, мимо кого они проплывали.

Мысленно я видела, как петляющий ручеек стекает с гор, покидая Югири, чтобы превратить-

ся в реку. Видела, как под утренним солнцем возносятся молитвы над водой, пока река течет среди тропического леса, мимо тигра и мышиного оленя, пьющих из нее, мимо малайских *кампонгов*, длинных жилищ аборигенов *оранг-асли* и поселений китайских скваттеров. Видела, как крестьянин на рисовом поле у кромки реки разгибает спину и обращает взор вверх, к небесам, ощущая на лице прохладное дуновение, принесшее неизъяснимое удовольствие, которое не спешит улетать…

— Эти молитвы, — заговорила я, — вы верите в их силу?

— Мой сад остался невредимым во время Оккупации.

— Это скорее благодаря тому — кто вы, раз уж император вам подарил старинное колесо. И — никакого мародерства, никакого нецивилизованного поведения со стороны императорских войск. Ведь молитвы ничуть не помогли вам, когда вернулись наши солдаты, верно?

Одним резким движением он встал с лавки и подошел к уступу, с которого был виден сад. Согнув сжатые пальцы к ладони, поманил меня, знаком прося встать рядом с ним.

— Вон — та самая лужайка, которую я показал

вам раньше, — сказал он. — Вы так и не смогли сказать мне, что в ней необычного.

С того места, где я стояла, на полянке между деревьями четко виднелся даосский символ гармонии: две слезинки, образующие идеальный круг.

— Вы срезали траву на разных уровнях, — сказала я. Это было так просто: мне следовало бы сразу это заметить. — Обыграли свет и тень.

— Видимости, — обронил он.

Облака сдвинулись плотнее. Символы инь и ян, оттиснутые на лужайке тенью и светом, пропали, трава снова стала просто травой.

В свободное время по выходным я совершала путешествия по чайной плантации. Обширные участки Маджубы все еще покрывали джунгли. Деревья, которым было сотни, тысячи лет от роду, мешались с тропическими зарослями, покрывавшими Малайю. У плантации был собственный продовольственный магазин, забегаловка для любителей пунша из перебродившего пальмового сока — тодди, мечеть и индуистский храм. Рабочие жили в домах внутри огороженного пространства, охраняемого стражами, обученными Магнусом. По субботам специальный автобус отвозил рабочих на целый день в Танах-Рату.

Иногда я останавливалась посмотреть за игрой мужчин в *сепак такро*[140], где игроки используют все части тела, кроме рук, удерживая как можно дольше в воздухе плетенный из ротанговой пальмы мяч.

Чтобы окрепнуть телом и стать более выносливой, я регулярно совершала длительные прогулки. Однажды воскресным утром, вскоре после переезда в коттедж «Магерсфонтейн», я забралась на нижние склоны позади него. Тропа оказалась довольно утоптанной и вела, огибая холм, к Югири. Минут через сорок-пятьдесят я добралась до вершины крутого склона. Горы парили в воздухе, отделенные от земли прослойкой низкого тумана. Мне видно было все — до самого острова Пангкора, погруженного в сон среди Малаккского пролива. На востоке горы уходили вдаль, насколько хватало глаз, и было легко убедить себя, что тоненькая сияющая полоска, обозначающая горизонт, — это отблеск Южно-Китайского моря.

Участки Югири проглядывали сквозь листву

---

[140] Примечания: 140

Сепак такро — очень популярная в Юго-Восточной Азии игра в плетеный мяч, размером поменьше волейбольного, либо (официальные соревнования) на площадке для бадминтона в две команды по три человека, либо (в любую свободную минуту) попросту — встав в кружок.

деревьев, словно штрихи пейзажа под пеленою облаков. Я отыскивала какие-то приметные местечки в саду, всякий раз чувствуя опьянение настоящим открытием, когда распознавала их. От водяного колеса, без устали вращающегося на высоком утесе, я проследила путь потока, прокладывавшего себе путь к подножию горы под пологом деревьев. Взгляд скользнул к дому Аритомо. Какая-то фигура стояла у задней двери. Даже на таком расстоянии я догадалась, что это не Аритомо. Ветер усилился, студя мне лицо. Еще несколько минут спустя появился еще один человек, и на этот раз я узнала Аритомо.

Он остановился и поднял лицо к горам. Потом повернулся к другому мужчине, и оба пошли по дорожке, которая выводит из Югири к самым джунглям. В просветах между деревьями я еще временами видела Аритомо. Другого мужчину разглядеть было трудно: его одежда цвета хаки сливалась с окружающим. Лиственный полог вскоре скрыл дорожку, как накрывает океан гребнем волны проходящий корабль, и я потеряла обоих из виду.

Глава 9

Через три дня после встречи с Тацуджи я проснулась, не осознавая, кто я такая, и не помня, кем я была.

Это перепугало меня, и вместе с тем я испытала чувство облегчения. Врачи уверяли, что потеря памяти не является симптомом моего состояния, однако в последнее время такое случалось все чаще и чаще. Забвение отступало, но я оставалась лежать в постели. Дотянувшись до тумбочки, взяла с нее дневник и принялась читать, ничего не выбирая, наугад: «Вы так говорите, будто у них есть души». Потребовалось время, чтобы припомнить: это записала я. Проглядела еще несколько страничек, морщась при каждом слове, которое, как мне казалось, было не совсем к месту. Остановилась при упоминании Чан Лю Фунг, женщины, которую я обвиняла перед самым своим увольнением, стала прикидывать, что с нею стало и где теперь ее дочь.

Докапываться до случившегося так давно, оказывается, труднее, чем мне представлялось. Точность моей памяти вызывает сомнения. Тот

день, на *браай* у Магнуса, после того, как Фредерик привез меня обратно из Югири, — он так отчетливо запечатлен у меня в сознании, что даже не знаю, был ли он на самом деле, говорили ли люди на самом деле так, как мне запомнилось. Только какое это имеет значение? А еще — Фредерик был прав: у меня ощущение, будто я пишу одно из заключений по делу, испытывая знакомые чувства: слова заманивают меня в силки своих строк, опутывают, пока я полностью не теряю представления о времени и реальности за пределами страницы. Это ощущение всегда доставляло мне радость. Нынче оно наделяет меня еще большим: позволяет хоть как-то управляться с тем, что происходит со мной. Только вот надолго ли его хватит — этого я представить не могу.

Возлежащий Будда купается в лучах солнца на подоконнике.

Тацуджи с интересом оглядывает кабинет, ожидая, пока я достану гравюры. Они хранятся в непроницаемом для воздуха ящике из камфарового дерева. Выкладываю их на стол. Тацуджи любуется оловянной чайницей, которую увидел на одной из полок, любовно оглаживая пальцами вытесненные на ее поверхности бамбуковые листья. Осторожно ставит банку на место и спешит

ко мне.

Я поднимаю уголки первого листа: пыль и запах камфары, впитанный бумагой за долгие годы, взвиваются вверх и дразнят мое обоняние. Тацуджи отворачивается и несколько раз подряд сильно чихает в платок. Совладав с собой, он достает из старенького, но хорошо сохранившегося кожаного портфеля пару белых нитяных перчаток и натягивает их. Лист за листом он перекладывает гравюры из одной стопки в другую, по ходу пересчитывая их. Бумага, на которой отпечатана каждая *укиё-э*, размером приблизительно с поднос. Каждый оттиск содержит внутри прямоугольную или округлую рамку, и у каждой *укиё-э* — свой, отличный от других рисунок.

— Тридцать шесть листов, — подытоживает Тацуджи.

Достав большую лупу, он скользит ею над поверхностью первой гравюры, искажая формы и цвета под стеклом, делая их похожими на огни силуэта ночного города, видимые через залитое дождем оконное стекло.

— Замечательно, — бормочет Тацуджи. — Так же хороши, как и «Благоухание туманов и чая».

Он имеет в виду хорошо известную *укиё-э* Аритомо: простор чайных полей плантации Маджуба.

Именно эту ксилографию Аритомо передал в дар Токийскому национальному музею еще до того, как я с ним встретилась, и за прошедшие десятилетия ее статус ниспровергательницы канонов только укрепился, уступив лишь «Большой волне в Канагаве» Хокусая[141]. Упоминанием «Благоухания туманов и чая» Тацуджи недвусмысленно намекает мне, что я позволила воспроизвести гравюру в нескольких книгах. Я сама видела ее оттиск на тишотках, продававшихся в сувенирных лавках Танах-Раты.

— Все они были сделаны еще до того, как я познакомилась с ним, — говорю.

— Создание оттиска *укиё-э*, — говорит Тацуджи, — процесс длительный и сложный. Художник рисует контур на листке бумаги, прежде чем перенести его на клише из дерева. После чего на нем вырезается обратное изображение рисунка. Гравюра, подобная этой, с таким разнообразием цветов и глубиной деталей, требует семи, а может быть, и десяти различных клише. — У него на лице проявилось смущение. — Я не вижу здесь

[141] Примечания: 141

Кацусика Хокусай (1760–1849) — великий японский художник укиё-э, иллюстратор, гравер периода Эдо. Один из самых известных в мире японских граверов; «Большая волна в Канагаве» — едва ли не самое знаменитое его произведение.

никаких дубликатов. Зачем понадобилось пройти через все эти тяготы, а потом изготовить всего одну копию каждого произведения? Вы уверены, что где-нибудь в доме не лежат другие оттиски?

— Здесь все, что он оставил. Он продавал свои гравюры покупателям в Японии, — говорю я. — Я всегда подозревала, что именно этим он и жил, ведь он никогда не брал заказы на создание садов, когда жил здесь.

— Я проследил за всеми оттисками, которые он продал. Ни один из виденных мною не является копией этих.

Голос Тацуджи едва уловимо дрожит, в глазах блеск. Его и без того высокое положение в ученом мире еще более возвысится после того, как будет опубликована его книга об Аритомо — с включением этих гравюр!

— Есть еще одна гравюра, висящая в Доме Маджубы, — напомнила я.

— Хотелось бы посмотреть и на нее тоже.

— Думаю, Фредерик не станет возражать. Я спрошу его.

Тацуджи кладет на стол свою лупу.

— Необычно и содержание этих *укиё-э.*

— Необычно? Чем же?

Он вытягивает из кипы один из листов, дер-

жа его в руках, как кусок ткани, предлагаемый торговцем:

— Вы никогда не замечали этого?

— На них изображены горы и природа. Обычные сюжеты для *укиё-э,* как я полагаю.

— Все они — виды Малайи, — говорит он, — все до единого. Здесь нет ничего, связанного с его собственной родиной, никаких традиционных мотивов, излюбленных нашими мастерами *укиё-э*: никаких зимних пейзажей, никаких изображений Фудзиямы или «быстротекущего мира».

Я снова пролистала гравюры. На каждой из них имелись узнаваемые приметы Малайи: буйные тропические джунгли, стоящие строем каучуковые деревья на плантациях, кокосовые пальмы, клонящиеся к морю, цветы, птицы и животные, встречающиеся только в тропических лесах: гигантский цветок раффлезия, плотоядное растение, мышиный олень, тапир…

— Никогда прежде не обращала на это внимания.

— Полагаю, когда видишь всё это вокруг, то как-то о нем и не думаешь.

Он взмахивает *укиё-э*:

— Хотелось бы исследовать их детально, прежде чем решать, какие мне понадобятся для включе-

ния в книгу.

— Их нельзя фотографировать или вывозить из Югири без моего разрешения, — предупреждаю я его.

— Это само собой разумеется.

Стараясь придать своему голосу легкость, произношу:

— Я слышала, вы коллекционируете человеческую кожу, покупаете и продаете татуировки.

Большим и указательным пальцами он поправляет узел галстука.

— Я осмотрителен в разговорах об этом аспекте своей работы.

— Так оно и должно быть.

— *Хоримоно* никогда не признавались японской публикой, однако есть богатые коллекционеры, желающие иметь в собственности образчики татуировок, созданных знаменитыми мастерами *хоримоно*, — говорит Тацуджи. — Случается, человек изъявляет желание продать свою кожу: я действовал как посредник в подобных сделках.

— И сколько же стоит человеческая кожа?

— Цены разнятся, — отвечает Тацуджи. — Это зависит от личности художника, редкости его работ, качества и размера конкретного произ-

ведения.

Ко мне возвращается память о музее в Токио, где я побывала десять лет назад. Известность музею принесла собранная в нем коллекция татуировок. Разного размера и возраста, они хранились заключенные в рамки под стеклом. Я ходила среди развешанных по стенам экспонатов, всматривалась в поблекшие краски на человеческой коже, испытывая отвращение и одновременно будучи не в силах глаз оторвать.

— Что заставляет вас проявлять интерес к татуировкам?

— Реальности *укиё-э* и *хоримоно* накладываются друг на друга, — продолжает Тацуджи. — Немалое число *хороти* создавали и гравюры на дереве.

— Да, да, вы это мне уже говорили. «Они черпали из одного источника». Ну, а теперь назовите мне *подлинную* причину.

Он делает глубокий вдох и затем шумно выдыхает:

— В первый же раз, когда я увидел *хоримоно*, которое Аритомо-сэнсэй нанес на спину моему другу… в то время я еще ничего не знал о татуировках, но уже тогда понял, что она великолепна, что это — произведение искусства. Я подумал:

как чудесно, что мастер *укиё-э* способен создавать такие рисунки на человеческом теле. Увидев то *хоримоно*, я на всю жизнь сделался одержим ими.

— Та татуировка… вашего друга… она не сохранилась… после его смерти?

Тацуджи покачал головой.

— Я много лет разыскивал другие хоримоно, созданные Аритомо-сэнсэем, но ни одной не нашел.

Он умолкает на мгновение. Потом продолжает:

— Татуировки, которые творят мастера-*хороти*, можно искать очень усердно, однако человеку со стороны, вроде меня, трудно попасть в их закрытый мир, — взгляд его падает на *укиё-э* на столе. — Чтобы завоевать их уважение, их доверие, мне пришлось самому татуироваться.

Это признание, сделанное мне, с которой он виделся всего дважды, было свидетельством необычайной, едва ли не интимной близости.

Я села на край стола, скрестив вытянутые ноги. Они, ноги-то, у меня все еще хороши на вид: крепкие, не запятнанные никакими печеночными бляшками, и никаких переплетений варикозных вен.

— У вас татуировка на все тело?

— *Хоримоно*? О нет. Нет, я попросил нанести татуировку вот сюда, — он проводит правой рукой по левой, от плеча и на ладонь, не доходя до локтя.

Как я ни вглядываюсь, различить под рукавом ничего не могу.

— Трудно было найти *хороти*, который согласился бы поработать на моей коже. Нужны были рекомендательные письма и поручительства. Но даже заручившись ими, я получал отказы. В конце концов один мастер согласился. Стоило мне сделать татуировку, как пошел слух и другие *хороти* стали рекомендовать мне своих клиентов, тех, кто желал продать свои *хиромоно*.

— Мне бы хотелось взглянуть на нее, — произношу я, понимая, что нарушаю все правила приличия.

Большой палец Тацуджи тычется в узел галстука. Он вынимает серебряную запонку у себя на левом запястье. Затем закатывает рукав — движения его настолько точны, что каждая складка получается одной и той же ширины, примерно в полтора дюйма[142]. Закатав рукав до локтя, он засучивает его до самого плеча, обнажая та-

---

[142] Примечания: 142
Около 3,8 сантиметра.

туировку, занимающую верхнюю часть руки. Я встаю со стола и склоняюсь, чтобы рассмотреть поближе. На фоне серых облаков два журавля летят один за другим, почти касаясь друг друга.

— Птиц художник схватил хорошо, — говорю.

— Но этому рисунку далеко до того, что изобразил Аритомо-сэнсэй на моем друге.

— Жене вашей понравилось, когда вы впервые явились с этим домой? — спрашиваю я.

— Я никогда не состоял в браке, — он оглаживает одного из журавлей. — Как и вы.

Последнее замечание я пропускаю мимо ушей, углубившись в разглядывание цветных изображений у него на руке.

— То, что вы рассказали мне об Аритомо… что он был художником по татуировкам… Если о таком узнают все, это погубит его репутацию.

— Его имя обретет бессмертие.

— Созданные им сады уже сделали его бессмертным, — поправляю я его.

Тацуджи расправляет рукав теми же выверенными движениями.

— Сады со временем меняются, судья Тео. Их первоначальные рисунки пропадают, стираемые ветром и дождем. Сады, разбитые Аритомо-сэнсэем, в своем первозданном виде больше

не существуют, — добавляет он, застегивая запонку. — А вот татуировка… татуировка может сохраняться вечно.

— «Даже самая бледная краска переживет память людей», — невесть откуда приходит ко мне старинная китайская пословица, и я пытаюсь сообразить, где слышала ее прежде.

— Только если она сохраняется должным образом, — замечает Тацуджи.

— Много лет назад я отправилась на поиски садов, сотворенных Аритомо. То был один-единственный раз, когда я совершила поездку в Японию.

— Вы нашли их? — выражение его лица говорит мне, что ответ ему уже известен.

— Отыскать их было трудно, — признаюсь я. — Старые семьи, для которых он создавал сады, умерли после войны, наследники рассеялись, дома их предков были проданы или поделены. На местах, где когда-то были сады, возводились жилые дома или прокладывалась дорога. Я нашла всего один из его садов, который существует до сих пор. Его превратили в сквер для тамошней округи.

— А-а, это в Киото, в старом пригороде Чусожима. Я был там.

— Когда я вошла в него, то сразу поняла, что сад не такой, каким он его изначально задумал. В нем не было его души.

— Югири — единственный сад, до сих пор сохраняющий его отпечаток, — говорит Тацуджи.

Я потянула из лежащей на столе кипы последнюю гравюру. Триптих: три вертикальные ромбовидные рамки, почти сходящиеся вместе, пирамиды с отрезанными вершинами. Предметы внутри рамок утратили форму. Чувствуя неожиданное головокружение, я, поддерживая себя, упираюсь ладонью в стол, прихожу в ужас оттого, что моя болезнь принимает другой оборот, лишая меня способности осознавать очертания и формы. Об этом врачи ничего не говорили. Несколько раз моргаю глазами — все равно предметы остаются искаженными.

Тацуджи забирает у меня *укиё-э* и высоко поднимает гравюру, откинув назад голову, чтобы рассмотреть ее. Свет, проходящий сквозь рисовую бумагу, раскрашивает его лицо, превращая ученого в персонаж пекинской оперы, которую я однажды посетила. Хочу спросить: кажутся ли ему гравюры нормальными, но боюсь того, что он мне ответит.

Вдруг сквозь мое смятение пробивается мысль.

— Дайте-ка мне ее, — говорю я Тацуджи.

Его озадачивает настойчивость, звучащая в моем голосе. Забираю у него оттиск, почти из рук вырываю, и расстилаю его на столе, расправляя ладонью. Делаю шаг назад, потом еще один. Тацуджи скользит назад и становится со мной рядом. Мы оба смотрим на *укиё-э*.

Искажения на гравюре пропали. Мы стоим на краю трех параллельных, поросших лотосами прудов, сужающихся в отдаленной перспективе. Деревья, небо и облака — все помещено в воду, в рисунок. Облегчение охватывает меня. Смех мой звучит громко в этом кабинете, неестественно — только мне все равно. Я снова заливаюсь смехом. Тацуджи смотрит на меня, он удивлен.

— Искусно, — говорит он, — он добился этого, играя с перспективой. Мне следовало бы сразу понять это.

— *Шаккей*, — говорю я.

— Он и этому вас учил?

— Это было во всем, чему он меня учил.

— Старые дворцовые садовники, с которыми я говорил, в один голос отмечали талант Аритомо-сэнсэя в «заимствованном пейзаже». В нем достиг он высшей степени мастерства, увы, так и не получив того признания, какого заслуживал.

— Наверное, еще и потому, что он делал это настолько хорошо, что люди этого даже не осознавали, — откликаюсь я. — Часто ли кто-то замечает облака над нами, горы за оградой?

Тацуджи какое-то время взвешивает мои слова. Он наводит порядок на столе и убирает перчатки с лупой в портфель.

— Я попросила приготовить вам комнату для работы на день-два, — говорю. — Вас время не поджимает?

— Как сказать… хотелось бы закончить книгу как можно быстрее.

Он защелкивает портфель и поднимает на меня взгляд:

— Это будет последняя книга, которую я напишу. После этого уйду на покой.

— Не могу представить вас проводящим дни на поле для гольфа.

— Я должен сдержать одно обещание, обещание, данное много лет назад.

Заинтригованная печалью в его голосе, я уже открываю рот, чтобы порасспросить его об этом подробнее, но он подхватывает портфель, отдает мне поклон и выходит из комнаты. В дверях поворачивается и снова кланяется.

Опершись о подоконник, я вглядываюсь в горы.

Шаккей. Аритомо никогда не мог противиться тяге следовать принципам «заимствованного пейзажа» во всем, что делал. Мне явилась даже мысль, что он, возможно, привнес их и в свою жизнь. И если так оно и было, то не наступило ли однажды время, когда ему уже было не по силам отличать, что в его жизни реальность, а что — лишь отражения? И не случится ли того же и со мною под конец?..

В тот вечер, прежде чем отправиться пешком в Маджубу, я решила вымести в саду опавшие листья из *каре-сансуй*[143] перед верандой. Пять камней, которые я когда-то помогла поместить в землю, уже обветшали, сгладились, линии на слое гравия истерлись. Я стояла на краю, пытаясь вспомнить, когда видела в последний раз его, тот рисунок, который Аритомо граблями придал гравию. У него были свои излюбленные темы: контурные линии какой-нибудь карты, годичные кольца дерева, рябь на озере. Подумав секунду-другую, я несколько раз провела граблями, вычерчивая линии под мягкое постукивание камешков о металл зубцов. К тому времени, как я закончила, бороздки между линиями заполни-

[143] Примечания: 143
Каре-сансуй — сад камней (*яп.*).

лись тенями, словно водой во время прилива.

Ветки и дикая трава сузили дорожку, которой я так часто пользовалась, когда обучалась у Аритомо, а в некоторых местах и вовсе перекрыли ее. Мне понадобилось время, чтобы в поте лица расчистить ее, отчего я пришла в раздражение. Только-только стали появляться самые ранние звезды, когда я добралась до чайной плантации. Я уже позабыла, что ночь в горах наступает быстро.

В последний год я слышала одну-две странные истории про Фредерика от людей, проводивших свои отпуска на Камеронском нагорье. Чайную плантацию Маджуба Фредерик сделал своим домом еще до смерти Магнуса и, если не считать редких поездок в Англию и Южную Африку, так и жил на Камеронском нагорье с тех пор, как приехал сюда в пятидесятых. Он занял бунгало в Маджубе, когда взял на себя управление плантацией. В свой семидесятый день рождения Эмили убедила его перебраться в Дом Маджубы. За эти годы я слышала о его связях с разными женщинами, но он так и не женился. Принимая во внимание его маниакальное увлечение «естественным садоводством», я не раз подумывала: не окажется ли жертвой его борьбы за восста-

новление всего, что сам он считал присущим нагорью, и капско-голландский дом, который его дядя выстроил и которым так гордился. Надеюсь, что нет.

Стареющие эвкалипты по сторонам подъездного пути не спилены, чешуйки их коры покрывают землю. Я наклоняюсь, чтобы подобрать одну: на ощупь она напоминает старый пергамент, высохший и потрескавшийся. Дойдя до конца аллеи, останавливаюсь взглянуть на Дом Маджубы. Свет изнутри лучится вокруг него золотым нимбом, отражаясь в пруде. Мне приятно видеть, что Фредерик содержит его таким же, каким он был при жизни Магнуса, пусть флаг Трансвааля больше и не развевается. На флагштоке мягко колыхался зеленый вымпел с эмблемой чайной плантации Маджуба в виде контура капско-голландского дома.

Стрелиции вдоль стен сменились красными китайскими розами. «Это так банально», — подумала я, подходя к входной двери. Горничная ведет меня по коридорам к гостиной. Дом содержится так же, как и прежде: может быть, из уважения к Эмили, думаю я. Бронзовая скульптура леопарда осталась на прежнем месте: хищник в вечной погоне за добычей.

Мебель в гостиной — все та же, из желтого дерева, которую Магнус привез с Мыса, хотя обивка новая — в сине-белую полоску. В одном углу — рояль «Бехштейн». Картины Фомы Бэнса и литографии Пьернифа не тронуты: мне чудится, что корни хинных деревьев выломались из рамок и вросли в стены. Помнится, я читала в каком-то журнале, что работы этих двух художников нынче стоят целое состояние.

Минуя медаль Магнуса за Бурскую войну, останавливаюсь перед гравюрой Аритомо, изображающей Дом Маджубы, той самой, разрешить использовать которую просил меня Фредерик. Я вспоминаю о других гравюрах, которые мы с Тацуджи рассматривали сегодня, и еще — о его татуировке.

Появилось больше книг, чем раньше, дополнительные полки занимают целую стену комнаты. Склонив голову набок, просматриваю некоторые названия: «По просторам вельда куда глаза глядят», «Пионеры Великого Трека»[144], «В ополь-

[144] Примечания: 144

Великий Трек — переселение (1835–1845) потомков голландских колонистов (буров) в центральные районы Южной Африки, приведшее к созданию двух республик, Южно-Африканской Республики (Трансвааля) и Оранжевого Свободного государства. К концу XIX в. белое население Трансвааля составляло примерно 125 тысяч человек, а гражданами Оранжевого Свободного государства являлись 30 тысяч буров.

чении буров», «Де ла Рей[145]: Лев Трансвааля». Есть тут и другие книги, романы и поэтические сборники на африкаанс писателей, о которых я ничего не знаю: К. Луи Лейпальд, К.Дж. Лангенховен, Юджин Марей, Н.П. ван Вейк Лоу.

— Магнус не слишком-то много рассказывал о Бурской войне или о своей жизни в Южной Африке, — говорит Фредерик.

Я и не слышала, как он вошел. Одет в серый блейзер, белую сорочку с голубым шелковым галстуком: мне всегда приятно видеть, что кто-то не жалеет усилий, чтобы одеться как подобает.

— Эти книги помогли мне понять тот мир, который он покинул.

— Это был и твой мир.

— Только его больше нет. Он сгинул.

На какой-то миг он кажется растерянным.

— Ты как-то рассказывала что-то такое про то, как умирают старые страны — чтобы их могли заменить новые. Помнишь?

И тут же часто-часто принимается махать ладонью в воздухе, словно вдруг понимает: он просит меня о том, на что я больше не способна.

---

[145] Примечания: 145

Якобус Геркулаас (Коос) де ла Рей (1847–1914) — бурский генерал времен Второй англо-бурской войны 1899–1902 гг., один из самых известных военачальников этой войны, национальный герой африканеров.

— Это было в день, когда мы встретились впервые, — говорю я, радуясь, что могу сразу же вспомнить это. — На *браай*… — повожу подбородком в сторону окон, выходящих на сад позади дома.

Тепло отсвета разделенных воспоминаний: Фредерик единственный из немногих оставшихся, с кем я и вправду такое тепло чувствую.

— И ведь я была права, да? Малайя стала Малайзией. Сингапур от нас отделился. А еще Индонезия, Индия, Бирма… — двигаясь дальше вдоль книжной полки, я снимаю с нее «Красные джунгли» и показываю ему. — До сих пор храню экземпляр с твоей дарственной надписью мне.

— По-прежнему вполне прилично расходится в продаже, эта, а еще моя книга о происхождении чая. В отличие от романов — их больше не печатают.

— Над чем-нибудь работаешь в данный момент? — на секунду я захотела рассказать ему, что и сама пишу.

— Нельзя управлять чайной плантацией да еще и находить время на писанину. Может, когда отойду от дел, снова возьмусь за писательство серьезно. Подновлю «Красные джунгли», — он протягивает мне стакан виски с содовой. —

Слышал, Чинь Пен[146] намеревается вернуться домой. Это правда?

Слухи про генерального секретаря Малайской коммунистической партии носятся вокруг уже несколько месяцев, но меня они не очень-то заботят.

— Он может пробовать все, что ему вздумается, только правительство никогда не позволит ему вернуться.

— Почему бы и не позволить? Он уже старик. Почти сорок лет пробыл в ссылке. По-моему, он только и хочет, что вернуться в деревню, где когда-то родился.

— Стоит выйти из своего мира — и тот не станет тебя дожидаться. Мир, который он знал, ушел навсегда, — я опускаюсь в кресло, холодок его ко-

---

[146] Примечания: 146

Чинь Пен, настоящее имя Онг Буньхуа (1924–2013) — политический деятель Малайзии. В 1940 г. пятнадцатилетним вступил в Коммунистическую партию Малайи (КПМ). Во время японской оккупации возглавлял Малайскую народную антияпонскую армию. В 1946 г. участвовал в параде Победы в Лондоне, награжден Бирманской звездой, Звездой 1939–1945 и орденом Британской империи. В 1948 г. избран генеральным секретарем КПМ, которая после объявления Чрезвычайного положения ушла в джунгли. Предположительно с 1961 г. руководил деятельностью партии, находясь на территории КНР. В 1989 г. подписал с представителями правительств Малайзии и Таиланда соглашение о прекращении партией вооруженной борьбы. Проживал в Таиланде. Его просьба разрешить ему вернуться в Малайзию в 2005 г. была отвергнута властями.

жи пробирает меня сквозь брюки. — Ты, похоже, чем-то раздражен. И я сомневаюсь, что причиной тому — несчастная доля старины Чинь Пена.

— Просто кое-какие нелады с рабочими.

— Ах да! Телевизоры.

— Вижу, опять прислуга насплетничала А Чону.

— Чем, по-твоему, должны заниматься твои рабочие, наработавшись за день, если ты отказываешь им в разрешении иметь в домах телевизоры?

— Сигналы электронного вещания пагубно действуют на обитающих в садах насекомых. В университетах проводились исследования, это доказано, — говорит он. — Могу тебе показать результаты.

— Ты считаешь, если запретить на плантации телевизоры, то сигналы пропадут и не доберутся до твоего садика? — Я издаю язвительный смешок. — Подумай о дожде, который выпадает на Маджубу. Поставишь ли ты ведерко снаружи, чтоб уловить часть воды, или нет, — я дребезжу кубиками льда в стакане, — дождь все равно выпадет, все равно зальет землю.

— Смейся сколько угодно, женщина, зато бабочки в больших количествах вернулись с тех пор,

как я избавил плантацию от телеприемников. А теперь еще и больше птиц селится в Маджубе. Да-да! — Фредерик взволнован. — Если хочешь знать, я бюльбюля, певчего дрозда, видел! Вчера только. И пару зеленых сорок сегодня утром. К нам сюда едут многие любители понаблюдать за птицами.

— Полагаю, Эмили выйдет к нам?

— Уже одевается, — говорит Фредерик. — Несколько лет назад она в гостевую комнату перебралась. Уверяла, что такая большая спальня ей больше ни к чему. — Он улыбается, морщинки сбегаются в кучу на его лице. — Может, ты помнишь ту комнату — ты в ней жила, когда сюда в первый раз приезжала.

Некоторое время мы сидим молча, нежим в ладонях стаканы. Когда мой становится пуст, Фредерик протягивает мне пачку бумаг.

— Что это?

— Твое позволение мне использовать рисунок Аритомо, — его взгляд становится пронзительнее. — Мы говорили об этом, помнишь?

— Конечно, помню. Я еще не одряхлела. Дашь мне ручку? — Я подписываю бумаги и толкаю их через стол, странички на ходу ерошатся, раскладываются по столешнице пешеходными

камнями через пруд.

— Ты хотя бы прочла их сначала, — ворчит он на меня, собирая листочки, выравнивая их об стол в аккуратную стопку. Кожа у него на руках покрыта возрастными пятнами. Суставы двух пальцев скрючены и распухли, наподобие наростов на ветвях деревца бонсай.

— Ты не станешь обманывать старую женщину.

— Не будь чересчур уверена, — его улыбка балансирует на краешке стакана. — Сколько времени ты пробудешь в Югири?

— Правду сказать, еще не решила… по меньшей мере, пока Тацуджи не закончит свою работу здесь.

Мы оба смотрим на дверь, когда входит Эмили. Фредерик отставляет свой стакан и спешит к ней, заботливо берет под руку. Я встаю. Волосы Эмили забраны назад так же, как я и помню, только они стали совершенно седыми. На ней *ципао*, длинное китайское платье-рубашка, плечи укутаны в жакет, фигура у нее тоненькая и согбенная. Лицо морщинится в складках, в глазах — пелена немощи.

— *Уах*… если б только Магнус был сегодня здесь, — произносит она с дрожащей на губах

улыбкой, голосом, высохшим от возраста.

— Здравствуйте, Эмили.

До меня доходит, что сейчас я намного старше, чем была она, когда мы познакомились. Время, похоже, слоится, словно тени листьев, давящие на другие листья, слой за слоем…

— Вид у тебя бодрый.

— Фу! Это слово всегда вызывает у меня представление о старухах на хилых ножках, выгуливающих своих заливистых комнатных собачек.

С кухни проникают запахи еды: запах кориандра для меня узнаваем даже после почти сорока лет, а вот название ускользает, приходится рыться в поисках его в памяти. Настораживаюсь: а вдруг угасание происходит быстрее, чем меня о том предупреждали, — но я отгоняю эту мысль куда подальше. Стон покрывает мое облегчение, когда вспоминаю название. *Boerewors. «Колбаски».* Убеждаю себя обязательно включить это название в то, что я пишу, когда попозже вернусь домой.

— Мне присылают их авиагрузом с Мыса каждые шесть месяцев, — говорит Фредерик. — Вместе с ящиком красного из Констанции[147].

---

[147] Примечания: 147

Констанция — в данном случае винодельческий район Южной Африки.

Вино для ссыльных. Так однажды выразился Аритомо.

* * *

К концу нашего ужина Эмили уже начинает терять нить в разговоре, путать настоящее с прошлым. Фредерик раз-другой ловит мой взгляд, я легким кивком выражаю ему сочувствие. Время от времени он мягко поправляет ее, но чаще всего — подыгрывает, давая ей наслаждаться воспоминаниями.

— Рюмочку на сон грядущий? — спрашивает он ее, когда мы выходим из-за стола, чтобы перейти в гостиную.

Эмили похлопывает ладошкой по рту:

— Я и так давно уже должна была быть в постели, — она смотрит на меня. — Тебе придется извинить старую женщину за ту чушь, что я несла в разговоре, *лах*.

— Я наслаждалась им, — уверяю я.

— Мы как-нибудь утречком попьем чайку? Только мы вдвоем.

Я обещаю, и Фредерик провожает ее обратно в ее комнату.

— Не самый лучший для нее вечер, — говорит он, возвращаясь в гостиную несколько минут

спустя. — Обычно она утром бодрее. Но, я знаю, она по-настоящему рада повидать тебя.

Он вручает мне бокал шерри и усаживается напротив.

— Ну как, этот твой историк уже просмотрел гравюры?

— Он собирается в Югири, чтобы составить их каталог.

— А что он такое говорил на днях про то, что Аритомо тратил время на татуировки? У Магнуса была татуировка. Здесь, — он прикладывает ладонь повыше сердца, словно бы готовится дать клятву. — Я и забыл уже, вспомнил, когда он заговорил об этом.

Где-то в доме протяжно забили часы. Жду, пока прекратится бой и дом снова погрузится в тишину. Мое кресло слегка поскрипывает, когда я подаюсь вперед:

— Он тебе ее показывал?

— Мы как-то бродили по горам… это когда я еще мальчишкой гостил у него. По пути остановились освежиться под водопадом. Вот тогда я ее и увидел.

Я не отзываюсь, и он кивает головой, словно бы в ответ на то, к чему уже мысленно подобрался:

— Ты тоже ее видела?

— Он никогда не любил говорить об этом. — Я изворачиваюсь в кресле, чтобы взглянуть на гравюру, висящую позади меня на стене. — Не позволишь мне взять ее на время, чтоб показать Тацуджи?

— Я перешлю ее с кем-нибудь из ребят в Югири.

Он смолкает в нерешительности. Немного погодя говорит:

— Я тут говорил кой с кем из приятелей в Сингапуре и Лондоне. И еще — в Кейптауне. Скоро у меня будут кое-какие фамилии для тебя.

Я смотрю на него, не понимая, о чем он толкует.

— Специалистов, — поясняет он. — Нейрохирургов.

— По-твоему, я не знаю, как это самой сделать? — В тишине голос мой звучит слишком громко. — Мне не нужны еще несколько специалистов, которые скажут то, что мне уже известно. Так что прекрати предпринимать что бы то ни было — то, что ты, как сам считаешь, делаешь ради меня. Просто перестань.

От его взгляда веет холодом камня:

— Тебе говорил кто-нибудь, какая ты непробиваемая стерва?

— Многие, уверена, так думают, но ты первый мужчина, у кого хватило смелости высказать мне это в лицо, — отвечаю. — Я прошла всех специалистов, каких нужно. Вынесла все их исследования и анализы, все их тычки и толчки. Больше не хочу, Фредерик. С меня хватит.

— Ты ж не можешь так просто пренебрегать… — рука его вздымается и замирает в воздухе.

— «Первичная прогрессирующая афазия». Вызвана демиелинизирующим заболеванием нервной системы, — чеканю я.

Никогда еще не говорила вслух название своей болезни — никому, кроме врачей, ставивших мне диагноз. Цепенею от суеверного страха — страха, что болезнь теперь поглотит всю меня, доведя до такого состояния, когда я и название-то ее внятно выговорить не сумею. Такой будет ее цель, ее победа, когда я окажусь не в силах больше проклинать ее имя…

— Я как-то прочла статью о Борхесе, — говорю. — Он был слеп и очень стар, проводил свои последние дни в Женеве. Так вот он сказал кому-то: «Не хочу умирать на языке, которого не в силах понять».

Я горько усмехаюсь:

— Вот это-то и произойдет со мной.

— Пусть еще сколько-то врачей тебя осмотрит. Пройди побольше исследований.

— В госпитале я последний раз лежала, когда война кончилась, — я изо всех сил стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно. — И никогда больше сама ни в какую другую больницу не лягу. Никогда.

— За тобой в К-Л кто-нибудь присматривает? Сиделка? Медсестра?

— Нет.

— Тебе нельзя жить одной, — говорит Фредерик.

— Знаешь, Магнус уже говорил мне это однажды. — Воспоминание вызывает улыбку, но и печаль. — Большую часть своей жизни я жила по-своему. Слишком поздно для меня менять что-то.

Я ненадолго закрываю глаза.

— Пока я здесь, думаю, я должна восстановить сад: пусть станет таким же, каким был при жизни Аритомо.

Мысль эта пришла ко мне еще до ужина, когда я рассматривала его гравюру.

— Самой тебе этого не сделать. Особенно теперь.

— Та женщина, что ухаживает за твоим садом… как ее зовут? Она может помочь мне.

— Вималя? — Фредерик произносит это имя как нечто среднее между фырканьем и усмешкой. — Восстанавливать сад, подобный Югири, — это будет против всех ее принципов.

— Поговори с ней, Фредерик.

— Сад — это то, о чем тебе стоило бы беспокоиться в последнюю очередь, если тебя интересует мое мнение.

— Мне обязательно надо сделать это сейчас. Скоро Югири станет единственным, что окажется способным говорить со мной.

— О, Юн Линь… — нежно роняет он.

Шепотом былых времен по дому разносится музыка. Мелодия знакомая, но никак не могу вспомнить, откуда она. Краем глаза смотрю на Фредерика, пытаясь выяснить, не одной ли мне она слышится.

— Она каждый раз слушает это, перед тем как заснуть, — говорит он, словно догадавшись, о чем я думаю. — Собрала внушительную коллекцию записей этой же самой музыки в исполнении разных пианистов — Гулда, Аргерича, Цимермана, Ашкенази, Поллини. Я, когда за границу выбираюсь, всякий раз ищу для нее какое-нибудь новое исполнение. Но она только шопеновский «Романс» и слушает. Все эти годы, неизменно.

Только «Романс».

Обвислая кожа у него на шее натягивается, когда он подставляет лицо свету ламп на потолке.

— Сегодня на ночь опять играет Иггдрасиль-Квартет, — говорит он немного погодя. — Камерное переложение оркестровых концертов Шопена. Несколько месяцев назад я нашел эту запись в Сингапуре. Она ее очень часто ставит.

— Иггдрасиль? Что это?

— Что-то из северной мифологии.

— Никогда о таком не слышала.

— Иггдрасиль — это Древо Жизни, — объясняет он. — Ветви его покрывают мир и дотягиваются до неба. Но у него всего три корня. Один погружен в воды Омута Познания. Другой в огонь. Последний же корень пожирает ужасное чудовище. Когда два корня пожрут огонь и чудовище, древо упадет и вечная тьма окутает мир.

— Значит, Древо Жизни обречено уже с того самого момента, как его сажают.

Переведя взгляд на меня, Фредерик произносит тихо:

— Но оно еще не упало.

Я усаживаюсь поглубже в кресло, закрываю глаза и слушаю *Larghetto*, «грёзу лунной ночи». Фортепиано сопровождает один только квар-

тет, и музыка обретает холодную чистоту гряды камней, лежащих в русле потока — потока, высохшего давным-давно.

Глава 10

«Искусство расположения камней» оказалось совсем не таким, каким мне представлялось. Я в пятнадцать лет гуляла с Юн Хонг по садам Киото, но у меня в мыслях даже намека не было на то, каких трудов стоило создать их и ухаживать за ними. И у Юн Хонг тоже, заподозрила я, этих мыслей не было, — и почувствовала себя предательницей, едва подумав такое.

Аритомо мне присесть не давал, и поначалу я подозревала, что это оттого, что ему хочется, чтоб у меня ничего не получилось, чтоб я в отчаянии сдалась и уехала из Югири. Впрочем, я ни разу не заметила в нем никакого признака сожаления о том, что он взялся обучать меня. Работа изматывала, но она стала мне нравиться. Инструменты, которыми пользовался садовник, были старинными и особенными. Приходилось запоминать их названия, учиться чистить их и ухаживать за ними. Я, словно большим пальцем четки, перебирала их названия на бесконечной круговой нити того, что мне требовалось в работе: *«какезучи»*, *«ната»*, *«кибасами»*, *«шачи»*, *«тебасами»*. «Коло-

тушка». «Сечка». «Ножницы для подравнивания краев». «Вурот». «Секатор». *«Какезучи». «Ната». «Кибасами». «Шачи». «Тебасами».* Нить удлинялась с каждым днем, по мере того, как все больше и больше четок нанизывалось на нее…

Случались дни, когда я, придя пораньше, смотрела, как Аритомо упражняется в стрельбе из лука. Я очень старалась не попасться ему на глаза. Ощущение покоя наполняло меня, когда я следила за его неспешными, выверенными движениями.

Вдобавок к исполнению заданий, которые давал мне Аритомо, от меня требовалось еще и переводить его распоряжения рабочим. Не считая Каннадасана, все они к садоводству относились безалаберно. С самого первого дня я почувствовала, что Ромеш еще натворит бед. Ему было за тридцать, тело слеплено из неброских, но твердых мышц. Когда он стал все позже и позже появляться на работе и от него все чаще и чаще несло перегаром пальмовой водки, Аритомо попросил уведомить его, чтобы выпивоха больше не обременял себя выходом на работу.

Ромеш заявился в Югири на следующий день после того, как я передала ему слова Аритомо. Встал возле дома и поднял крик. На этот раз пьян

он не был. Мы с остальными рабочими были заняты поблизости и бросили свои занятия, чтобы посмотреть, даже поближе сдвинулись, чтоб видеть все лучше.

— Выходи, ты, чертов джап! — орал Ромеш по-малайски, качаясь взад-вперед на ногах. — Мне нужны мои деньги! Выходи! Выходи!

Аритомо вышел почти сразу же, все еще держа в руке журнал, который читал.

— Чем он так расстроен? — спросил он меня.

— Хочет, чтоб вы ему заплатили.

— И это все, что он сказал? Что ж, ответь, что деньги свои он *уже* получил.

— Получил, но не полностью, — перевела я Аритомо ответ Ромеша.

— Было бы несправедливо по отношению к другим, если бы я ему сполна заплатил, разве не так? Он на столько не наработал, — сказал Аритомо, скатав журнал в трубочку.

Я еще переводить не закончила, как Ромеш выхватил из руки Каннадасана *паранг*. Потрясенная, я ни с места сдвинуться, ни сообразить ничего не успела — стояла и смотрела, как Ромеш взмахнул мачете, норовя ударить Аритомо сбоку по шее. Садовник же не отпрянул назад, а напротив, плавным движением скользнул *вперед*,

нападая, и ткнул концом свернутого журнала прямо рабочему под кадык. Ромеш закашлялся, издавая булькающие звуки, и схватился за горло. Быстрым движением еще туже скатав журнал и держа его, как зубило, Аритомо ударил им в какую-то точку на кисти Ромеша. Пальцы злоумышленника, онемев, разжались, *паранг* выпал на землю. Все еще хватая ртом воздух, Ромеш махнул другой рукой, пытаясь ударить Аритомо. Тот перехватил руку и, зажав в кисти, вывернул ее, заставив противника пасть на колени. Ромеш закричал от боли.

— Я тебе ее переломлю легко, как веточку, — произнес Аритомо, приблизив свое лицо к лицу Ромеша.

Мне не было надобности переводить. Тело Ромеша обмякло. Аритомо разжал схваченную в замок кисть и осторожно отошел назад.

Время снова тронулось с места. Вновь подул ветер. Схватка длилась секунд десять, может, пятнадцать, однако всем показалось, что гораздо дольше. Рабочие бросились помогать Ромешу подняться. Он оттолкнул их, пополз на четвереньках, потом с трудом встал на ноги. Пошатываясь, вышел из сада, потирая кисть руки. Он ни разу не оглянулся.

Я хотела что-то сказать Аритомо (хотя понятия не имела — что), но он уже вернулся в дом. Подобрав в траве *паранг*, я вернула его Каннадасану.

Уходя в тот вечер из Югири, я прощально махнула рукой А Чону, ожидавшему возле дома, когда выйдет Аритомо. Слуга держал в руках посох садовника: такова была его последняя обязанность перед тем, как сесть на велосипед и отправиться домой в Танах-Рату.

Я пошла по тропке, которая вилась по кромке джунглей, прежде чем, сделав крюк, вернуться к своему бунгало. Домой я не спешила. Несмотря на усталость, я все еще засыпала с трудом, порой лежала в постели без сна до самых предрассветных часов. В темноте слышалось столько голосов: стоны заключенных, крики охранников, плач моей сестры…

Тем, как Аритомо разделался с Ромешем, пусть даже в целях самозащиты, потрясло меня куда больше, чем мне это показалось поначалу. Когда он обезоруживал Ромеша, все в нем дышало холодом и бесстрастием, он, как подозревала я, готов был противнику не только руку сломать, если б тот не признал своего поражения. Как же много я еще не знала про этого японского садовника! О таком — точно, даже подумать не могла.

Огни фермерских построек и бунгало рассыпались по долинам. Спешившие домой сборщики чая приветственно махали мне. Вызывающий слезы запах горящего дерева от костров, на которых готовили еду, разносился в сумерках, донося еще и отдаленное гавканье собак. В лагере мы дожидались этого времени дня, когда нам наконец-то позволялось вернуться в свои бараки, каждая оглядывалась вокруг, примечая, кто остался в живых, но у всех у нас души слишком заскорузли, чтобы хоть что-то почувствовать, когда мы обнаруживали исчезновение знакомого лица…

Тропка дошла до развилки. Вместо того чтобы идти прямо домой, я свернула к Дому Маджубы и кликнула гурку, прося впустить меня в ворота. Обходя дом сзади, миновала Мнемозину с ее сестрой-близняшкой и спустилась по ступеням на нижнюю террасу сада. Магнус, расчищая джунгли, оставил большую часть тиковых деревьев нетронутыми. Предписанные границы сада нарушали клумбы растений, которые он вывез из Южной Африки: цикады с остроконечными листьями, пробивающимися из земли, как верхушки чересчур разросшихся, доисторических морковок, стрелиции и голубые африканские

лилии, алоэ с их менорами красных цветов, страдающие на незнакомой земле.

В центре лужайки высилась покрытая белой штукатуркой каменная арка, с которой свисал колокол. Магнус рассказывал мне, что когда-то в него звонили на одном из виноградников Мыса, оповещая японских невольников об окончании рабочего дня. Впервые эту арку я увидела давно, но ее бледный монолит по-прежнему обладал притягивающей силой: я чувствовала, что набрела на последний фрагмент какой-то позабытой цивилизации. Сейчас, проходя под аркой, я приподнялась на цыпочки, чтобы стукнуть в край колокола, исторгнув слабый отзвук из его проржавевшей немоты.

Эмили стояла у декоративного пруда, закрыв глаза. Я затихла, пока она, сделав вдох, отводила правую ногу в сторону от левой. Движения ее были настолько медленны, что мне казалось, будто я смотрю, как растягивается самое время, мир вокруг нас насыщался ее силой, пока она плавно, без пауз и разрывов, переходила от одного движения к другому: вода, вливающаяся в воду, воздух, мешающийся с воздухом. Движения ее были полны такой грации и усмиряемой силы, что Эмили, казалось, парила внутри сферы с уменьшенной

силой притяжения.

Спустя некоторое время она вернулась к своему первоначальному положению, опершись руками о бедра. Я тихонько окликнула ее, Эмили круто повернулась ко мне, руки ее вскинулись в защитном жесте. Я успокаивающе подняла руку:

— Это я. Как же это было прекрасно. Это *тайцзицюань*[148], да? Когда-то я смотрела, как пожилые люди занимались им на площадке.

Настороженность уходила с ее лица, но краски тревоги какое-то время еще держались на нем.

Свет звезд охлаждал воздух. Бронзовая скульптура сидевшей на коленях молодой девушки высилась на глыбе гранита среди тростника у края пруда. Взгляд ее, полный холодного невинного любопытства, был навеки устремлен в воду. Эмили заметила, что я рассматриваю статую:

— Мы заказали отлить ее после того, как похоронили здесь дочь.

— Я и не знала, что у вас с Магнусом была дочь.

— Петронелла прожила всего несколько дней

---

[148] Примечания: 148

Тайцзицюань — одна из внутренних школ ушу. Занимает лидирующее положение среди китайских техник «внутренней работы», целостная система физического укрепления тела и духовного оздоровления человека.

после рождения. — Взгляд Эмили подернулся застарелой печалью, пока она не отрывала его от скульптуры. — Никогда не встречалась с твоей матерью. Я очень на нее похожа?

И вот тут-то я поняла, почему моему отцу никогда не нравился Магнус и почему Эмили все это время была осторожна со мной. В душе я была уверена, что она спрашивала не о наружном своем сходстве с моей матерью.

— Вы обе очень решительные женщины, — сказала я, отбирая слова с таким же тщанием, с каким выбирала бы камни для сада Аритомо.

Эмили, судя по всему, мой ответ удовлетворил, даже порадовал:

— Магнус собирался жениться на ней, знаешь ли, но она, единственная дочь великого семейства Кхау, не могла позволить себе снизойти до скромного плантатора из *анг-мо*[149].

— А вы смогли.

Эмили, припомнила я, тоже росла в зажиточной семье, хотя и не такой знаменитой, как семья моей матери.

— Жизнь здесь многое упростила, я думаю, — сказала Эмили. — Камероны — это целый мир в

[149] Примечания: 149

Анг-мо — букв.: «рыжеволосые» (*кит., малайск.*). Обозначение (лишенное расовой предвзятости) белых людей — неангличан.

себе. Уверена, ты и сама теперь в этом убедилась. До войны здесь было довольно много смешанных семейных пар. Я даже думала, что все мы сюда приехали, чтоб быть подальше от мирского неодобрения.

— Как вы познакомились с Магнусом?

— Бенг Гьёк, моя кузина. Она пригласила меня поохотиться на тигра в Пенангских горах. Магнус был среди приглашенных, — сказала она. — Я не могла взгляд от него отвести, когда Бенг Кьёк познакомила нас. Эта повязка на глазу! Я чувствовала, что она скрывает что-то там, глубоко внутри его. Мне хотелось узнать, что же именно. Просто всенепременно!

Она улыбнулась:

— Ты знаешь, как он глаз потерял?

— В Бурскую войну.

Она взглянула на меня:

— Мне жаль, что с твоей мамой так случилось.

Я отошла на несколько шагов в сторону, сделав вид, что любуюсь какой-то птичкой, севшей на арку.

— Уверена, что ужин ты не готовила, — сказала Эмили. — Пойдем, поедим вместе.

— А где Магнус?

— В К-Л. Сегодня рано утром уехал. Раз в месяц

ездит взять наличные на зарплату рабочим.

— Хоть бы мне сказал. Мне нужно кое-какие книги достать.

— О, мы никому не говорим, когда он поедет и когда вернется. *Безопаснее, лах*. Меньше шансов в засаду попасть, видишь ли. Итак, — вопросительно глянула на меня, — ужинаем?

Я кивнула и пошла за ней по ступеням. На верхней Эмили остановилась и обернулась ко мне:

— В ту ночь, когда я впервые встретила Магнуса… мы стояли на балконе, глядя на огни Джорджтауна внизу, под нами, — заговорила она. — Заморосил дождь, но он не дал мне уйти с балкона. Тогда-то он и произнес строку из того стихотворения: *«Вот нежится Земля, ночь напролет купаясь в непроглядной тихой благости дождя»*. — Воспоминание смягчило ее лицо. — Я попросила записать ее для меня, а он отказался. Знаешь, что сказал? «Мне незачем писать, ты и так запомнишь эту строку навсегда».

Какое-то время мы стояли там, в сумерках, и слова поэта, имени которого я не знала, проникали мне в душу.

Почти на самом пороге дома я спросила:

— А тигра-то подстрелили?

— Думаешь, меня это волновало после того,

как я Магнуса увидала?! — Смех ее заискрился в полумраке, и на какой-то крохотный момент она словно снова стала молоденькой девочкой. — Загонщики нашли несколько следов, но тигра мы так и не увидели. Он был, наверное, последним, жившим в тех горах.

Склонившись ко мне, она прошептала:

— Я выдам тебе тайну: я рада, что его так и не нашли и что мы не убили его.

Я кивнула:

— Я тоже рада.

— Мне нравится представлять себе, что он и по сей день жив, — произнесла Эмили, глядя на горы, где уже лежала ночь, — и все еще бродит по горам.

В конце каждого дня в Югири я возвращалась к себе в бунгало, ставила на огонь чайник и включала радио, дожидаясь, пока он закипит. В новостях, если я слушала их, обычно сообщалось, что К-Ты зверски убили очередного плантатора и его семью. Рухнув на стул у обеденного стола, я опускала руки в таз с кипятком, выпаривая из них накопившуюся за день боль. Бывали дни, когда боль была такой, что я дивилась: как это в воде не видно крови? Особенно мучила меня левая рука, шрамы на ней краснели больше, чем

кожа вокруг них. Глядя на свои обрубки, я вспоминала фокус с исчезающим большим пальцем, который так любил показывать мне отец, когда я была девочкой, я вспоминала, как визжала при этом от восторженного ужаса…

Однажды вечером, отмачивая руки, услышала, как на крутую дорожку въехала машина. Остановилась перед моим бунгало. Умолк двигатель, хлопнули дверцы, а потом донесся голос окликнувшего меня Магнуса. Замотав левую руку в полотенце, я вышла. Вместе с ним приехал какой-то китаец, одетый в защитного цвета куртку с поясом и четырьмя накладными карманами, его новехонькие шорты едва не доходили до белых гетр под коленями.

— А-а, ты дома. Хорошо, — сказал Магнус. — Инспектор Ву хочет поговорить с тобой.

Жестом пригласив их устраиваться в плетеных креслах на веранде, я пошла в дом, вытерла руки и надела перчатки. Радио все еще говорило, и я убавила звук. Когда я вышла на веранду, инспектор Ву, положив ногу на ногу, доставал сигарету из серебряного портсигара. Предложил сигарету Магнусу, тот отказался. Я было потянулась за кулевом, но остановилась: я же больше не в лагере, мне теперь незачем откладывать сигареты про

запас, чтобы потом сменять их на что-нибудь нужное.

— А вы тут совсем одиноки, — произнес Ву, чиркая спичкой, чтобы прикурить сигарету.

— Что нужно от меня специальной службе?

Инспектор совсем не удивился, что я догадалась, кто он такой.

— Нам нужно, чтобы вы уехали с Камеронского нагорья. Возвращайтесь в К-Л.

Я глянула на Магнуса, потом опять перевела взгляд на инспектора.

— Девять дней назад в Тапахе сдалась полиции одна бандитка, — сообщил Ву. — Она входила в Перакский Третий полк. Они базируются в этом районе. Ее командир знает, что вы тут живете.

За дорогой чайные поля уходили в сумерки. Мотылек с крыльями, шириной в мои ладони, бился вокруг лампочки, освещавшей веранду, упрямо прокладывая себе путь прямо к сердцу солнца.

— Вы считаете, они намерены сделать что-то со мной?

— Вы поддерживали обвинение против немалого числа К-Тов. И добились успеха. Дело Чан Лю Фунг принесло вам очень дурную славу. — Ву со свистом выпустил дым меж вытянутых губ. — Вы — легкая добыча. Да еще и отец ваш участвовал в

переговорах о независимости.

— Я и не знала об этом, — сказала я.

— Его сделали советником в комитете по переговорам о *Мердека*[150].

— Советовать правительству?

— Нет. Китайской стороне.

— Тео Бун Хау хочет освободить Малайю от колониального правления?

Магнус покачал головой, усмехаясь:

— Трудно поверить.

— Нужны люди, умеющие говорить по-английски, чтобы представлять интересы китайцев… наши интересы… на переговорах, — объяснил Ву. — Британцы из Малайи уйдут — это всего лишь вопрос времени. Мы, китайцы, должны стоять друг за друга, какими бы ни были наши разногласия: и хоккиен, и чаошань, и хакка, и кантонцы, и даже прол*и*вные китайцы. Мы не можем позволить, чтобы все решалось малайцами. У нас тут на карту поставлено столько же, сколько и у них.

В последние два года идея так называемого самоуправления все больше крепла в сознании малайских националистов. Обеспокоенные

---

[150] Примечания: 150
Мердека — независимость (*малайск.*).

своим будущим, малайские китайцы создали собственную политическую партию, чтобы к их голосу прислушивались на переговорах о *Мердека*.

— Мой отец даже на мандаринском китайском не говорит, — заметила я. — Как он может выступать от имени китайцев?

— Он нанял себе учителя, — улыбнулся Ву. — На днях даже с краткой речью выступил в Китайской торговой палате. Весьма замечательная речь, если честно. Он начал ее со слов на чистейшем мандаринском: «Я больше не банан». Мне говорили, стены дрожали от аплодисментов.

— «Банан»? — вопрошающе повторил Магнус.

— Желтый снаружи, белый внутри, — пояснил Ву. — Послушайте, мисс Тео… вы меченая женщина. Вам *придется* уехать.

— Даже если вы выставите против меня все до единого законы Чрезвычайного положения, инспектор, — заявила я, — я никуда не уеду.

— Будь разумна, Юн Линь, — произнес Магнус. — Для тебя здесь небезопасно.

— Мы не в силах обеспечить вам безопасность. — Инспектор предостерегающе воздел палец. — Прямо скажем, людей нам и так не хватает.

— Я ни о какой защите не просила и не собираюсь просить, — ножки моего стула царапнули по доскам пола, когда я встала. — Впрочем, благодарю вас за заботу.

Инспектор Ву щелчком послал окурок во тьму над перилами. Он написал что-то на бумажке и протянул ее мне:

— Номер моего телефона. На всякий случай.

— Перебирайся хотя бы в Дом Маджубы, — предложил Магнус.

— Мне нравится одной управляться.

Магнус покачал головой и сдался. Уже усевшись в машину, он высунулся из окошка и сказал:

— Завтра Праздник середины осени[151]. Мы устраиваем небольшой межсобойчик. Придешь? Отлично. Прихвати с собой Аритомо. Начало в шесть часов.

Прежде чем улечься спать, я обошла дом, убеждаясь, что все двери и окна заперты как следует. Я

---

[151] Примечания: 151

Праздник середины осени, чжунцюцзе (*кит.*) — лунный праздник народов Восточной и Юго-Восточной Азии, широко отмечается в Китае и Вьетнаме. Это вечер любования полной луной, сопровождаемый угощением «лунными пряниками» и запусками бумажных фонариков. По своей значимости этот праздник уступает только китайскому Новому году, знаменуя собой середину годичного цикла в представлении народов Восточной Азии. Приходится на пятнадцатый день восьмого месяца (полнолуние) по китайскому календарю, что примерно соответствует второй половине сентября.

оставила свет на веранде. Цикады в лесу трещали громче обычного в ту ночь, и джунгли, казалось, стали гуще и подступили гораздо ближе.

* * *

На следующий вечер Аритомо остановился у моего бунгало. Одет он был в серый смокинг и брюки в тон. От него едва уловимо благоухало одеколоном — запах мха после дождя. В одной руке он нес большую картонную коробку, но отказался поведать мне, что в ней. Боясь, как бы он не покончил с моим ученичеством, я ни словом не обмолвилась о посещении инспектора Ву.

Когда я протянула ему стакан виски с содовой, он воззрился на нефритовый браслет, который я надела. Взял меня за кисть:

— Императорский китайский нефрит, — пробормотал он. — Не стоило бы вам носить его в местах вроде этого.

— Он принадлежал моей матери, — сказала я. — Одна из немногих ее драгоценностей, которые ей удалось спрятать до прихода японцев.

Мама закопала их в коробке под деревьями папайи позади дома, после войны я вернулась и выкопала ее. Она не узнала браслет, когда я показала его ей.

— Он хорошо подходит к платью, — заметил Аритомо. — Как два листа с одного дерева.

Я глянула на свое *ципао*: бледно-зеленый шелк приглушенно мерцал при каждом, даже очень слабом, моем движении.

— Нам пора, — сказала я. — Не хочу опаздывать.

На подходе к Дому Маджубы Аритомо указал на колючую проволоку, протянутую вдоль ограды:

— Сорняк, который душит страну. Похоже, он повсюду разросся.

— Это необходимость, — отозвалась я. — Вам следовало бы продумать кое-какие меры безопасности для Югири.

В последних лучах заходящего солнца капельки росы на колючках проволоки посверкивали, словно яд на кончиках змеиных клыков.

— И погубить сад? — Вид у него был такой ошарашенный, что я рассмеялась. Повернувшись, он уставился на меня в упор: — В первый раз слышу, как вы смеетесь.

— Не так-то много забавного было в последние годы.

Луна наливалась светом в небе. В террасном саду позади дома гости и рабочие плантации толпились у стола с едой: индийцы и китайцы

на одном конце, европейцы — на другом. Весть о моем ученичестве у Аритомо успела разойтись, и кое-кто из гостей поглядывал на меня с нескрываемым любопытством. Двое-трое поддевали Аритомо, расспрашивая, уж не открыл ли он школу садоводства, но он только головой качал, улыбаясь. Я в первый раз видела его вне его сада и была поражена тем, насколько он был органичен в общении. Он слился с пейзажем.

Тумз, Покровитель Аборигенов, привез убитого им вепря, шкуру со зверя снял один из *оранг-асли*. Запах мяса на вертеле подслащивал воздух, отчего меня одолевали и тошнота и голод одновременно. Магнус вышел из-за своего *браай*, чтобы познакомить нас с американцем средних лет. Он был симпатичным, несмотря на свою приземистость и редеющие волосы, гладко зачесанные назад.

— Джим тут на отдыхе. Он работает в Бангкоке.

— И чем вы там занимаетесь? — спросил Аритомо.

— Теряю все свои деньги, не говоря уж о волосах, пытаясь вновь вдохнуть жизнь в шелкопрядство, — ответил американец. — Магнус уверяет меня, что вы выстроили себе японский дом. Я

сам собираю традиционный сиамский дом — на берегу *кхлонга.*

— Канала, — пояснил Аритомо в ответ на мой недоумевающий взгляд.

— Вы бывали в Бангкоке? — спросил американец.

— О, много лет назад, — ответил Аритомо, — когда пустился путешествовать по этим местам.

Эмили, раздававшая детям бумажные фонарики, позвала меня.

— Передайте это ей, — попросил Аритомо, вручая мне коробку, которую держал в руке. Трое мужчин отправились к плетеным стульям на лужайке. Я подошла к Эмили и отдала ей коробку. Она легонько встряхнула ее и поставила на стол.

— Хорошо, что ты привела его с собой, — сказала она. — В последнее время мы не так уж часто видим его.

— Они давно друг друга знают? — спросила я, поглядывая на Аритомо. Он допил бокал вина и взял у служанки еще один.

— Магнус и Аритомо? — Эмили задумалась. — Лет десять, нет, пятнадцать, по-моему. Они были когда-то такими хорошими друзьями, знаешь ли.

Магнус шепнул что-то Аритомо, тот откинул

голову назад и рассмеялся.

— Похоже, у них и сейчас все прекрасно, — заметила я.

— Когда-то он приходил сюда каждое воскресенье и всегда что-то приносил с собой. Бывало, много пил и становился совсем *мабук*[152] с Магнусом и их приятелями. Но после Оккупации он навещает нас все реже. Всегда одна и та же причина: занят, *лах*, устал, *лах*…

— Что-то меж ними произошло?

— Ты хочешь сказать, они поссорились? Нет, никаких драм, *лах*. Это все война, думаю. Она в чем-то изменила их дружбу.

Эмили открыла еще одну коробку и достала кипу бумажных фонариков, каждый из которых был сложен плоско, и дала мне один. Он растянулся, как аккордеон, когда я потянула за оба конца.

— Когда я вижу фонарики, снова чувствую себя маленькой девочкой, — сказала она. — Ты с фонариками играла, когда уже была взрослой?

— Мои родители праздновали китайский Новый год, а другие праздники — нет.

— Я удивилась бы, если б праздновали. Магнус говорил мне, что они были истовые *анг-мо*.

---

[152] Примечания: 152
Мабук — пьяный (*малайск.*).

Аритомо, все еще поглощенный разговором с американцем из Бангкока, заметил, что я слежу за ним, только я все равно не отвела взгляд.

— Старый Мистер Онг, он был нашим соседом, бывало, устраивал вечера любования луной. Мы видели, как его дети играли с фонариками. Его первая жена всегда оделяла нас лунными пряниками[153]. Я всегда думала, правда ли это… ну, что в лунных пряниках прятали тайные послания какие-то мятежники, замышлявшие свергнуть китайского императора.

— *Ай-йох*, держись фактов точнее… мятежники были китайцами, — сказала Эмили. — Они хотели покончить с правлением монголов. Восстание намечалось поднять в Чжунцю. И послания не всегда прятались внутри пряников.

— Где же еще их прятали?

— Иногда их писали прямо на пряниках. Послания вырезались в формочке для пряника. А готовый пряник разрезали на четыре части.

— Послание можно было прочесть, только сложив все куски вместе, — догадалась я.

---

[153] Примечания: 153

Лунные пряники — круглые (иногда иной формы), красиво (с добрыми пожеланиями и мудрыми советами) выпеченные китайские пряники-пирожные, которые в Праздник середины осени дарят друг другу члены семьи и друзья.

— Умну, да? Подумать только: скрыто у всех на виду!

— Значит, в Чжунцюцзе празднуется это самое восстание.

— Эх, вы, девочки современные-пресовременные! При всем университетском образовании, вы не знаете даже вещей вроде этой, не знаете о ваших собственных традициях, — вздохнула Эмили. — Спроси любых здешних ребятишек — и все они знают эту историю, даже индийцы с малайцами.

— Это потому, — вмешался Магнус, принесший нам выпить, — что ты им ее каждый год рассказываешь.

— Им нравится ее слушать, — сказала Эмили, давая последний фонарик какой-то девочке.

Магнус подмигнул мне и обратился к ребятне:

— А ну, *мари-мари*[154], ребятишки, сейчас тетя Эмили расскажет вам сказку. Сюда, сюда!

Большинство детей понимали и немного говорили на простом английском, но Магнус повторил свое приглашение на малайском, закончив его еще одним увещеванием *мари-мари* и призывным загибанием пальцев обеих рук.

---

[154] Примечания: 154

Мари-мари — зд.: давайте-ка сюда (*малайск.*).

Дети собрались вокруг нас. Эмили метнула на Магнуса сердитый взгляд, но было видно, что ей очень приятно. Когда ребятишки расселись на травке, Эмили спросила:

— Вы все знаете, почему сегодняшний праздник зовется еще и Лунным?

— Потому что луна сегодня такая большая? — выпалил один мальчишка.

— Вот это молодец! — воскликнул со смешком Тумз.

— Потише-ка, вы, *лах*, — осадила его Эмили.

Натянув юбку на колени, она опустилась на траву. И начала:

— Давным-давно было в мире десять солнц. Всякий день каждое из них по очереди сияло на небе. Но вот в одно утро случилось что-то непонятное, что-то, чего никогда не случалось раньше: все десять солнц взошли в одно время. В мире сделалось слишком жарко. *Вах!* Загорелись деревья и… х-х-у-ш-ш-ш!.. все джунгли охватило пламя. Вскоре все реки и моря выкипели, вода обратилась в пар. Животные умирали, страдали миллионы людей…

Некоторые из ребят слушали, раскрыв рты и не сводя с Эмили широко раскрытых глаз. Один мальчик сидел на коленках и то и дело оборачи-

вался в поисках родительской поддержки.

— Император Китая забеспокоился, — продолжила Эмили, — однако все его мудрейшие советники уверяли, что ничего поделать нельзя. «Такова Воля Небес», — говорили они. Но вот попросил позволения высказаться один молодой придворный. И рассказал, что слышал о лучнике по имени Хоу И, который сбивал с неба всех, кого угодно, как бы высоко они ни залетали: ласточек, аистов, орлов. Его стрелы даже пронзали облака. «Ваше Величество, — произнес молодой придворный, — наверное, можно бы попросить Хоу И сбить солнца из лука?»

Голос Эмили донесся до остальных гостей, и они по одному оставляли общий разговор, чтобы послушать. Аритомо сидел, выпрямившись, на плетеном стуле и больше не разговаривал с сидевшим рядом американским торговцем шелком.

— Император счел мысль молодого придворного здравой. «Пошлите глашатаев и приведите этого Хоу И ко мне, — приказал он. — Живо!» Когда лучник прибыл, Император сообщил, что тому надлежит сделать. Хоу И выслушал, а потом попросил, чтобы его отвели на самую высокую башню во дворце. Император, которого несли на паланкине рабы, следовал за Хоу И до самой

верхушки башни. Все выше и выше поднимались они, пока не забрались на самый верх. Там была открытая площадка, на которой Император каждый раз устраивал церемонии приветствия солнца в первый день Нового года.

Десять солнц горели так ярко и жарко, что когда Хоу И глянул вниз на выжженную землю, то не заметил нигде ни единой тени. От яркого света даже голубое небо сделалось совсем белым. — Эмили оглядела детей. — Хоу И взял свой лук. Надо сказать, что этот Хоу И был мужчина очень большой.

— Какой большой? — спросил, не удержавшись, худющий мальчик.

— Какой большой, Муту? О-о, больше, чем мистер Магнус, только без такого громадного живота, конечно. Большой, как дерево вон там, только немного пониже, — взгляд Эмили прошелся по остальным детям. — А уж если Хоу И был большой, так его лук был и того больше, вдвое больше, чем сам лучник.

Она облизнула губы, прежде чем рассказывать дальше.

— Хоу И взял свою первую стрелу. Она была длинной и толстой, как копье. И стал натягивать тетиву.

Уперев руки в колени, Эмили, держа спину прямой, поднялась на ноги и встала в стойку стрелка из лука, широко разведя руки. Ребятишки помладше прыснули смехом. Я глянула на Аритомо: он сидел, откинувшись на спинку стула со сложенными на груди ладонями, лицо его укрывала тень.

— Хоу И натягивал тетиву. Тянул, тянул и тянул, пока Императору не стало боязно, что тетива лопнет. Лучник закрыл один глаз и нацелил стрелу на самое близкое и самое жестокое солнце. — Эмили умолкла, все еще держа руки, словно лучник, готовый спустить тетиву. Подождала, пока кругом все стихнет. — И он выпустил стрелу!

Эмили губами издала резкий свистящий звук.

— Та полетела в небо — прямо к солнцу. И попала прямо в центр солнца. На мгновение солнце загорелось еще ярче. Стонами и рыданиями наполнилось все вокруг: у Хоу И ничего не получилось! Но вот солнце ослабло, пламя его погасло, и оно исчезло с небес. Люди приветственно закричали, захлопали в ладоши, даже сам Император. Хоу И отер пот со лба и принялся одну за другой посылать в небо свои стрелы. Он ни разу не промахнулся. Император, его придворные, его рабы — все на свете чувствовали, как отступала

ужасная жара, когда одно за другим умирали солнца.

Наконец всего одно только солнце осталось на опустевшем небе. Хоу И уже готовился сбить и это последнее солнце, но тут Император вскочил с сиденья на своем паланкине и вскричал: «Остановись! Ты должен оставить его светить, не то весь мир погрузится во тьму».

— А луна, *лах*? Как же луна-то? — спросила девочка с косичками.

— *Ай-йох*, Парамес, подожди, *лах*, я еще не закончила. — Эмили примолкла на секунду и сделала вид, будто вновь собирается с потревоженными мыслями. Ребята застонали в голос: ну, что дальше?!.

— Так о чем это я, а? Ах да. Итак, последнее солнце было спасено. Через много лет Император, умирая, назначил Хоу И новым правителем Китая, — продолжила Эмили. — Хоу И настолько полюбилось быть императором, что он попросил богов сделать его бессмертным.

— Это как? — спросила Парамес.

— Это значит, чтоб он никогда-никогда не мог умереть, — ответила Эмили. — Боги решили дать ему волшебное снадобье для того, чтобы он жил вечно.

И была у Хоу И красавица-жена — Чан Э. Он ее так любил, что решил отдать половину снадобья ей, а потому держал его в шкатулке, чтобы преподнести жене сюрприз. Чан Э заметила, что муж прячет что-то, и разобрало ее любопытство. Однажды, когда Хоу И ушел на охоту, она открыла шкатулку. Увидела снадобье и взяла его. А потом… — Эмили сжала невидимое снадобье между большим и указательным пальцами, осмотрела его со всех сторон, а потом бросила в рот и проглотила. Детишки завизжали.

— Тотчас же почувствовала она, как ее тело становится все легче и легче, — сказала Эмили. — Ноги ее оторвались от пола, она взлетала все выше и выше. Вот уж и в окно вылетела, в небо поднялась. Все дальше и дальше улетала. Только она не хотела покидать Хоу И, и вот, пролетая мимо луны, Чан Э решила на ней и остаться. Ближе этого ей никак нельзя было быть к своему мужу. Когда Хоу И вернулся домой и понял, что натворила жена, у него сердце оборвалось. Но и то он понял, что каждый год в одну-единственную ночь, когда луна становится самой полной, он сможет увидеть свою жену Чан Э, до сих пор живущую там, на луне.

Эмили умолкла и подняла руку к выплывавшей

над нами полной луне:

— Вон она, одетая в нарядное платье с длинными развевающимися рукавами, сидит — дожидается, когда Хоу И прилетит к ней.

И взрослые, как и дети, подняли лица к луне.

Некоторое время в саду царила тишина. Я тоже глядела вверх, и мне казалось, что тени на лике луны и в самом деле похожи на женщину в нарядном платье.

Эмили хлопнула в ладоши:

— Дети, время зажигать фонарики.

Гости благодарили Эмили, поднимали в ее честь бокалы. Детишки с криками и смехом бросились прочь: их фонарики светлячками покачивались в темноте. Эмили открыла коробку, которую ей передал Аритомо. Внутри лежали три фонарика из рисовой бумаги, каждый фута в полтора[155] высотой, их рамы-цилиндры были составлены из тоненьких бамбуковых палочек. Эмили зажгла в них свечи и поставила на стол, между тарелками с едой. Фонарики отбрасывали цветные отблески на белую скатерть.

— Это гравюры Аритомо! — ахнула я, узнав стиль иллюстраций в книге *«Сакутей-ки»*. Он

---

[155] Примечания: 155
Около 46 сантиметров.

перевел свои гравюры на дереве на абажуры фонариков.

— Когда-то, до войны, он дарил мне эти фонарики на Чжунцюцзе, — вздохнула Эмили. — Как он меня уверял, это не слишком удачные оттиски, которые ему все равно пришлось бы выбросить.

— Вот в этом ничего неудачного нет.

Я взяла фонарик и медленно повернула его на левой ладони. Расплавленный воск из чашечки, в которой стояла свеча, выплеснулся мне на перчатку. Горный пейзаж на оттиске замерцал.

— Безупречны они или нет, но они, должно быть, чего-то стоят. Вы все их сохранили? Мне бы хотелось взглянуть на них.

— Нельзя, — сказала Эмили. — Не смотри так обиженно, *лах*. Подожди, пока попозже все отправятся по домам, тогда поймешь почему.

Я поставила фонарик на стол и сжала руку в кулак, ломая корочку воска, затвердевшего у меня на ладони.

После ужина подали чай и лунные пряники. Пряники были квадратные, восьмиугольные и круглые, каждый толщиной в мизинец и с нежной коричневой корочкой. Эмили разрезала их на четыре части и раздавала всем по куску. Вскоре после этого ушли те, кто был с детьми, да и

остальные гости задержались ненадолго. Магнус пустил в ход все свое влияние, чтобы добиться для своих гостей послабления в комендантском часе, организовал их отъезд группами в сопровождении вспомогательной полиции. Слуги занимались уборкой, когда Эмили, перехватив мой взгляд, кивнула головой в сторону Аритомо. И я увидела, как он направился к столу с едой. Понес два свои фонарика к железной бочке, в которой Магнус поджаривал свои *boerewors* и бараньи отбивные. В темноте, с парой светящихся фонариков в руках, он был похож на монаха, шествующего во главе религиозной процессии.

— Принесите мне еще один, — бросил он мне через плечо, проходя мимо.

Я сделала, как он просил. Угасающие свечи в фонариках были похожи на дрожащие существа. Аритомо бросил первый фонарик на угли в бочке. Огонь сразу же охватил его, расползаясь по оттиску и в секунды пожрал весь абажур.

Я тронула садовника за локоть:

— Отдайте их мне.

Аритомо посмотрел на меня, потом бросил в бочку оба других фонарика. Отсвет пламени рябью прошелся по его лицу. Он смотрел, пока фонарики не догорели до конца. Хлопья пепла,

окаймленные тлеющим заревом, уносились в ночь — безмолвные, как мотыльки.

Он провел руками над угольями.

— Позвольте мне проводить вас домой.

— Я только возьму у Магнуса электрический фонарик.

Он покачал головой и указал на безоблачное небо:

— Я заимствую лунный свет для этого путешествия в миллион миль, — произнес он.

Глава 11

Однажды утром я стояла около площадки для стрельбы из лука и дожидалась, пока Аритомо закончит упражняться. Когда он поставил свой лук на место, я вышла вперед:

— Мне хотелось бы попробовать.

Я заметила — в его взгляде просквозило недоверие, а может быть, и нет: реакцию Аритомо часто было трудно уловить.

— Нельзя делать это без надлежащей одежды, — наконец сумел он выдавить из себя.

— «Надлежащей одежды»? А у вас разве не валяется где-нибудь запасной костюм? Эмили подскажет, кто сумеет подогнать его по моей фигуре.

— Почему вам захотелось постичь *кюдо*[156]?

— Разве не сказано в *«Сакутей-ки»*: для того чтобы стать искусным садовником, необходимо овладеть и еще каким-нибудь искусством?

Он секунду-другую поразмыслил над моим ответом.

— Может, у меня где-то и есть старый костюм

---

[156] Примечания: 156
Кюдо — путь/учение лука (*яп.*).

лучника.

На стрельбище я появилась снова несколько дней спустя, неся в сумке полный комплект надлежащей одежды для *кюдо*. Прежде чем подняться на площадку для стрельбы, я сняла туфли и поставила их на самую нижнюю ступеньку. В уголке, отгороженном занавеской, переоделась в белую куртку из тонкого хлопка и черные *хакама* — свободные складчатые брюки. Эмили сама ушила костюм, так что сидел он на мне хорошо.

Из раздевалки я вышла, держа в руках длинные спутанные завязки *хакама* и недоуменно посмотрела на Аритомо. Он показал мне, как обвязывать их на поясе целой чередой петель и узлов. Потом протянул мне странного вида кожаную перчатку, похожую на ту, которую сам носил во время стрельб:

— *Югаке* нужно носить на той руке, которая у вас действует лучше.

Я никак не могла справиться с тремя кожаными частями перчатки, всякими тесемками и перемычками… и в конце концов вынуждена была попросить его надеть мне ее.

Мы опустились на колени на татами и поклонились друг другу. Я в точности повторяла каждое его движение. Для меня эти церемонии

были пыткой: их омрачали воспоминания о времени, когда приходилось выполнять все с рабской покорностью — так полагалось вести себя с тюремщиками.

Аритомо выбрал из стойки лук и протянул мне его на раскрытых ладонях. Лук, сделанный из прессованного бамбука и кипарисового дерева, оказался выше моей головы, когда я поставила его одним концом на пол. Вытянув тетиву на полную изготовку к стрельбе, я боролась с нежеланием лука согнуться, подчиняясь моей воле.

— Не следует применять грубую силу. Сила исходит не от ваших рук, а от земли, она поднимается по вашим ногам, проходит по бедрам, попадает в грудь и — в сердце, — поучал Аритомо. — Дышите правильно. Используйте свой *хара*, свой живот. Каждый вдох отправляйте глубоко в себя. Почувствуйте, как раздается все ваше тело, когда вы дышите: именно тогда мы и живем, в мгновения между вдохом и выдохом.

Я сделала, как было велено, несколько раз задохнулась, прежде чем добилась некоторого подобия того, чего он от меня требовал. Появилось ощущение, будто я тону в воздухе.

Аритомо приладил стрелу к тетиве лука (на каждую попытку давалось по две стрелы, вторую

он держал между пальцев правой руки, пока натягивал лук). Тетиву он натягивал с легкостью, вызывавшей во мне зависть: теперь-то я знала, как трудно это дается. Оперенный конец стрелы был опущен низко, к самому его уху, словно бы лучник прислушивался к дрожанию перьев. Все окружавшее нас сошлось в недвижимом ожидании: капелька росы, зависшая на краешке листа. Он выпустил стрелу, и она попала в центр мишени. Прежде чем расслабить руки, он еще секунду-другую сохранял прежнее положение, лук опустился с невесомостью месяца, прячущегося за горы. Повторив все сначала, Аритомо выстрелил второй раз — и опять точно в центр мишени. Я дернула тетиву, но не сумела воспроизвести услышанный мною звук.

— *Цурунэ*, — произнес он, глянув на мои руки, — песнь тетивы лука.

— Для этого даже название есть?

— У всего прекрасного должно быть название, вы согласны? — ответил он. — Считается, что о способностях *кюдо-ка*, стрелка из лука, можно судить по звучанию его тетивы после выстрела. Чем чище *цурунэ*, тем выше мастерство лучника.

На исходе часа упражнений мышцы рук, плеч и живота у меня подергивались и ныли, но я

заметила, что сам Аритомо сжал пальцы, а потом и закряхтел от боли.

— Артрит? — спросила. Я еще раньше заметила небольшие опухоли на костяшках его пальцев.

— Мой иглотерапевт приписывает это сырости воздуха.

— Значит, вам не годится жить здесь.

— Вот и врач говорит то же самое.

Я прошла за ним в задние комнаты дома, чтобы переодеться в рабочую одежду. Потом через всю западную часть сада мы направились туда, где земля уже начинала бугриться предгорьем. Почти у самой стены по периметру сада Аритомо свернул с дорожки и продолжил подниматься вверх. Вскоре путь закончился у скалистой площадки футов в десять в высоту[157] и столько же в ширину, возле основания которой вились листья папоротника.

— Я нашел это, когда расчищал землю, — сказал Аритомо.

Я подумала: уж не наткнулись ли мы на священный камень, оставленный тут каким-нибудь племенем коренных жителей тропических лесов, племенем, которое за века до нас отправилось в

---

[157] Примечания: 157
Около трех метров.

дальний переход к вымиранию. Содержавшееся в камне железо капельками крови проступало на скалистой поверхности. В утреннем свете линии ржавчины заходили одна на другую и рдели, как румянец на морщинистом лице. Я протянула руку и провела ею по неведомым материкам и безымянным островам, которые лишайник, как на карте, обозначил на изъеденной поверхности камня.

— Каменный Атлас, — тихо выговорил Аритомо.

Я посмотрела на него, этого собирателя древних карт.

Едва день перевалил за половину, я закончила работу и собралась вернуться к себе в бунгало. Когда проходила мимо незаполненного пруда, Аритомо проверял его глиняное дно.

— Нам скоро придется потрудиться, чтобы заполнить пруд, — сказал он, поднимая на меня взгляд.

Я пошла дальше своей дорогой, но он окликнул меня:

— Вы только время теряете, ходя туда-сюда на обед. Ешьте здесь, со мной.

Заметив мою нерешительность, он добавил:

— А Чон хороший повар, уверяю вас.

— Хорошо.

Уже обозначилась форма крыши павильона. Плотник Махмуд с сыном Ризалом раскатывали на траве свои коврики возле штабеля досок. Бок о бок отец с сыном преклонили колени, чтобы помолиться, простершись к западу.

— Порой я думаю: а ну, как они возьмут да и улетят на своих ковриках-самолетиках, когда павильон будет завершен, — сказал Аритомо.

Потом глянул на меня:

— Подумайте о названии и для него… для павильона.

Застигнутая врасплох, я никак не могла ничего придумать. Уставилась на полузаконченное сооружение и лихорадочно соображала. Наконец произнесла:

— Небесный Чертог.

Аритомо поморщился, будто я у него под носом каким-то гнильем помахала.

— Фразы, вроде этой, срываются у невежественных европейцев, когда они представляют себе… *«этот Восток»*.

— На самом деле это из стихотворения Шелли «Облако».

— Правда? Никогда не слышал.

— Это было одно из любимых стихотворений

Юн Хонг. — Я смежила веки и, немного выждав, раскрыла глаза:

Порожденье Земли и Воды,
Я к кормящей груди Неба взлетаю,
Воспаряю к ней из пор океана и его берегов.
В Небесах я меняюсь и таю,
Только смерти мне нет вовеки веков.

Вспомнив, как часто произносила эти строки Юн Хонг, я почувствовала, будто краду у нее то, что было сокровищем для нее.

— Не услышал ничего про чертог, — сказал Аритомо.

Ведь когда дождь пройдет и начисто смоет
Всё, до пятнышка, с голубого Чертога Небес,
Когда купол лазурный Землю покроет,
Ветров полный и солнца лучей вперекрест,
Про себя над своим кенотафом смеюсь
И из недр дождевых выхожу, как из чрева дитя,

Будто призрак из гроба, дымкой белой взовьюсь.

И опять в белых пятнах небес синева.

Голос мой утих, затерявшись среди деревьев. Возле наполовину законченного павильона плотник с сыном в последний раз коснулись головами земли и принялись сворачивать свои коврики.

— Небесный Чертог… — казалось, выбранное мною название вызвало у Аритомо еще больше сомнений, чем прежде. — Пойдемте, — сказал он. — Обед, должно быть, уже готов.

Прежде чем мы сели за стол, он провел меня по своему жилищу, выстроенному в стиле традиционного японского жилья с широкой верандой (Аритомо называл ее *энгава*), охватывавшей дом с фронтона и по бокам. Комната, где он принимал гостей, находилась в передней части дома. Спальни располагались в восточном крыле, а кабинет хозяина — в западном. В центре — дворик с садом камней. Все эти разные части соединялись крытыми сверху, но открытыми с боков дорожками. Изгибы и повороты создавали представление, будто дом больше, чем на самом деле. Тот же прием, который Аритомо использовал, разбивая свой сад. Все комнаты выходили на веранду. Все-

го одну уступку горному климату сделал хозяин: раздвижные двери были застеклены. Можно было, сидя в домашнем тепле, любоваться садом даже в самые холодные дни. Скудость украшения усиливала мерцающую пустоту полов из кедра. В гостиной стояла складная ширма, расписанная тюльпанами, их было целое поле, крытые золотом цветы мерцали в тени. В одном углу бледно светилось известняковое изваяние Будды седьмого века: торс с отбитыми руками и головой.

Обед мы завершили чайником зеленого чая на веранде. Был конец недели, и я чувствовала, как садовником овладевает лень, он не спешил вернуться в сад. Где-то вдали прогрохотал гром. Явился Кернильс и потерся об Аритомо. Поглаживая кота, он стал рассказывать мне о дворцовых садах, в которых работали его предки, о том, как, помогая содержать их, он поддерживал традиции, заложенные его семьей.

— Вы должны съездить, посмотреть их, — произнес он.

— Дворцовые сады? Я бы с удовольствием.

Взгляд его сделался отрешенным, и на какой-то миг я решила, что он теряет зрение. А он перечислял:

— Тодай-дзи. Тофуку-дзи. Сад у пруда в Йодзу-

индзи. И, конечно же, Тенрю-дзи, храм Небесного Дракона, сад, в котором впервые за все время были использованы приемы *шаккея*.

— *Шаккей*?

— Заимствованный пейзаж.

— Заимствованный? Не понимаю.

Применяли его четырьмя способами, объяснил он: *«энсаку»* — отдаленное заимствование, включение гор и холмов в виды сада; *«ринсаку»* — использование видов, имевшихся у соседа; *«фусаки»* — заимствование из окружающей местности, и *«гёсаки»* — отображение облаков, ветра и дождя.

Я поразмышляла над сказанным и изрекла:

— Какая-то форма обмана, и ничего больше.

— Любая сторона создания сада есть форма обмана, — ответил он, и приглушенность его голоса эхом неискренности отразилась в его глазах.

Минуту-другую мы хранили молчание. Потом он взял оловянную чайницу и, набрав ложечку заварки, сыпанул ее в чайник.

— Какая красивая, — сказала я, указывая на чайницу: размером с кружку, с длинным изящным горлышком, та со всех сторон была покрыта гравированными бамбуковыми листьями.

— Это подарок Магнуса. — Аритомо закрыл

крышку, и та беззвучно заскользила на место, выдавливая наружу весь попавший внутрь чайницы воздух.

— Что скажете о чае?

— Он горький, — ответила я. — Но мне нравится, как он вяжет мне язык.

— «Благоухание одинокого дерева». Выращен на небольшой плантации под Токио, высоко в горах — она напоминает мне Камеронское нагорье.

Он обратил взгляд в себя.

— Когда я был молодым, мы уезжали туда летом, когда становилось слишком жарко и влажно для моей матери. Мой отец дружил с владельцем плантации.

Я отрезала кусок лунного пряника Эмили и подала ему со словами:

— В ту ночь в Маджубе, когда мы собирались домой, вы сказали что-то про «заимствование лунного света»…

На мгновение вид у него стал озадаченным.

— А-а! *Хай*[158], это один поэт так сказал, прежде чем отойти в мир иной. В своем стихотворении о смерти.

---

[158] Примечания: 158
Хай — да (*яп.*).

Начался дождь.

Появился А Чон и поставил на стол две миски супа из птичьих гнезд. Аритомо любил гнезда саланган[159] и ел их раз в неделю. Из них либо готовили суп, либо (что мне было больше по вкусу) подавали охлажденными в чашах с сиропом из горного сахара и травами. Он верил, как верили и многие китайцы, что гнезда полезны для здоровья, понижают внутреннюю температуру тела и смягчают боль от артрита. Отыскать эти гнезда, созданные из прядей твердевшей на воздухе слюны быстрокрылых птичек, можно было только очень-очень высоко на стенах известковых пещер. Немногие могли позволить себе частенько лакомиться таким деликатесом.

Он вытряхнул из пузырька пилюлю и проглотил ее с ложкой супа.

— Это зачем?

— Кровяное давление. Считается, что и в этом птичье гнездо помогает.

Мне как-то не верилось, что жизнь тут была уж очень напрягающей для него, но я промолчала и доела суп.

— Сколько требуется времени, чтобы стать

---

[159] Примечания: 159

Саланган — пещерные стрижи, обитающие в Юго-Восточной Азии.

искусным садовником в Японии?

— Пятнадцать лет. Самое меньшее. — Аритомо улыбнулся. — У вас ошарашенный вид. Так было в давние времена. Тогда одно ученичество длилось обычно четыре-пять лет. — Он покачал головой. — Требования упали, как и во всем остальном.

— Все равно… пять лет — это долго.

Память тенью пробежала по его лицу, словно уходивший за гору дождь.

— Мой отец стал учить меня, когда мне было пять лет, — заговорил он. — В мой восемнадцатый день рождения он подарил мне сумку, полную альбомов для рисования, и столько денег, чтобы хватило за шесть месяцев пройти пешком весь Хонсю. «Лучший способ учиться — это наблюдать природу. Рисуй то, что видишь, что волнует тебя. Возвращайся, только когда начнет падать зимний снег», — сказал он мне.

— Сурово он с вами обошелся.

— О, я тоже поначалу так думал! — воскликнул Аритомо. — Только те шесть месяцев стали счастливейшим временем в моей жизни! Я никому ничего не был должен, никаких обязанностей. Я был свободен.

Он ночевал с рисоводами и дровосеками. Он

укрывался в шалашах из травы, когда шли дожди, просился в храмы на ночлег, молил о миске риса и чашке чая. День за днем он смотрел на сельский пейзаж меняющимся взглядом.

— Сущие мелочи заставляли меня останавливаться, приглядываться, рисовать, проникаться чувством: свет, пронизывающий пушистые цветы в зарослях травы на лугу, кузнечик, скакнувший с камня, цветок в форме сердца среди листвы бананового дерева. Даже молчание дороги останавливало меня. Но как передать тишину в рисунке на бумаге?

В некоторых местах он путешествовал по тем же дорогам, по которым за двести лет до этого ходил поэт Басё[160] во время своих странствий по стране.

— Я чувствовал, что любуюсь теми же видами, которые он описал в своих дневниках. Бывали дни, когда я не встречал в пути ни единого человека. Я выбирал долгие, трудные дороги в обход — только затем, чтобы попасть в знаменитую долину или побывать в монастыре на вершине

---

[160] Примечания: 160

Мацуо Басё (1644–1694) — великий японский поэт, теоретик стиха, создатель жанра и эстетики хокку. До конца своей жизни Басё путешествовал, черпая силы в красотах природы. Ему обязан своим новым расцветом прозаический жанр столь популярных в Японии путевых дневников.

горы. Я жил в разные времена года и, подобно траве и деревьям, менялся с ними — от лета до осени. Когда год подошел к концу, я направился к дому, следуя за облаками, несшими первый зимний снег. Мацу, наш привратник, сразу даже не узнал меня. Деньги у меня кончились еще за много недель до этого. У меня был вид нищего-попрошайки, но я сразу же пошел в кабинет отца. Достал из потрепанной в странствиях сумки свои альбомы с рисунками и положил ему на стол. Отец перелистал несколько первых страниц и окинул меня долгим-долгим взглядом. Во мне зашевелилось подозрение, что я разочаровал его. «Остальное мне смотреть незачем, — сказал отец, глядя мне прямо в глаза. — Когда придет весна, ты начнешь работать младшим садовником в дворцовых садах».

Некоторое время Аритомо пристально глядел на меня.

— То была самая длинная из всех пережитых мною зим. Я никак не мог дождаться, когда она кончится. Мне было девятнадцать лет, когда я стал одним из садовников императора, — сказал он. — Случалось, в дворцовых садах я видел его сына, наследного принца Хирохито. Я был всего на год его старше.

— Вы когда-нибудь говорили с ним?

— Он был увлечен биологией моря и хорошо в ней разбирался. Однажды он спросил меня, знаю ли я что-нибудь об этом. Я ответил ему, что я простой садовник.

Я взглянула на свои руки и подумала о том, как Аритомо разговаривал с человеком, причинившим мне столько боли и навлекшим на меня столько утрат.

— Хирохито было двадцать пять лет, когда он стал императором, — продолжал Аритомо. — К тому времени у меня уже сложились взгляды на то, как создавать сады. Я знал, чего хотел и что для сада правильно. Некоторым старым садовникам я не нравился, только они ничего не могли со мной поделать. Я был очень талантлив. Я не похваляюсь: я *был* талантлив. И я нравился императору, ему нравились мои замыслы. Я быстро вырос в чинах среди дворцовых садовников. Я женился на Асуке.

Он указал на мою чашку:

— Этот чай с плантации ее отца.

— Вы говорили мне, что она умерла. От болезни?

— В год Тигра, в 1938-м, когда мне самому было тридцать восемь, жизнь моя переменилась.

Асука забеременела. — Он умолк, воспоминание затуманило взгляд. — Это был бы наш первый ребенок.

Мы оба опустили лица и сидели, не отрывая глаз от столешницы.

— Что случилось?

— Она была слишком хрупка. И умерла во время родов. Она и ребенок. Мой сын. — Он потер большим пальцем старый след от воды на столе.

Я понимала, что должна высказать ему, какая жалость одолевает меня от услышанного, только самой мне никогда не нравилось, когда люди жалели меня.

— Почему вы приехали в Малайю? — спросила я. — Почему выбрали это место?

Кернельс забрался по ноге Аритомо и устроился у него на коленях.

— Мы имели право принимать заказы от клиентов за пределами дворца — при условии, что Имперская Канцелярия Садов даст согласие. Нашими клиентами были аристократы. У императрицы Нагако был кузен, которому хотелось, чтобы я разбил для него сад. Так что, вскоре после того, как Асука умерла, я вернулся к работе: это был единственный способ дальнейшего существования для меня, — сказал Аритомо. — Какая

же это была беда! С самого первого дня мы с ним препирались из-за моих планов. Он считал себя большим докой-садовником. Навязывал свои собственные идеи. Уже через месяц он потребовал, чтобы я внес изменения в свои планы. Кардинальные изменения.

— А вы?

— Император поговорил со мной. Просил меня извиниться и внести изменения. Я отказался. Никому не позволялось менять мои планы настолько, чтоб можно было втиснуть в сад теннисный корт. — Аритомо поморщился. — Теннисный корт! Так что я вышел в отставку. С год не знал, чем себя занять. Я не принимал больше никаких заказов. Я наведывался в «отрешенный мир», слишком много пил и валял дурака с женщинами. Однажды я вспомнил чайного плантатора из Малайи, с которым встречался за несколько лет до этого. Я так и не удосужился навестить его. «Так, — сказал я себе. — Непременно напишу ему. И отправлюсь в Малайю. Попутешествую малость».

— Бывали ли вы с тех пор дома?

— Это уже не мой дом. Родители мои умерли. То, что я знаю, что помню, а также всех друзей, когда-то у меня бывших — все унесло бурей.

Взор его поник, уперся в лежавшие на столе ладони.

— Все, чем я владею сейчас, это воспоминания.

Я глянула на него, мужчину, устроившего себе дом на этом нагорье, следящего из своего сада, как одно смутное время года сменяется другим, как минуют годы и он становится старее.

— Сад заимствует у земли, у неба, у всего вокруг, но вы заимствуете у времени, — медленно выговорила я. — Ваши воспоминания — это тоже некая форма *шаккея*. Вызываете их, чтобы жизнь ваша ощущалась не такой пустой. Вроде гор и облаков над вашим садом: видеть их можно, но они навсегда останутся недосягаемы.

Глаза его подернулись холодом. Я преступила границу между нами.

— То же самое и с вами, — сказал он немного погодя. — Ваша прежняя жизнь тоже ушла. Вы, заимствуя мечтания вашей сестры, находите уже утраченное.

Мы сидели на веранде, каждый погруженный в свои воспоминания.

Наш чай понемногу терял свое тепло, отдавая его горному воздуху.

Дождь перестал, и я поднялась, чтобы уйти. В главном коридоре, ведшем к входной двери, я

задержалась, чтобы взглянуть на горизонтальный свиток фута в два[161] длиной. На нем черной тушью и водой на чистом белом фоне был изображен хрупкий старик, который вел за собой крутогорбого буйвола на веревке, привязанной к кольцу, которое было продето сквозь ноздри зверя. Старик уже почти миновал лунообразный арочный проход в высокой стене, но его остановила поднятая рука стража. За проходом расстилалась серая размывка, сливавшаяся с зернистой пустотой рисовой бумаги.

— «Проход на Запад», — пояснил Аритомо. — Это мой отец нарисовал. Отдал мне перед смертью.

— А кто этот старик с буйволом?

— Лао Цзы[162]. Он был философом при китайском дворе две с половиной тысячи лет тому назад. Разочарованный дворцовыми излишествами, не захотел иметь с такой жизнью ничего общего. Вы видите его на посту стражи, он готов

---

[161] Примечания: 161

Чуть менее 61 сантиметра.

[162] Примечания: 162

Лао Цзы — Мудрый Старец (*кит.*). Древнекитайский философ VI–V веков до н. э., считающийся основоположником даосизма и автором классического даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин» («Книга о Пути и Силе»). В учении большинства даосских школ Лао Цзы традиционно почитается как божество.

перейти границу царства и отправиться в неведомые земли на западе.

Я повела рукой над двумя фигурами:

— Его остановил охранник.

— Привратник на посту. Он узнает мудреца и умоляет того остаться на ночь и передумать. — Лицо Аритомо было в тени, в профиль я видела только блеск одного глаза и линию, очерчивающую кончик его губ. — Лао Цзы согласился. В ту ночь он изложил на бумаге принципы и верования, которыми руководствовался всю свою жизнь, «Дао Дэ Цзин».

Аритомо примолк на мгновение.

— «Путь Небес подобен отданию поклона, низведению высокого и вознесению низкого. Он отбирает у того, у кого имеется в излишке, и отдает тому, у кого ощущается недостаток. Путь Человека противоположен».

— После того как мудрец окончил написание книги, — сказала я, — он развернулся и отправился обратно домой?

— На рассвете старый мудрец отдал все им написанное молодому человеку. Ведя за собой буйвола на веревке, он прошел в ворота и скрылся в пустыне. Больше никто и никогда его не видел.

Аритомо смолк.

— Есть люди, считающие, что его никогда и не было, что он — всего лишь миф.

— Но вот он, здесь, запечатленный водой на бумаге навечно.

— *«Даже самая бледная краска переживет память людей»*, — сказал мне как-то мой отец.

Рассматривая рисунок еще раз, я поймала себя на мысли, что привратник больше не кажется останавливающим старика: он не закрывает тому путь через ворота, а напротив, печально машет мудрецу рукой на прощанье.

Глава 12

Убийство Верховного комиссара продолжало будоражить наши мысли до самого конца года. По всей стране моральный дух среди работавших на земле и в шахтах упал еще ниже, и все больше и больше семей европейцев паковали вещички и уезжали из Малайи навсегда.

Рождество в Маджубе встретили в подавленном настроении. Я отклонила большинство приглашений на празднества. Люди по-прежнему заезжали в Дом Маджубы по выходным на *браай* Магнуса. Гости бывали разные: отставные адвокаты из К-Л, пытавшиеся говорить со мной о праве, инженеры из Департамента общественных работ, врачи, индийские священники-англикане, старшие офицеры полиции, малайские госслужащие. В первые недели в Маджубе я считала себя обязанной появляться на этих сборищах, но вскоре ходить на них перестала. С тех самых пор, как вырвалась из лагеря, я не могу переносить долгое нахождение в толпе.

Магнус позволил силам безопасности разбить лагерь на принадлежавшей ему земле. Ино-

гда я проходила мимо луга и видела палатки, поставленные солдатами 1-го Гордонского горнострелкового полка или Собственного Е. В. Короля полка Йоркширской легкой пехоты, которые патрулировали джунгли и горы. Большинство солдат были примерно моего возраста, а многие — моложе.

Спустя пять месяцев после гибели Гарни в Куала-Лумпур прилетел генерал Джеральд Темплер, чтобы заступить на пост Верховного комиссара. Магнус рассказывал мне что-то всякий раз, когда я обедала в Доме Маджубы, эти обрывки новостей походили на караван-сарай на пустынном горизонте: духи миража, не имевшего ко мне отношения. Все мои силы уходили на уроки в Югири.

Я радовалась упражнениям в стрельбе из лука с Аритомо. Познать «путь лука» значило больше, чем поразить цель. Главным в *кюдо,* убеждал Аритомо, было обучить разум, укрепить нашу сосредоточенность, используя каждое ставшее ритуалом движение, которые мы проделывали на стрельбище.

— С момента выхода на позицию для стрельбы вы должны дышать правильно, — говорил он. — Ваши вдохи и выдохи должны соответствовать

всякому движению, какое вы совершаете, пока стрела не вылетела — не просто из ваших рук, но и из вашего сознания.

Каждый урок мы начинали, сидя в молчании несколько минут; очищали свои мысли от всего отвлекающего. Я обнаружила, что в голове у меня хороводит сумятица. Мне трудно было сидеть и не думать вообще ни о чем. Даже с закрытыми глазами я сознавала все вокруг себя: шелест ветра, пробег птицы по черепице крыши, зуд в ноге.

— Ваш разум просто как лента липучки для мух, свисающая с потолка, — укорял Аритомо. — Любая мысль, пусть мимолетная и непоследовательная, липнет к нему.

Он предписал мне исполнять каждую мелочь в восьми необходимых для произведения стрельбы действиях, вплоть до последовательности дыхания, и я ощущала удовлетворение, выполняя строгие, превращенные в ритуал движения. Я выработала собственный способ выверенного дыхания и чувствовала, как постепенно дух и тело сливаются в гармонии. Со временем я пришла к пониманию: предписывая, как я должна дышать, *кюдо* указывал, как я должна жить. В промежутке между спуском тетивы и попаданием стрелы в мишень я открыла для себя тихое местечко, куда

могла укрыться, щелку во времени, где могла спрятаться.

Когда мы вдвоем стояли на рубеже стрельбища, мне представлялось, что мы выглядим как пара бронзовых лучников на его столе. Я радовалась, видя, как стрелы летят из моего лука.

Поначалу было трудно: стрелы зачастую разлетались во все стороны или падали, не долетев до *матто*[163].

— Вы слишком рано утрачиваете связь со стрелой, — говорил Аритомо. — Сохраняйте ее в своем сознании, говорите, куда ей лететь, и направляйте на всем пути до *матто*. А когда она поразит цель, оставайтесь вместе со стрелой еще мгновение.

— Она не живая, — ворчала я. — Она никого не слушается.

Жестом попросив меня посторониться, он поднял свой *кю* и вставил стрелу в тетиву. Натянул тетиву до предела — когда лук согнулся, с его жестких оплеток в воздух взлетели облачка мельчайшей пыли. Навел стрелу на *матто* и закрыл глаза. Я слышала, как удлинялось и стихало его дыхание, все тише и тише, пока не стало казаться,

---

[163] Примечания: 163
Матто — цель (*яп.*).

будто Аритомо и вовсе перестал дышать.

«Пускай стрелу, — мысленно подгоняла я его. — Пускай!»

Улыбка заиграла на его губах: «Еще рано».

Уверена, что я не видела, как шевелятся его губы, а вот что голос его звучал у меня в голове — это точно!

Держа глаза закрытыми, Аритомо спустил тетиву.

Почти сразу же я услышала, как стрела поразила *матто*. Аритомо открыл глаза, и мы оба повернулись посмотреть на мишень в шестидесяти футах[164] от нас. Оперенный конец стрелы торчал из нее, тень ее линией прочертила круг, превратив мишень в циферблат солнечных часов. Даже с того места, где стояла я, было видно, что он послал стрелу в самое яблочко.

В дни, когда лил слишком сильный дождь, чтобы работать в саду, Аритомо проводил уроки у себя в кабинете. Войдя в комнату, он кланялся портрету императора, не обращая внимания на меня, отворачивавшуюся, чтобы скрыть свое негодование. Он подробно рассказывал об истории садоводства, приноравливая свои уроки

---

[164] Примечания: 164
Чуть меньше 18,3 метра.

к тому, чем мы занимались в саду до того, как погода загнала нас в помещение. Он учил меня тонкостям, разъяснял принципы и приемы, переданные ему отцом. Прикалывал к пробковой доске большой лист бумаги и сплошь покрывал его карандашными рисунками, передавая зрительно свое учение. Аритомо никогда не позволял мне сохранять эти рисунки: закончив урок, рвал лист в клочья.

Однажды в конце урока я заметила на столе листок бумаги, прижатый камнем. Вытащила его и поднесла к свету. Это оказался оттиск с изображением ирисов, на бумаге виднелись крапинки плесени, словно ржавые споры на листе папоротника.

— Ваш? — спросила я, памятуя о фонариках, сожженных нами в ночь Праздника середины осени несколько месяцев назад.

— Так, пустяк, не так давно сделал. Один коллекционер из Токио хочет его купить.

— У вас есть другие оттиски? Хотелось бы на них взглянуть.

Аритомо достал из коробки несколько гравюр. На них изображались не цветы, как я ожидала, а демоны, воины и разгневанные боги, размахивавшие над головами мечами и секирами.

Мельком проглядев, я вернула ему оттиски, не скрывая своей неприязни.

— Персонажи наших мифов и народных сказок, — сказал он. — Воины и разбойники из *«Суикоден»*, японского перевода китайского романа *«Шуй ху чжуань»*[165].

Название было стрелой, пущенной из моей юности.

— «Речные заводи», — произнесла я. Книга, классика китайской литературы, известная большинству китайцев, даже тем, кто вроде меня были немы на родном для себя языке. — Я прочла его, когда мне было пятнадцать лет. В переводе Уэйли. До конца не дочитала, но не думаю, что в книге были рисунки вроде этих.

— На старинных *укиё-э* часто изображались герои этого романа, — сказал Аритомо. Подумал немного, достал из буфета футляр из сандалового дерева и поставил его на стол. Я была в кожаных перчатках, которые одевала, когда не работала в саду. И вот я стояла и смотрела, как он натягивает на руки пару нитяных перчаток, и отыскивала

[165] Примечания: 165

«Шуй ху чжуань» — «Речные заводи», один из четырех классических китайских романов XIV в., основанный на народных сказаниях о подвигах и приключениях 108 «благородных разбойников» из лагеря Ляншаньбо.

в выражении его лица хоть намек на насмешку, только ничего такого не было.

Аритомо отпер футляр и осторожно достал из него книгу.

— Это экземпляр *«Суикоден»*. Ему уже два века, — сказал он. — Иллюстрации были вручную сделаны самим Хокусаем.

Видя, что я понятия не имею, о ком он говорит, Аритомо вздохнул:

— Вы, должно быть, видели картину, изображающую большую волну, неподвижно застывшую перед тем, как обрушиться обратно в море. Внутрь этой волны попала небольшая лодка, в отдалении видна гора Фудзи.

— Конечно, видела. Картина известная.

— Так вот, создал ее Хокусай.

Аритомо навел на меня обтянутый белым хлопком палец:

— Большинство людей считают, что знают этого художника, хотя бы по его картине «Внутри большой волны из глубин моря». Но он создал намного больше этого.

Аритомо подтолкнул книгу по столу ко мне. Вертикальная линия выполненного красной краской японского письма нисходила по одну сторону серой обложки. Книга раскрывалась

справа налево, и первая укиё-э изображала вид на узкую гору с прилепившимся к ее склону малюсеньким храмом. Комната застыла в тишине, пока я листала страницы книги.

— Гравюры выписаны очень подробно, — заметила я.

— Художнику, в зависимости от цветов, какие ему нужно было получить, и от эффектов, каких ему нужно было достичь, приходилось вырезать не одно деревянное клише.

— Похожи на японские татуировки, — сказала я. — *Ирезуми*, они ведь так называются?

— Это, — он скосил на меня глаз, — неучтивое слово. Не пользуйтесь им. Никогда. Художники-татуировщики называют это *хоримоно* — то, что украшено резьбой.

— *Хоримоно*, — повторила я. Слово было такое чужое, мой язык был так непривычен к его выражению — совсем как когда-то звучало для меня имя этого садовника…

— Когда шли процессы по военным преступлениям в К-Л, — заговорила я, — мне пришлось записывать показания одного японского военнопленного. Охранники сняли с него рубашку, так у него грудь, руки и спина были покрыты татуировками птиц и цветов и даже скалящегося

демона. Позже один из охранников сказал мне, что у того мужчины татуировки покрывали все тело — и бедра, и ягодицы, и ноги.

— Это необычно для тех, кто служит в армии, — заметил Аритомо. — Татуировки по всему телу бывают только у преступников и отбросов общества.

— Те татуировки казались… живыми.

— Должно быть, малому повезло на *хороти*, мастера татуировок.

— У Магнуса есть татуировка, — сказала я. — Вы знали об этом?

— Вы ее видели? — зыркнул на меня Аритомо.

— Он приезжал в выходные на Пенанг. Мне тогда было лет шестнадцать-семнадцать. Он пригласил нас на чай в гостиничное кафе.

Садовник, скрестив руки на груди, ожидал моих объяснений.

Вентиляторы под потолком фойе гостиницы вели изначально проигранное сражение с насыщенным влагой воздухом, латунные концы их деревянных лопастей отбрасывали блики света на стены и мраморный пол. Одетый в полотняный пиджак поверх белой сорочки из хлопка, темно-бордовый галстук и серые брюки с тщательно отутюженными стрелками, Магнус не

совсем отвечал тому образу плантатора, который сложился у меня в голове. Черная шелковая повязка на правом глазу наделяла его плутоватым обаянием, и я не могла не заметить, как притягивала она взгляды других обитателей гостиницы, в особенности обитательниц.

— Вас только четверо? — обратился он к моей матери. — А где Кьян Хок?

— На севере, в Бату Ферринги[166], — ответила она. — Проводит летние сборы с кадетами на пляже.

Официант провел нас к столику на террасе у моря, где располагались европейцы и богатые семьи китайцев и малайцев. Двое мальчишек-китайчат, лет пяти-шести, гонялись друг за другом, лавируя между столиками и вызывая явное неодобрение европейских *матрон*. По узкой полоске воды между Пенангом и материковой Малайей мимо гостиницы проплывали лайнеры, сухогрузы и рейсовые пароходы-грузовички, одни шли из Индийского океана, другие — из Андаманского моря, все их пассажиры, я уверена, радовались входу в Малаккский пролив после недель и месяцев в открытом море.

---

[166] Примечания: 166

Бату Ферринги — пляжный курорт на северном побережье острова Пенанг.

— Как ваша плантация? — спросил мой отец. Моим родителям, похоже, было не по себе рядом с Магнусом, и от этого я еще острее чувствовала витавшую в воздухе натянутость.

— Вполне прилично, Бун Хау, — ответил Магнус. — Вам бы приехать и самим взглянуть.

— Стоило бы, — произнесла моя мать. Я узнала тон, каким это было сказано: так же ее голос звучал, когда она давала отцу обещания, выполнять которые у нее не было никакого намерения.

— А что у вас с глазом случилось?

Этот вопрос терзал меня с того самого момента, как я увидела Магнуса.

— Не будь невежливой, Юн Линь, — произнесла моя мать.

Магнус отмахнулся от ее замечания:

— Я потерял его, сражаясь на Бурской войне.

— Это в Африке, — уточнила моя сестра.

— *Ja*, — кивнул Магнус. — Британцы пытались захватить нашу землю. Мы отстаивали ее, но они сожгли наши фермы и загнали наших женщин и детей в концлагеря.

— Послушайте, — вмешался мой отец, прежде чем я успела спросить Магнуса, что такое концлагерь. — Я не хочу, чтобы вы говорили с моими девочками об этой чепухе. Вы, буры, были шай-

кой головорезов. Вы проиграли войну. Оттого, что вы назвали свою чайную плантацию «Маджуба», история не изменится.

— Так я, на свой скромный лад, чту сражение, в котором британцы были разбиты в пух и прах, — ответил Магнус бархатным голосом. — И мне доставляет великое удовольствие знать, что в Малайе и по всему Востоку люди принимают капельку Маджубы всякий раз, когда пьют чай.

— Кто-то в Пенангском клубе говорил, что вы вывесили флаг Трансвааля, — сказал мой отец.

— Это флаг мой родины, страны, за которую я сражался, — отозвался Магнус.

— В этом вы от меня зависти не добьетесь, уверяю вас.

— А как насчет сада, мистер Преториус? — спросила Юн Хонг, разрывая молчание, тяжко сгустившееся над столом. — Тот японец уже начал его разбивать?

— Вот те на, откуда вы прознали про это? — удивился Магнус.

— Девочки читали в «Стрэйтс таймс» о вашей плантации, — заговорила моя мать. — Вы там упомянули японского садовника и сад, который он разбивает. С тех пор, как мы побывали в Киото, Хонг не перестает восхищаться японскими

садами.

— В саду дела идут прелестно, Юн Хонг, — сказал Магнус. Он сидел рядом со мной и повернулся, чтобы и я приняла участие в разговоре. — Аритомо говорит, что он еще не совсем закончен. Сейчас он расчищает деревья. Может, еще с годик или около того. Приезжайте, примем с распростертыми. Сад посмотрите. Уверен, он возражать не станет.

— А там будет пруд с мостом через него? — спросила Юн Хонг Магнуса. — И сад камней?

Не успел Магнус ответить, как проходивший мимо официант столкнулся с одним из китайчат, бегавших между столиками. Официант споткнулся и выронил поднос из рук. Ложки с фарфоровыми чашечками и соусницы посыпались на наш стол, а некоторые — прямо на выложенный плитками пол. Юн Хонг завизжала, опередив меня: горячая жидкость разлилась по моим плечам и рукам, насквозь впитываясь в мою блузку. Моя мать, оттолкнув стул, бросилась ко мне, схватила со стола салфетку и принялась промокать меня ею.

— С тобой все в порядке? Юн Линь? Юн Линь!

Я не слышала ее, да и не обращала внимания на горящую кожу. Я не сводила глаз с Магнуса: его

тоже окатило горячей водой. Сорочка с галстуком на нем насквозь промокли, и я видела, как у него на левой стороне груди медленно проступало синее пятнышко — прямо над сердцем. Сквозь сорочку, по-прежнему льнувшую к груди, проступили и другие цвета: оранжевый, красный и зеленый.

Он заметил, куда я смотрю, и сказал:

— Это татуировка, Юн Линь.

— Вот так впервые я увидела татуировку близко-близко, — сказала я, глядя вниз на ксилографии Хокусая, но не видя их. — Родители были в ужасе оттого, что он таким образом разукрасил свое тело, как… как разбойник из шайки.

Аритомо закрыл книгу и вернул ее в футляр, плотно надавив на крышку и наглухо защелкнув замки. Дождь за окном перестал, но вода все еще стекала с карнизов крыши.

Как-то утром, сойдя с веранды, я даже вздрогнула: на дорожке стоял какой-то мужчина. Даже в сумеречном свете я разобрала, что это не Сива: тот заболел несколько дней назад, а я, зная, как остро не хватает Магнусу рабочих рук, не стала просить его о другом провожатом.

— Мисс Тео? — произнес мужчина. Лишь через

секунду-другую я признала голос А Чона. Мы с ним за все время, которое я проводила в Югири, и парой слов не перебросились. А Чон приблизился к ступенькам, ведшим на веранду.

— Что стряслось? Что-то случилось с мистером Накамура? — спросила я.

— Мой старший брат… — начал он на ломаном английском, — мой старший брат с «людьми в чаще»… но теперь он хочет выйти из джунглей.

Я спустилась по ступенькам и быстро пошла вперед. Аритомо рассердится, если я заставлю его себя ждать.

— Ты поддерживал с ним связь?

— Все то время, как он ушел в джунгли, когда началось Чрезвычайное положение, — ответил А Чон, поспевая за мной. — Весть от него приходила раз в месяц, иногда — раз в два месяца.

— Ты давал ему еду? Деньги?

Я замедлила шаг, глядя на него. Домоправитель покачал головой. Верить ему было нельзя, но я не допытывалась. Вспомнила то утро, когда вышла прогуляться и увидела фигуру в хаки у пруда. Скорее всего гость был К-Том. Теперь уже я не могла с уверенностью сказать: был ли присоединившийся к нему другой человек Аритомо или его домоправитель.

— Так, и что ты от меня-то хочешь?

— Он хочет знать, можно ли верить вот этому… — А Чон протянул мне листок коричневой бумаги. Развернув его, я увидела одну из тысяч листовок с охранной грамотой для тех, кто сдастся, которыми правительство с воздуха забрасывало джунгли.

— Насколько мне известно, правительство всегда соблюдало свои обещания, данные… коммунистам, которые сдавались добровольно, — сказала я. — Как зовут твоего брата?

— Квай Хун. Сколько правительство заплатит ему, если он сдастся?

Мы добрались до сути. Прагматизм по-китайски: даже посреди опасности следует прикинуть, сколько же можно на ней выгадать.

— Как сказать… все зависит, в каком твой брат звании, от важности и полезности сведений, которые он принесет с собой. Награда за Чинь Пена установлена в двести пятьдесят тысяч долларов.

Чинь Пен был генеральным секретарем КПМ. Я была совершенно уверена, что коммунистам уже известна шкала наград.

— Только ты же не из-за этого сюда пришел, так?

— Квай Хун знает про вас, — сообщил домо-

правитель. — Он знает, что вы здесь. Он хочет сдаться.

— Может явиться в любой полицейский участок. В Танах-Рате есть такой. Уверена, ему известно, где это… наверное, уже нападал на него… и не раз.

— Он говорит, правительство его не обманет, если его приведете именно вы.

— Что говорит Аритомо?

Домоправитель отвел глаза в сторону.

— Мистер Накамура очень рассердится на меня, если я приведу беду в его дом.

— Есть определенные правила, которым надлежит следовать твоему брату, если он хочет сдаться, — сказала я, возвращая А Чону листовку с пропуском. — Я тут на самом деле ничего не могу сделать. И спецслужбы заведут на него досье. Узнают, что он твой брат. Им нужно будет допросить тебя. Хотел ты того или нет, ты уже привел беду в дом мистера Накамура.

— Мать Квай Хуна была у моего отца женой номер один. Моя мать — номером три. Он свои браки никогда не регистрировал. Мы с мальчишеских лет не жили в одном городе. Никто не знает, что мы наполовину братья. — Домоправитель все смотрел и смотрел на меня, переплетая

и расплетая пальцы.

Я не хотела впутываться в его проблемы, мне хотелось прогнать его.

Почуяв это, А Чон взмолился:

— Он ждет в джунглях за вашим домом. С ним еще несколько друзей. Помогите ему. *Толон-лах*[167], мисс Тео.

К-Ты, как только вошли через черный ход, сразу опустили занавески на окнах. Все четверо были китайцами, из них — одна женщина лет двадцати с небольшим. Меня обдало холодом при мысли, что они прятались за моим бунгало, следили за каждым моим шагом невесть с какого времени. Я потянулась включить свет, но голос остановил меня. Мы уселись на кухне вокруг стола, бледные лица пришельцев слабо высвечивались в темноте. Брат А Чона заговорил со мной на мандаринском китайском, но поняв, что я с трудом пытаюсь вникнуть в его слова, перешел на малайский:

— Мы из Третьего полка Южной дивизии, — сказал он. — Мы хотим сдаться.

— Почему?

Я чувствовала себя уязвимой, разговаривая с

[167] Примечания: 167
Толон-лах — зд.: помогите, пожалуйста (*малайск.*).

бандитом не в тюремной камере, без защиты охраны. Трудно было даже поверить, что я сижу тут и распиваю чаи с террористами, а всего несколько месяцев назад я из кожи вон бы лезла, добиваясь, чтоб их повесили.

— Наши командиры едят по три раза в день, тогда как остальные голодают. Они получают деньги и могут их тратить. Они имеют лекарства, когда заболевают. Их женщинам разрешают жить с ними. — Кулак Квай Хуна бухнулся о его грудь. — Я осудил все это на встрече в Центральном комитете. Я критиковал вождей.

Стул под ним закачался, а Квай Хун распалялся все больше:

— Три дня назад командир приказал мне наведаться в еще один полк в Танджонг-Малим. Это был всего лишь предлог, чтоб убрать нас из лагеря — завести в какое-нибудь гиблое место в джунглях и убить.

— Скоро они поймут, что мы сбежали, — заговорил еще один К-Т. — Нам надо двигать отсюда.

Квай Хун снова повернулся ко мне. За окнами становилось светлее, и мне уже лучше было видно его лицо.

— Я хочу привести *матамата* в наш лагерь раньше, чем они его бросят. Чем больше офи-

церов мы схватим, тем больше денег получим. Еще я знаю, где находится Чинь Пен. Я хочу, чтоб вы поговорили с кем-нибудь из начальства, с кем-нибудь, кто сможет нам предложить самую выгодную сделку. Вам лучше знать, к кому обращаться.

Почти все магазины в Танах-Рате уже закрылись по случаю китайского Нового года. Я свернула с главной дороги и по усыпанной листьями улочке поехала к гостинице «Коптильня», перед ложнотюдоровским фасадом которой густо росли пурпурные бугенвиллеи. Гостиница с ее низкими потолочными балками, толстыми коричневыми коврами, громоздкой мебелью и стенами, украшенными живописными сценами охоты на лис в пыльных золоченых рамах, напоминала мне о сельских постоялых дворах вокруг Кембриджа. Служащий, стоявший за стойкой портье, указал мне на телефон в нише за вестибюлем. Инспектор Ву взял трубку, когда я уже собиралась дать отбой, и я рассказала ему о намерении Квай Хуна сдаться. Сквозь сплошной треск разрядов на линии я услышала, как инспектор тихо присвистнул.

— Он член окружного комитета Южного Перака, — сказал он. — Большая шишка. Ему известны имена всех командиров частей и членов коми-

тета.

— Ну, так прямо сейчас он сидит у меня в бунгало с тремя своими товарищами. Он проведет вас к их лагерю, только вам нужно приехать немедленно.

— *Ваш-то* черпак как в этом горшке оказался? — задал вопрос Ву.

Носильщик, толкая перед собой тележку с багажом, прошел мимо меня вслед за европейской парой. Я понизила голос:

— Как вы и предупреждали меня раньше, я хорошо известна К-Там.

Без каких-то минут одиннадцать инспектор Ву со своими людьми примчались к моему бунгало на машинах без номеров. Чайные поля вокруг были пусты, тем не менее полиция закутала одеялами головы К-Тов, прежде чем препроводила их в лишенный окон фургончик.

— Так, значит, негодяи взяли и заявились сюда, нежданно-негаданно, невесть откуда, и обратились к вам за помощью? — спросил инспектор Ву, когда его люди захлопнули дверцу фургончика и заперли ее.

— Потрясающее невежество в этикете общения, правда? — усмехнулась я в ответ. — Могли бы, по крайности, записку подбросить, спросить, в ка-

кое время мне будет удобно их принять. Сколько, по-вашему, денег они получат?

Инспектор сделал долгую затяжку сигаретой.

— Тысяч двадцать долларов, возможно. Может, даже и больше, если наш набег накроет каких-нибудь высокопоставленных коммунистов. Вам с этого тоже, может, перепадет. Немножко. — Он взглянул на меня, и я поняла: ожидает, что я откажусь.

— А вас не приводит в негодование, что они получат вознаграждение, тогда как жизнями рискуете вы, полицейские?

— Эта схема приносит нам массу полезных разведданных.

Ву отбросил окурок сигареты и сел в машину.

— На вашем месте, мисс Тео, — сказал он, — я бы несколько месяцев держался настороже. Если К-Ты прознают о вашей роли в этом, они вознамерятся вас так наказать, чтоб другим неповадно было. А память у них долгая. — Захлопнув дверцу, инспектор опустил стекло. — Вы едете к родным на лунный Новый год? На тот случай, если нам понадобится связаться с вами?

Неделю назад тот же вопрос задал мне отец.

— Я останусь тут, инспектор Ву.

— Что ж, в любом случае счастливого Нового

года, мисс Тео!

Ву отдал приказ водителю заводить.

— *Кунг хей фат чой*![168] — пожелал он мне, когда машина тронулась.

Прибираясь на кухне, я раздумывала над словами Квай Хуна, признавшегося мне, пока мы ожидали инспектора Ву:

— Меня, знаете ли, британцы обучали. Отряд 136. В нем нас с сотню было. Послали нас на подготовку в Сингапур, когда джапы высадились. А теперь мы враги. — Он подошел к окну над раковиной и раздвинул шторки. — А он недалеко отсюда.

— Кто?

— Чинь Пен. Вон там его база, — он указал в окно на горную вершину. — Гунунг-Плата.

Я глянула на оставленное им на столе ружье: дерево приклада было изъедено термитами.

— Если проведете их к нему, станете очень богатым человеком.

Он оглядел кухню. Товарищи его сидели в гостиной. Понизив голос, он спросил:

— Вы у джапов в плену были, да?

---

[168] Примечания: 168

Кунг хей фат чой! — Мои поздравления и пожелания процветания в Новом лунном году! (*кит.*)

Я не ответила, а он продолжил:

— С нами было несколько джапов.

— И что они делали?

— Эти гады отказались сложить оружие, когда проиграли войну. Хотели и дальше сражаться. Пришли к нам, умоляли, чтоб мы дали им пристанище. А в обмен показали нам, где их армия припрятала склад оружия.

— Они и сейчас с вами, эти джапы?

— Большая часть из них дезертировали в последние месяцы. Ушли из джунглей, сами сдались, — сказал Квай Хун. — Три месяца назад Центральный комитет принял решение, что джапам, которые все еще оставались с нами, больше доверять нельзя. Мне приказали убить их.

Он втянул нижнюю губу в рот.

— Как-то утром мы вышли из лагеря: я, мои солдаты и четыре джапа. Я сказал им, что нам приказано встретить важное лицо и сопроводить его до лагеря. Эти джапы были с нами с 1945 года, друзьями нам стали, — он вытолкнул, неприлично чмокнув, губу изо рта. — Когда мы добрались до болота, то пристрелили их.

— Если хорошенько попросите, — бросила я, — то, уверена: Темплер вам за это медаль даст.

— А вот оскорблять-то незачем, *лах.* — Он сер-

дито уставился на меня. — Джап, с которым я ближе всего сошелся… я решил застрелить его последним, знаете ли, ради нашей дружбы. И знаете, что он сказал прямо перед тем, как я в него выстрелил? Сказал: я слышал об огромной куче военной добычи, которую джапская армия припрятала в джунглях — золотые слитки и драгоценные камни, украденные у нас, китайцев. Если я оставлю его в живых, то он, мол, поможет мне отыскать их.

— Человек, которого вот-вот пристрелят, что угодно скажет.

— Да, но мы оба знаем, что это правда, так ведь? — кивнул он. — Слухи о добыче носятся вокруг уже который год. Центральный комитет даже создал группу для ее поиска.

— Что же вы сделали с тем японцем, вашим другом?

— То, что всегда делал, — отчеканил он. — Я выполнил приказ.

Аритомо не стал расспрашивать, почему я припозднилась с приходом в Югири, а я не оправдывалась. Позже днем, разравнивая земельную грядку, я вдруг разогнулась и, обернувшись, глянула на него. Он стоял не шелохнувшись, устремив взгляд на горы вокруг Гунунг-Платы.

Порыв ветра донес до нас едва слышный треск выстрелов, а спустя несколько секунд послышалось глухое буханье миномета. Простояв минуту-другую, мы переглянулись и вернулись к своей работе.

У китайцев полагается, чтобы все дети из самых дальних уголков земли в канун Нового лунного года съезжались к своим родителям на общесемейный ужин. Не сделать этого — значит проявить непочтительность к родителям: наихудший грех, в каком только может быть обвинен человек. Можно быть казнокрадом или убийцей, но если кто-то повинен в непочтительности к родителям, то общество (во всяком случае, общество, в котором я выросла) не так-то легко дарует ему прощение. Эмили неодобрительно ворчала, когда я сказала ей, что остаюсь на высокогорье на все четырнадцать дней празднования лунного Нового года.

— Тогда ты должна сесть за стол в эту ночь с нами. И приведи Аритомо, — добавила она. — Фредерик тоже приедет.

Дом Маджубы был весь украшен красным: красные транспаранты, красные бумажные фонарики, квадратики из красной бумаги с каллиграфически выписанным на них черной тушью

китайским иероглифом *«фук»*, чтобы завлечь побольше богатства. Ветки пышно расцветающих вишен в фарфоровых вазах украшали прихожую. Родители Эмили скончались много лет назад, а поскольку она сама была единственным ребенком, то за новогодним столом нас собралось всего пятеро. Слуги разошлись по своим деревням, в доме было тихо. У Эмили весь последний месяц ушел на готовку еды: традиционного смешения китайских, малайских и индийских блюд — жареная свинина под густым соевым соусом, мясо *ренданг*[169], карри из рыбьих голов, крабы, выловленные у острова Пангкор и сваренные на медленном огне в кокосовом соусе с карри, карри из кур, приправленное толчеными стебельками лимонного сорго, сорванными у себя в огороде. Магнус угощал нас винами из собственного погреба.

— С виноградников Гроот Констанции, — говорил он, протягивая нам бутылку. — Наполеону поставляли такое, когда его упрятали на Святую Елену.

Аритомо отпил вина, подержал его во рту на языке, потом проглотил:

---

[169] Примечания: 169

Ренданг — индонезийское блюдо: особо (и очень кропотливо) приготовленное пряное мясо со вкусом кокоса.

— Вино, предназначенное для ссыльных.

— Понравилось? Я дам тебе бутылочку, домой возьмешь, — пообещал Магнус.

— Лао Цзы с собой такого бы взять, — шепнула я Аритомо. Он улыбнулся, а я заметила, что Фредерик, сидя по другую сторону стола, пристально следит за нами.

Еды было невероятно много, однако мы все же умяли ее всю. Аритомо знай себе подкладывал раз за разом карри из рыбьих голов. Я предпочитала мясо ренданг, его кокосовый соус держали при готовке на медленном огне так долго, что он почти высыхал. Под конец застолья Эмили отодвинула в сторону тарелку и объявила:

— Мы приготовили немного *ен-хуа*.

— А это что? — спросил Фредерик.

— Цветы из дыма, — ответила Эмили, глядя на часы. — Вставайте, выходим на лужайку.

Работники плантации с семьями уже собрались на лужайке за домом. Спустя несколько минут начался фейерверк. Желтые, красные и белые одуванчики засияли в небе, простояли там неподвижно несколько мгновений и растеклись струйками дыма. Им на смену пришли расцветавшие то тут, то там голубые южноафриканские лилии или ярко вспыхивавшие красные морские

звезды. Я подумала о «людях в чаще», сидящих сейчас в своих лагерях и глядящих сквозь сетку листьев на цветы из дыма, освещающие ночное небо. И гадала про себя: сидит ли сейчас мой отец за новогодним застольем вместе с матерью и братом? Думала: вполне ли здорова мать, чтобы выйти из своей спальни, в которой проводила все дни с той поры, как закончилась война? Последний раз наша семья собиралась на общесемейный ужин десять лет назад. Сестра моя была тогда еще жива.

— Можно, я загляну к тебе попозже? — шепнул мне Фредерик. Я ответила согласным кивком.

— Это на весь следующий год отпугнет злых духов, — произнесла Эмили, когда последние брызги огня погасли в ночном небе.

Глава 13

После смерти жены А Чон закрыл три из шести комнат в доме и, позвав рабочих, перенес мебель в кладовую. Еженедельно убираются и проветриваются только кабинет, гостиная и спальня. Домоправитель ходит за мною, пока я открываю комнаты, подыскивая Тацуджи подходящее место для работы. Ширмы из рисовой бумаги и раздвижные двери проела моль и облепила плесень. Паутина опутала стропила, попавшая в нее хитиновая шелуха высосанных насекомых свисает крохотными первобытными колокольцами. Босыми ногами я вздымаю пыль из расплетшихся татами. В самой большой из трех пустых комнат из-за течи прогнила крыша, по стенам и на полу расползлись пятна. Завещание Аритомо вполне обеспечивало деньгами содержание дома и сада, однако в последние десять-одиннадцать лет мне все чаще не хватает средств, чтобы расплатиться с А Чоном и рабочими и отремонтировать все, что требует ремонта. Не раз я даже подумывала о продаже Югири.

В конце концов я решаю, что Тацуджи подойдет

всего одна комната, находящаяся в приемлемом состоянии. Она находится рядом с кабинетом в конце короткого коридора, двери ее выходят в сад внутреннего дворика.

— Найди кого-нибудь прибраться тут. И не вздумай делать это сам, — говорю я А Чону. — И, коль скоро мы взялись за это, надо будет заодно и в других комнатах порядок навести.

Домоправитель уходит отдать необходимые распоряжения. Я вглядываюсь в сад камней во внутреннем дворике. Камни полностью обросли мхом. От птичьих гнезд на карнизах по беленым стенам пролегли грязные полоски помета.

Позже в тот день из Танах-Раты приезжают две кузины А Чона и принимаются чистить, скрести, оттирать. Среди свалки мебели в кладовой я наталкиваюсь на стол из розового дерева и пару стульев к нему. Велю присланным Фредериком рабочим отнести их в комнату Тацуджи, а из магазина в Танах-Рате присылают заказанную мной настольную лампу. Ближе к вечеру комната вычищена и приготовлена для Тацуджи, и я прошу одного из рабочих отвезти ему записку в гостиницу «Коптильня».

Брожу вокруг дома, отмечая про себя, что еще нуждается в ремонте или замене. Длинная полоса

гравия, отделяющая площадку для стрельбы из лука от места, где вывешивались мишени, поросла сорняком и лалангом. Я уже едва не ступаю на нижнюю из трех ступенек, ведущих на площадку, но, опомнившись, снимаю обувь. Поднимаю все занавеси до самого верха. Кедровый пол, как и полы в комнатах, которыми не пользуются, тоже покрыт слоем пыли. Стою, а мысли мои мешаются, словно выпавшие из колчана стрелы. Потом замечаю все еще торчащий в стойке лук Аритомо с лопнувшей тетивой. Ладонью отираю с него пыль. Рядом — мой собственный лук. Тетива провисла, и я снимаю ее. Лук не поддается, сыплет клубочками пыли в воздухе, когда я с силой сгибаю его, чтобы перетянуть тетиву. Приходится за несколько попыток припоминать: как натягивать тетиву на оба конца оружия. В конечном счете это сделано, хотя Аритомо и посмеялся бы, увидев — как. Тетива уже не такая тугая, какой должна быть. Я порылась в шкафчике, стоявшем в глубине площадки, разыскивая бумажную мишень, но ни одной не нашла. Вернувшись к переднему краю площадки, встала в позицию для стрельбы и с усилием постаралась избавить разум ото всех мыслей. Самое главное, чему выучил меня Аритомо, возвращается. Начинаю

управлять своим дыханием, отсылая каждый вдох глубоко в себя, чтобы сосредоточиться. Это что-то вроде борьбы — мои легкие одрябли, словно старые винные мехи, и больше не способны наполниться так, как умели когда-то, а я стараюсь их оживить…

Когда чувствую, что готова, нацеливаю стрелу и оттягиваю тетиву. Плечи противятся напряжению. Отпускаю стрелу еще до того, как разум обретает покой. Она падает на поросшую сорняками полосу гравия — на полпути от стрельбища до места, где ставились мишени.

Птичье пение оживляет воздух, туманы ложатся на горы и скользят по их склонам вниз, медленно и беззвучно, словно лавина, видимая с расстояния многих миль. Непроизвольно бросаю взгляд назад, ожидая, что Аритомо станет распекать меня взглядом или язвительным словом. Но вижу только собственные следы на пыльных досках пола да слышу, как тихонько постукивают бамбуковые занавеси на ветру.

* * *

Садовница, работающая у Фредерика, согласилась наведаться ко мне в Югири. На следующее утро, в половине седьмого, жду ее возле дома.

— Опаздываете, — говорю я, когда А Чон препровождает ее ко мне.

— Всего-то на пятнадцать минут, *лах*.

Вималя Чин, наполовину китаянка, наполовину индианка, лет тридцати с небольшим, одета в клетчатую рубашку с короткими рукавами и шорты цвета хаки, оставляющие открытыми ее тугие коричневые икры.

Напоминаю себе, что я больше не у себя в зале суда, однако старые привычки как-то подбадривают.

— У меня в саду собакам не место, — указываю я на ее дворняжку, обнюхивающую ирисы. Раздраженно поглядывая на меня, Вималя чмокающими звуками подзывает к себе собаку и привязывает к дереву. Я отворачиваюсь, когда она позволяет псине лизнуть ее в губы. Омерзительно.

— Так чего же вы от меня хотите? — Она оглядывает все вокруг, когда мы отправляемся прогуляться по саду. — Тут столько всякой экзотики, что мне понадобится порядком поработать, чтобы превратить это место в естественный сад.

— У меня нет намерения этого делать! Разве Фредерик не сообщил, почему я хотела увидеться с вами?

Садовница отрицательно мотает головой.

— Вы тут прежде бывали? — спрашиваю.

— Один раз, когда мистер Фредерик захотел, чтоб я поработала у него в садах. Он привез меня просто посмотреть…

— Наверное, ему хотелось, чтобы вы увидели, на что его сады не должны быть похожи.

— Так чего же вы хотите от меня? — снова задает она тот же вопрос, со звяканьем перебирая рукой ключи в кармане.

— Вы не могли бы перестать звякать?

Она вытаскивает руку из кармана.

— Я хочу, чтобы вы восстановили сад таким, каким он был прежде.

Она бросает на меня взгляд:

— Я не спец по японским садам.

— Я спец.

— Тогда я вам без надобности.

— Мне требуется кто-то, кто будет выполнять мои указания, надзирать за рабочими.

— У вас есть изначальные планы этого места?

— Все они вот тут, — я касаюсь своего виска. — Всё тут.

Видя, что она колеблется, говорю:

— Пройдемте. Я дам вам представление о том, что нужно будет сделать. Вы сможете решить, устраивает вас эта работа или нет.

Мне придется выкорчевать воспоминания из почвы, в какой я их схоронила. Однако разве не этим я занималась всю прошлую неделю?

— Вон та кромка берега, по ту сторону… вы видите? — спрашиваю я, когда мы подходим к пруду. — Ее надо привести в порядок, четче обозначив слой за слоем: у берега должен быть такой вид, словно волны накатываются на пляж. И проредить лапы лотосов. Пусть вода дышит.

Чем глубже мы забираемся в сад, тем холоднее становится воздух. Я указываю Вимале на то, что мне хочется изменить. Ненадолго останавливаемся у каменной чаши: ее стенки совсем заросли мхом. Помню утро, когда я склонилась над ней и посмотрела через промежуток в кустах на горы. Сейчас вид загораживают ветви, выросшие над выемкой. Гор больше не видно, и на какой-то миг я усомнилась — а там ли они еще?

— Срежьте эти ветки, — показываю ей, насколько велика должна быть выемка. — И отчистите чашу.

— Полагается, чтоб у японских садов имелась какая-то тема, это так? — спрашивает Вималя.

Я киваю:

— Садовник непременно пробудит воспоминания об известном виде или создаст определенные

ощущения — уединения, покоя или настроения поразмыслить.

— Так вот: здесь я не вижу никакой единой, всеобъемлющей темы. Мне это кажется странным. И все же мне каким-то образом знакомо, — говорит она. — Такое впечатление, будто я узнаю разные картины, которые были сотворены заново, но никак не могу определить, какие именно.

Очень и очень немногие из посетителей когда-нибудь заговаривали об этой стороне сада Аритомо.

— Итак, — говорю, — вы заинтересованы помочь старой женщине привести в порядок ее сад?

— Мой дед когда-то работал здесь… Каннада-сан.

— Мы вместе работали.

— Когда я еще была маленькой девочкой, он, случалось, рассказывал о вас. Я про все про это позабыла, пока мистер Фредерик не назвал вас. — Она усмехнулась. — Мне стало любопытно на вас взглянуть.

— Возьмите деда с собой, когда приедете в следующий раз.

— Он умер несколько лет назад, — сказала она. — Он часто говорил о японском садовнике:

как он спас его от принудительных работ на строительстве бирманской железной дороги.

Плечи ее поднялись и опустились вместе со вздохом.

— Хорошо. Значит, так: я помогу вам привести сад в порядок. Будет о чем рассказать детям, когда время придет. Только я не смогу быть здесь все время.

— Вам достаточно будет контролировать, что ваши люди следуют моим распоряжениям. Я составлю список того, что необходимо сделать. Вы можете приступить безотлагательно?

— Сколько времени вы пробудете здесь?

— Не знаю. Не очень долго.

Когда через полчаса мы возвращаемся к пруду, она останавливается и оглядывается вокруг.

— Судя по тому, что вы мне рассказали, здесь все дело в эстетике, верно? Я имею в виду сад.

— Конечно же, нет. Сад должен запасть вам в душу. Он должен изменить ее, опечалить ее, ободрить ее. Он должен заставить вас принимать недолговечность всего в жизни. Миг, когда последний лист должен вот-вот упасть, оставшийся лепесток вот-вот облететь — этот миг вбирает в себя все прекрасное и горестное, что есть в жизни. *Моно-но аварэ*, как называют это японцы.

— Какой-то нездоровый взгляд на жизнь.

— Мы все умираем, — говорю. — День за днем, секунда за секундой. Каждый вздох, который мы делаем, истощает те ограниченные запасы, с какими все мы рождаемся.

Я вполне понимаю: ее не интересует такая тема, как смерть, она, как и великое множество молодых, убеждена, что к ней она никакого отношения не имеет.

— Я смогу приступить завтра, — говорит она. — Я должна идти: у меня есть еще один сад, о котором надо заботиться.

— Уверена, дорогу к выходу вы легко найдете. И не забудьте вашу собаку.

Вималя ушла, а я стою у кромки пруда и долго провожаю ее взглядом. В голове я вновь слышу голос Аритомо: «Делай все правильно, и сад сам все запомнит». Все эти годы я порой задумывалась: отчего он никогда не хотел передать свои мысли бумаге, отчего так боялся, что его идеи украдут и воспроизведут. Проведя долгое время вдали от Югири, я сейчас начинаю понимать, по-настоящему понимать, что у него было на уме. Уроки воплощены в каждом дереве, в каждом кусте, в каждом виде, которым я любуюсь. Он был прав: я вверила все, чему он меня учил, своей па-

мяти. Вот только сосуд пошел трещинами. Если я не запишу всего этого, кто окажется способен расшифровать его указания, когда я уже буду не способна довести их до чьего-либо понимания, когда сама я не смогу больше понимать, что говорю?

* * *

Тацуджи приходит работать с *укиё-э* по утрам в девять часов, оставаясь еще на час-другой после обеда. Я велю А Чону попозже подать ему чай и что-нибудь перекусить. Время от времени замечаю, как историк бродит на участках сада около дома: у него хватает соображения не забираться поглубже без моего позволения. Взгляд его всегда сосредоточен, даже когда он просто сидит на лавочке. Из окна кабинета я часто вижу его читающим какую-то тоненькую старую книжицу в твердой обложке: ноги вытянуты и скрещены у коленей, он сидит до того неподвижно, что, кажется, уже стал еще одним камнем в саду.

Утро я провожу, записывая поручения для Вимали, делая это как можно более подробно. Весть о моем возвращении в Югири уже разлетелась, я стала получать записки и письма от людей, о которых и не слыхивала, с просьбами разрешить

им посетить сад. Приглашения рассказать об Аритомо и его саде пришли из Управления Камеронского нагорья по туризму, клуба «Ротери», Ассоциации высокогорных путешественников, клуба «Экспаты»[170], Садоводческого общества Танах-Раты. Я все утро провожу, перебирая их и… выбрасывая.

Как раз тогда оно и происходит. Как и прежде — никакого предуведомления.

Разворачиваю извлеченное из конверта письмо и постепенно соображаю, что бумага у меня в руке заполнена неразборчивыми каракулями. Мир вокруг затихает настолько, что я, кажется, способна расслышать, как течет во мне кровь. Немного погодя (наверное, не больше, чем через минуту-другую) беру другой листок бумаги. Руки дрожат. Написанное на нем также не поддается прочтению. Поднимаю взгляд на кучу книг на столе и обнаруживаю, что названия на их корешках тоже невозможно расшифровать. Притягиваю к себе блокнот и пишу что-то на его странице, но слишком уж дрожит рука. Делаю несколько вдохов и выдохов, пока не чувствую, что готова, и затем медленно вывожу печатными буквами

---

[170] Примечания: 170

Экспаты — люди, добровольно или вынужденно покинувшие родину.

свое имя. Хотя усвоенный рукой навык убеждает меня, что пишу я имя правильно, на бумаге оно выглядит строчкой неведомых иероглифов.

Панический страх гонит меня из кабинета. В коридорах запутываюсь: как будто попала в лабиринт. Тацуджи окликает меня, когда я проношусь мимо него. Заслышав поодаль какой-то слабый стук, иду на него и попадаю в заднюю часть дома. А Чон рубит овощи на кухне, его широкий тесак отбивает ритм на толстой разделочной доске. Удивленный моим появлением, он поднимает голову. Откладывает тесак, отирает руки о полотенце и приносит мне стакан воды. Тацуджи заходит следом за мной на кухню и удивленно смотрит на меня. Беру у А Чона стакан, с облегчением замечая, что рука дрожит уже намного меньше. Медленно пью воду, а когда допиваю, то понимаю, что все еще держу что-то в руке. Распрямляю пальцы — в ладони смятый комок бумаги. Расправив его, разбираю свое имя: буквы корявые и неясные, но узнаваемые.

Сворачиваю листок и велю А Чону повесить у входа уведомление для тех, кто заявится, чтоб даже не надеялись, что их пустят в сад. Однако сама понимаю: все равно придут.

Гостиница «Коптильня», похоже, не очень из-

менилась за последние сорок лет. Пурпурные бугенвиллеи по-прежнему в цвету, они стали еще гуще, сплошь покрывают ложнотюдоровские стены до самой крыши. Картинки сцен охоты на лис все так же висят внутри. В вестибюле полно туристов.

Я по привычке прихожу рано. Официант подводит меня к столику на террасе розового сада. Престарелые европейцы сидят на солнышке, наслаждаясь чаем с лепешками. Воздух напоен благоуханием роз.

Окружающее спокойствие меня не успокаивает. Я все еще взволнованна, *перепугана*, если быть честной (а я должна, вынуждена быть честной), тем, что случилось утром. Нейрохирурги предупредили меня, что такие случаи будут происходить все чаще и чаще, а их продолжительность всякий раз будет возрастать. Они не докопались до причины столь быстрого разрушения моего мозга. У меня нет опухоли, я не страдаю слабоумием, меня не донимают припадки. «Вы из более везучих, — заявил мне последний из множества нейрохирургов, к которым я обращалась. — Бывают случаи, когда афазия наступает сразу же — и полная».

Эмили прибывает несколько минут спустя,

усесться в кресло ей помогает ее шофер, по виду почти такой же старый, как и она. Я предложила забрать ее из Дома Маджубы, когда она пригласила меня на чай, но она предпочитает, чтоб ее возил собственный слуга. После случившегося этим утром я рада, что она отказалась от моего предложения. Ведя машину из Югири, все время боялась, как бы дорожные знаки вдруг не стали непостижимыми для меня.

— Вы по-прежнему занимаетесь *тайцзи*[171], — говорю я. — Могу сказать: походка у вас, как у женщины лет на десять моложе.

Эмили отпускает шофера и улыбается:

— Стараюсь каждое утро хоть коротенькие упражнения выполнять, *лах*. Было время, раз в неделю других учила, но теперь я для этого слишком стара.

Еще несколько минут — и нам приносят чай. Эмили впивается зубами в лепешку, и я отвожу взгляд, когда клубничный джем кровенит ей кончики губ. Она утирает рот, медленно жует и проглатывает.

— Как твоя семья?

---

[171] Примечания: 171

Тайцзи — букв.: великий предел (*кит.*). Система физического и нравственного совершенствования, основанная на китайской философии экзистенциального бытия.

Она уже спрашивала меня об этом, когда мы вместе ужинали в Доме Маджубы несколько вечеров назад.

— Мой отец умер год спустя после *Мердека*. Хок, мой старший брат, перебрался с семьей в Австралию. Погиб в автодорожной катастрофе несколько лет назад. Я не близка с его женой и сыновьями.

Пожилая китайская пара, которую препровождали к их столику, приветствовала Эмили.

— Они занимались *тайцзи* у меня в классе, — пояснила она, склонившись пониже над столом. — Тебе надо тоже позаниматься. В классе новая преподавательница. Очень толковая: я сама ее учила.

— Чуточку поздновато для меня.

Она смотрит мне в глаза:

— Ты больна, так ведь?

Я кладу нож на тарелку и молча кляну Фредерика за длинный язык.

— Я не слепая, *лах*, — продолжает Эмили. — Так неожиданно вернуться сюда, и это после стольких-то лет, за которые ты ни разу не навестила нас, — она подается вперед, шея у нее вытягивается. — Ну, и что это? Рак? Не делай такой сердитый вид: старикам позволено быть бестактными.

Иначе откуда бы взяться веселью в старости?

Я указываю пальцем себе на голову. Нет настроя подробно расписывать ей мое состояние: похоже, легче позволить ей думать все, что угодно.

Эмили слегка касается моей руки:

— Возможно, болезни у нас с тобой разные, зато в конце это означает одно и то же, верно? Наши воспоминания умирают.

Некоторое время мы сидим молча. Потом она произносит:

— В моем возрасте знаешь чего мне хочется? Чтоб я умерла, все еще помня, кто я такая и кем была когда-то.

— Большинство людей просто попросили бы мирной безболезненной смерти. Лучше всего — лечь спать и больше не проснуться.

— Мы не «большинство людей», — возражает она. — Во всяком случае, надеюсь, что я не из них, — она откусывает маленький кусочек лепешки. — А Фредерик знает?

— Я ему рассказала.

Мысленно извиняюсь перед Фредериком за то, что раньше усомнилась в его благоразумии.

— Если мы можем чем-то помочь, ты должна нам сказать.

Эмили дожидается моего согласия, после чего

говорит:

— Так ты отыскала все же, где покоится твоя сестра?

— Я поставила надгробие ее душе в храме Гуаньинь[172] на Пенанге.

— Этого вполне достаточно.

— Надгробие — всего лишь кусок дерева.

— Ты так и не разбила сад в ее память?

— Я старалась. Но результаты никогда не доставляли мне радости. Справиться самой мне не хватило умения.

Эмили взяла с блюда еще одну лепешку.

— Могла бы нанять кого-нибудь из Японии.

— Создание сада в память Юн Хонг не сможет уменьшить моей боли. Как и ничто из сделанного мною. Я осознала это.

— Помнишь, как ты приезжала погостить у нас, всю эту пропасть лет тому назад? — Эмили улыбается. — В тебе столько злости сидело. Разумеется, у тебя были веские для того основания. Только я все еще различаю ее в тебе, ту злость. О, прячешь ты ее здорово. И, может, она уже не та, какою была. Не так сильна. Но она сидит в тебе.

Позже, когда мы уходим из «Коптильни», она

---

[172] Примечания: 172

Храм Гуаньинь — один из старейших храмов Пенанга, посвященный богине милосердия Гуаньинь, почитаемой китайцами всех конфессий.

останавливает меня:

— *Ай-йох*, едва не забыла, одна моя приятельница служит настоятельницей в храме. Она хочет повидать тебя.

— Повидать меня или повидать сад? — спрашиваю.

— Она хочет поговорить с тобой об Аритомо.

— В связи с чем?

— Откуда мне знать? Спроси ее сама, *лах*.

Мгновенье-другое прикидываю.

— Прекрасно. Передайте ей, пусть приезжает.

Вернувшись через час в Югири, я застаю Тацуджи на *кацунигийси* — камне у порога, где гостям положено снимать обувь, прежде чем войти в дом. Он завязывает шнурки и, почувствовав мое присутствие, поднимает голову:

— А я уже собирался в гостиницу возвращаться. Мне нужно поговорить с вами об *укиё-э*.

— Что это за книжку вы все время читаете?

Выпрямившись, он мнется, потом достает из кармана полотняного пиджака книгу и протягивает ее мне. Я с удивлением взираю на сборник стихов Йейтса[173].

---

[173] Примечания: 173

Уильям Батлер Йейтс (1865–1939) — ирландский англоязычный поэт, драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1923).

— А вы ожидали чего-то другого? — спрашивает он.

Пожимаю плечами и возвращаю книжку.

— Когда я был молодым, один приятель прочел мне стихотворение Йейтса, — говорит Тацуджи. Чувство утраты в его голосе застарелое, словно оно не покидало его большую часть жизни, и я почему-то поражена сходством этого чувства с моим собственным.

— Пойдемте-ка со мной, — говорю.

Лицо его расцветает, когда он понимает, что я веду его в сад. Листья на клене возле дома ржавеют и осыпаются, ветки просматриваются сквозь редеющую листву. Увожу японца дальше, в чащу деревьев, направляясь по тропинке к водяному колесу. Красные бромелии так и тянутся укрыть своими цветами уступ склона. С самого возвращения в Югири я так и не удосужилась пойти взглянуть на водяное колесо. С облегчением вижу, что оно все еще на месте. Но больше не крутится, больше не молотит воду с монашеской терпеливостью. Стороны колеса, у которого не хватает двух лопастей, обросли лишайником. Водопад сочится тоненькой струйкой, а резервуар забит водорослями, утонувшими листьями и поломанными ветками.

Если такое состояние запущенности и ужасает Тацуджи, то виду он не показывает.

— Дар императора, — возвещает он.

По тому, как он неподвижно замер, подозреваю, что, не будь меня рядом, он бы и поклон этому колесу отвесил.

— Хотел бы я знать, сколько оборотов сделало это колесо с тех пор, как было построено?

— Столько же, сколько Земля сделала вокруг Солнца, — говорю, подтрунивая над ним.

— Императоры и садовники. — Тацуджи качает головой. — А знаете, что случилось с китайским императором после того, как коммунисты взяли власть? Они перевоспитали его. Он окончил свои дни садовником.

Надписи внизу оставшихся лопастей затянуло мхом, от резных текстов остались кусочки, молитвы искажены и ослаблены, и я понимаю: придет день, когда они и вовсе умолкнут.

— *Шобу*[174], — произносит Тацуджи, указывая на растения по склонам. Он срывает лист и высоко вздымает его. — Для нас они — символ мужества, потому что формой напоминают мечи.

---

[174] Примечания: 174

Шобу — по смыслу и деталям романа речь идет об аире, том же растении, которое когда-то показал героине Аритомо. Хотя употребленное Тацуджи слово по-японски означает ирисы.

Он сминает лист, и вырвавшийся запах переносит меня обратно к тому первому разу, когда Аритомо привел меня сюда. Беру у Тацуджи смятый лист и глубоко вдыхаю. Мысленно вижу все с полной ясностью: то самое утро. Не забыть бы добавить это к тому, что я уже написала.

— Сегодня утром в вестибюле гостиницы я разговаривал с несколькими путешественниками, — сообщает Тацуджи. — Они ожидали проводника, который должен был показать им тропу, по которой шел Аритомо в тот последний день.

— В ближайшие дни вы их гораздо больше увидите, — говорю. — Через месяц будет тридцать четыре года со дня, когда Аритомо пропал в джунглях. Туристы нахлынут в надежде увидеть сад.

О поисках Аритомо газеты сообщали как о событии малозначимом, но вскоре поиски вызвали достаточный интерес у журналистов из Сингапура, Австралии и Японии, и те стаями слетелись на нагорье. След в след за журналистами потянулись буддистские и даосские монахи, китайские и индийские медиумы и странники мира духов. Все они пытались убедить меня, что знают, куда пошел Аритомо, в какое ущелье он упал или кто его похитил. Приезжали отовсюду: Ипох, Пенанг,

Сингапур, даже из Бангкока и с Суматры — и все уверяли, что им известно, где Аритомо и что с ним случилось. Некоторыми владели чувства вполне добрые, но большинство были шарлатанами, надеявшимися прибрать к рукам десять тысяч проливных[175] долларов, которые я обещала в награду за сведения о пропавшем. Полиция расследовала наиболее правдоподобные версии, но безуспешно.

Еще не один год после его смерти я продолжала получать запросы на интервью со мной об Аритомо. Затем пришел черед просьбам о разрешении посетить Югири. Я отвергала их все до единой. Интерес к Аритомо не исчез полностью, но мне стало легче, когда со временем он пошел на убыль. Периодические вспышки любопытства в течение десятилетий обычно случались во время переизданий его перевода *«Сакутей-ки»* или когда выставлялась на продажу одна из его ранних *укиё-э* на аукционе в Токио. За десятилетия история с исчезновением окутала его, как туманы, окутывая, размывают очертания горного кряжа, преобразуя их в любые формы — какие людям желательно увидеть.

---

[175] Примечания: 175
Проливных долларов, т. е. малайских.

— Со времени своего приезда сюда я обнаружил целое кустарное производство, сосредоточенное на одном только Аритомо-сэнсэе, — говорит Тацуджи и поводит головой, наполовину восхищаясь, наполовину как будто не в силах поверить. — Пешие туры и беседы, пивные кружки и книги, почтовые открытки и карты…

— На вашем месте я не тратила бы понапрасну деньги на эти книжки. В них одна чепуха — во всех до единой. Их писали люди, никогда его не знавшие.

— Некоторые из теорий *и впрямь* вполне достоверны, — говорит Тацуджи.

— Какие? — Я бросаю ему их скопом без особого выбора: — Та, что утверждает, будто его похитили коммунисты? Или та, будто тигр растерзал и съел его? Кое-кто даже считает, что он был шпионом и его отозвали на родину, в Японию.

— Если он и в самом деле вернулся в Японию, то никто его не видел.

— А знаете, какая из теорий мне нравилась больше всего? — спрашиваю я. — История, которую мне поведал *бомох*… это малайский знахарь-колдун. Одна местная, из коренных, ведьма влюбилась в Аритомо и чарами своими заманила его жить с нею в джунглях.

— Я помню то утро, когда прочел об исчезновении Аритомо-сэнсэя в газете, — вспоминает Тацуджи. — Именно в тот момент он сделался для меня реальной личностью, а не просто именем. Странно, не правда ли, что человек становится реальным, только когда он исчезает?

Слоновьи уши папоротников между скалами мерно колышутся, и на мгновение мне кажется, что они силятся подслушать наш разговор.

— А как по-вашему: что с ним на самом деле случилось? — спрашивает Тацуджи.

— Взгляните вокруг, — моя рука описывает круг в воздухе, будто набрасывая невидимое лассо на горы. — Вы знаете, как легко сбиться с пути в джунглях? Всего один неверный поворот — и вы вдруг перестаете понимать, по какой тропе шли. — Я указываю на уступ позади нас, на трещину, взбегающую по его склону. — Видите обзорную вышку, проглядывающую вон там, среди деревьев? Его излюбленная тропа проходит мимо. Думаете, вы смогли бы выбраться из джунглей, если бы там сбились с тропы?

— Наверное, нет.

— Здесь, наверху, в горах, люди и сегодня пропадают в джунглях. Такое случается довольно часто, хотя в газетах об этом не пишут. А сорок

лет назад нагорье не было таким ухоженным, каково оно сегодня. Тогда это место было гораздо более диким.

Тацуджи неспешным долгим взглядом обводит горы. Направляясь к уступу склона, я рассказываю ему о даосских символах, которые Аритомо запечатлел игрой света и тени на лужайке внизу. Он подносит ко лбу ладонь, загораживая глаза, и всматривается вниз.

— Я их не вижу.

— Слишком много тени от облаков, — поясняю я.

Но, когда позже мы проходим мимо лужайки, я понимаю: не облака стерли символы, а растущая как придется трава. Граница между положительным и отрицательным, мужским и женским, тьмой и светом пропала. Как и многие другие чудеса Югири, элементы инь и ян, созданные Аритомо, основаны на иллюзии, видимыми они становятся только при наличии необходимых условий.

— Почему вы приехали сюда увидеться с ним? — спрашивает Тацуджи.

— Я попросила его спланировать сад в память о моей сестре, — отвечаю, — но он отказался от моего заказа.

— Зато принял вас как ученицу.

— Сказал, что научит меня, как самой создать сад. Еще одна пара рук для работ в саду для него не была лишней, и нужно было, чтоб кто-то переводил его указания рабочим. Так он сам говорил мне.

— Сомневаюсь, что вы сами в это верите.

— У меня всегда было такое чувство, что… — я запинаюсь, боясь ляпнуть глупость. — Я всегда чувствовала, что у него были иные причины для желания учить меня. Но он мне о них никогда не говорил, — добавляю я. — А я никогда его не спрашивала.

Сама я перестала гадать об этом много лет назад, но с возвращением в Югири вопрос сам собою всплыл едва ли не к самой поверхности сознания и плавал там, преломленный водами времени.

— Вы познакомились с ним в первую неделю октября 1951 года, — говорит Тацуджи.

И опять глубина его познаний и впечатляет, и тревожит меня.

— Это было на другой день после того, как коммунисты убили Верховного комиссара.

— Я читаю книгу мистера Преториуса о Чрезвычайном положении — «Красные джунгли». Захватывающе: я не знал, что вместе с коммуни-

стами сражались японские солдаты.

Мы продолжаем нашу прогулку. Тацуджи останавливается в каждом месте, откуда открывается вид, внимательно осматривает каждый каменный фонарь, каждую статую, поэтому лишь спустя почти час наша прогулка вновь приводит нас к павильону. Рабочие Вимали повымели листья и расчистили территорию вокруг него. Лапы лотосов, вытащенные из пруда, сложены на берегу в одну кучу. Стая карпов подплывает к нам: разлохмаченный оранжево-белый флаг тянется сквозь мрачную воду. В голове я слышу эхо своего же голоса из давней поры, декламирующего строчки стихотворения: «Порожденье Земли и Воды…»

Тацуджи смотрит на меня, и я понимаю, что бормочу эти строчки вслух.

— Как продвигается работа с *укиё-э*? — спрашиваю.

— Я почти закончил их осмотр и запись своих заметок, — отвечает он. — Вы говорите или читаете по-японски?

— *Нихон-го?*[176] Да. Выучила, когда в лагере была.

---

[176] Примечания: 176
Нихон-го — японский язык (*яп.*).

В памяти возникает заброшенная деревушка скваттеров в нескольких милях от Куала-Лумпура, в которой я однажды побывала — там производили фотосъемки для слушаний о военных преступлениях. Японцы отвели жителей деревни на ближайшее поле и перед тем, как расстрелять, заставили их рыть для самих себя могилы. Сквозь выломанные двери и окна домов перед моими глазами мельтешили столы и стулья, детская качалка-лошадь, лежащая на боку, кукла на полу. У входа на стене разграбленной продуктовой лавки висел плакат на английском, убеждавший жителей пользоваться японским языком. Кто-то перечеркнул красным слово *«нихон-го»* и нацарапал снизу: *«Британцы придут!»*

Тацуджи говорит, и я возвращаю свое сознание к настоящему.

— Первый оттиск *укиё-э* был сделан в начале 1940 года, судя по надписи Аритомо на обороте, — сообщает историк.

— Это год, когда он приехал в Малайю.

— Оставив, возможно, позади себя свой позор?

— Позор? — мой взгляд делается резок.

— Немного уже на свете людей из тех, кто мог об этом знать, — говорит Тацуджи. — Аритомо-сэнсэй получил заказ создать сад для члена

императорской семьи…

— Но он ушел в отставку. Он сам мне это сказал. Не желал жертвовать своим воображением ради удовлетворения капризов клиента.

— И это все, что он вам сказал?

— Что же произошло на самом деле, Тацуджи?

— Велись споры. Они ожесточились друг против друга. Аритомо лишился заказа еще до того, как работа была завершена хотя бы на треть. Стало еще хуже, когда император уволил его. Об этом все слышали. Для него это стало чудовищной потерей лица. С того самого момента он больше не мог называться садовником императора.

— Этого он мне никогда не говорил, — произношу я тихо.

— В последние несколько лет я беседовал с немногими из здравствующих людей, которые знали его…

Историк смотрит на воду, на цветы лотоса, склоняющиеся под ветерком.

— В чем это вы стараетесь меня убедить?

Он напоминает мне некоторых адвокатов, не способных говорить о сути дела.

— По-моему, — произносит он, ковыряя шелушащееся дерево перил, — Аритомо-сэнсэй играл в войне небольшую, но важную роль.

Резкий порыв нарушает созвучие ветра, зависшее под карнизом. Звук его резок и дисгармоничен. Рейки, замечаю я, злокачественно поражены ржавчиной.

— Он защитил множество людей от Кэмпэйтая, — говорю. — Он многих мужчин и мальчишек спас от угона на строительство бирманской железной дороги.

— Я убежден, что он работал на императора, когда имперская армия напала на Малайю.

— Но вы только что сказали мне, что император уволил его.

Понимаю, что звучит это, должно быть, так, будто я снова в зале суда и цепляюсь за несоответствия в показаниях свидетеля.

— Мне часто приходило в голову: не было ли это для него шансом искупить провинность, восстановить пошатнувшуюся репутацию? И это дало ему веский повод покинуть Японию.

— И заняться — чем? По-вашему, он был шпионом? — Я бросаю на историка скептический взгляд. — Готова признать, что такая мысль приходила мне в голову вскоре после того, как Аритомо пропал. Только я отбросила ее.

— Люди полагают, что он пропал всего лишь раз в жизни, но я думаю, что это не так, — говорит

Тацуджи. — Он сделал это дважды. В первый раз — когда уехал из Японии до того, как началась война на Тихом океане. Никто не знал, куда он направился и чем с тех пор занимался, пока он не объявился в этих горах.

— Послушайте, сегодня всем известно, что задолго до войны повсюду в Малайе сидели японские шпионы, работавшие портными, фотографами, владевшие небольшими предприятиями. Только ведь они-то жили — в *городах*, Тацуджи, в местах, имевших хоть какую-то стратегическую значимость для вашей армии. Аритомо жил тут. *Тут!* — я со стуком впиваюсь костяшками пальцев в деревянные перила. — Он спрятался ото всех в своем саду.

— И коли уж на то пошло, — добавляю я, — если он по-прежнему работал на Японию, то почему оставался в Малайе еще долго-долго после конца войны? Почему он так и не вернулся на родину?

Тацуджи молчит, его глубокомысленный взгляд говорит мне, что он с разных сторон изучает мои слова.

— Тацуджи, что вы делали на войне?

Мгновенное замешательство.

— Я был в Юго-Восточной Азии.

— Где в Юго-Восточной Азии?

Он переводит взгляд на цаплю, осторожно выбирающую себе путь среди лап лотоса.

— В Малайе.

— В армии? — Голос мой ужесточается. — Или в Кэмпэйтае?

— Я служил в летной части имперского военно-морского флота. Я был летчиком. — Он слегка отстраняется от меня, и я замечаю, как нелегко ему дается самообладание. — Когда начались воздушные налеты на Токио, мой отец перебрался на свою загородную виллу. Я еще учился в академии, готовившей летчиков. Я был единственным ребенком. Мать умерла, когда я был еще мальчишкой. Я приезжал к отцу всякий раз, когда удавалось получить отпуск на несколько дней.

Он закрывает глаза и открывает их мгновение спустя.

— В нескольких милях от нашей виллы располагался трудовой лагерь. Военнопленных свозили со всей Юго-Восточной Азии работать на угольных шахтах за городом. Всякий раз, когда кто-то совершал побег из лагеря, мужчины в деревне создавали поисковые отряды. Однажды на выходные, когда я гостил у отца, я увидел, как они шли — с охотничьими собаками, с палками и всякими сельхозорудиями. Они делали ставки:

кто первым отыщет сбежавших заключенных. «Охота на кроликов» — так они это называли. Когда беглецов ловили, их приводили на площадь возле деревенской ратуши и били.

Он смолкает, потом добавляет:

— Однажды я видел, как кучка подростков забила пленника палками до смерти.

Долгое время оба мы храним молчание. Он поворачивается ко мне и отвешивает мне такой глубокий поклон, что, кажется, — вот-вот на ногах не устоит, упадет. Снова выпрямившись, говорит:

— Я прошу прощения за то, что мы с вами сделали. Я глубоко скорблю.

— Ваше извинение лишено смысла, — говорю я, отступая от него на шаг. — Для меня оно не имеет никакой цены.

У него плечи будто сводит. Я жду, что он уйдет от павильона. Но он — вот он: стоит, не двигаясь.

— Мы и понятия не имели, что натворила моя страна. Мы не знали ни о массовых зверствах, ни о лагерях смерти, ни о медицинских экспериментах, проводившихся на живых узниках, ни о женщинах, принуждаемых прислуживать в армейских борделях. Вернувшись домой с войны, я отыскал все, что смог, о том, что мы сделали.

Именно тогда у меня появился интерес к нашим преступлениям: хотел заполнить молчание, душившее каждую семью моего поколения.

Продирающий меня до костей холод проникает в кровь: я едва сдерживаюсь, чтобы не потереть руки. Меня грызет что-то сказанное им раньше.

— Те ребята из деревни, — говорю я, глядя ему в самую глубину зрачков, — вы ведь были с ними, когда они истязали узников, так ведь? Вы принимали участие в избиениях.

Тацуджи поворачивается ко мне спиной. Секунду-другую спустя глухо доносится через плечо сказанное им:

— Охота на кроликов.

Начинается слабый дождь, от которого по всей коже пруда побежали мурашки. В ветвях над павильоном какая-то птица знай себе каркает да каркает, повышая голос на три тона. Мне надо рассердиться на Тацуджи. Мне надо попросить его покинуть Югири и никогда больше сюда не возвращаться. К своему удивлению, я испытываю к нему одну только жалость.

Глава 14

Дожди не дали глине, выстилавшей ложе пруда, хорошенько просохнуть, но все же однажды утром Аритомо объявил, что пришло время заполнить пруд.

Мы разровняли последний слой щебня и песка поверх глины: ложе углублялось ближе к шести стоящим камням, которые мы вкопали в центре. За неделю до этого мы направили поток в водосбор рядом с прудом. Орудуя лопатой, я разрушила стенку нижней запруды. Вода хлынула в пруд, собирая воедино уже образовавшиеся в нем лужи. Когда водовороты угомонились, часть неба стала потихоньку воссоздаваться на земле — вода поглощала облака.

— Уровень воды должен быть точь-в-точь, — наставлял Аритомо. — Слишком низко или слишком высоко — и это навредит образу павильона. В нем не будет гармонии с высотой кустарника, высаженного вокруг пруда, или с деревьями позади кустарника, или даже с горами.

— Не уверена, что понимаю.

Взгляд Аритомо перемахнул через пруд.

— Закройте глаза, — велел он. — Я хочу, чтобы вы вслушались в сад. Вдохните его в себя. Отсеките свой разум от постоянного шума в нем.

Я повиновалась ему. Под моими ресницами затрепетал захваченный веками свет и постепенно померк. Тише сделалось журчанье воды, заполнявшей пруд. Я вслушивалась в ветер и воображала, как пролетает он от дерева к дереву, от листа к листу. Мысленно видела крылья какой-то птицы, волнующие воздух. Я следила за листьями, что с самых верхних веток по спирали слетали на поросшую мхом землю. Я вдыхала запахи сада: только-только распустившейся лилии, тяжелых от росы папоротников, коры какого-то дерева, крошащейся снизу под ненасытным приступом термитов и пахнущей пудрой с оттенком сырости и тления. Времени не существовало: я представления не имела, сколько прошло минут. И чем вообще было время, как не просто ветром, что не стихает никогда?..

— Когда вы снова откроете глаза, — донесся откуда-то издалека голос Аритомо, — взгляните на мир вокруг себя.

Взгляд мой заскользил по воде к живой изгороди из камелий, к деревьям, вздымающимся до гор, к горам, уходящим в складки облаков. Взгляд

мой совсем не знал покоя, подолгу оставаясь на чем-то конкретном — нет, он охватывал все сразу. В тот единый миг я поняла, чту он хочет от меня, чту мне необходимо постичь, чтобы стать таким садовником, каким сделал себя он, потратив на это целую жизнь. В первый раз ощутила я себя внутри живой трехмерной картины. Мысли мои выстраивались с трудом, выражая лишь тонюсенькие пласты того, что схватывали мои инстинкты, а потом ускользали.

Из самой своей глубины душа исторгла вздох, в котором слились наслаждение и печаль.

Уровень воды я замеряла ежедневно. Когда она поднялась достаточно высоко, мы запустили в нее лотосы и посадили вдоль кромки берега тростник. Еще Аритомо запустил в воду *кои*[177], купленных у селекционера в Ипохе. Примерно через неделю после того, как мы начали заполнять пруд, он велел мне принести из кладовки с инструментами моток медной проволоки. Я привезла его на тачке и уложила у пруда. Пустив в ход кусачки, он нарезал медь на коротенькие

[177] Примечания: 177

Кои — декоративные карпы (от *яп. нисикигои* — «парчовый карп»). В Японии существует много разновидностей *кои*, но за стандарт приняты всего четырнадцать цветных форм и раскрасок. У нас их называют просто «золотыми рыбками».

проволочки, показал, как из них сплетать шары величиной с кулак, и предоставил мне заниматься этим.

— А зачем они? — спросила я, когда он вернулся, а рядом со мной высилась кучка из четырех десятков шаров, похожих на плетеные мячи *сепак такро*, в которые играют дети в каждом *кампонге* и на каждом школьном дворе.

Он подобрал один шар и закинул его далеко в воду. Медь тут же пошла на дно, распугивая рыбу.

— Медь не дает расти водорослям.

Мы обошли пруд по кругу, разбрасывая медные шары. Уже почти закончили, когда Аритомо остановился и поднял лицо к безоблачному небу. Пальцем дал мне знак молчать, словно я заговорить собралась. Я проследила за его взглядом, но сначала ничего не заметила. Потом высоко-высоко в небе от слепящего полотнища солнечного света отделилась птица и стала быстро снижаться, кругами заходя все ближе и ближе к земле, и скоро я различила цаплю в наряде из дымчатых серо-голубоватых перьев. Прочертив над прудом сияющий ореол, она ринулась вниз, заскользила над водой наперегонки со своим отражением, летя так низко, что мне показалось, будто ее отра-

жение вот-вот вырвется с поверхности на свободу. Взмахнув крыльями, птица приземлилась на мелководье, рябь от нее кругами разошлась по всему пруду.

— *Аосаги*[178], — произнес Аритомо, и в голосе его звучало удивление. — Никогда не видел ее здесь прежде.

— Откуда она прилетела, как думаете?

Он пожал плечами:

— Может быть, из какой-нибудь далекой дали, вроде степей Монголии.

— Может быть, даже из Японии?

Он медленно склонил голову, кажется, отвечая не мне, а каким-то своим мыслям:

— Да, может быть.

В тот вечер, прежде чем отправиться домой, я остановилась у его дома, подойдя к задней двери. А Чон уже шел к своему велосипеду. Он улыбнулся мне. С тех пор, как я помогла его братцу сдаться, он относился ко мне дружелюбнее, а время от времени даже приносил фляжку с водой, когда я в одиночку работала в саду.

— Квай Хун прислал мне это, — сказал он, протягивая мне вырезку из «Стрэйтс таймс» из

---

[178] Примечания: 178

Аосаги — серая цапля (*яп.*).

номера более чем двухнедельной давности. — Что тут сказано?

На фотографии, сопровождавшей текст, были тела К-Тов, убитых полицией: уложены в ряд на полянке среди джунглей перед вертолетом. В разговоре с журналистами Квай Хун отказался назвать сумму полученного им вознаграждения, зато бывший политический комиссар Коммунистической партии Малайи заявил, что использует эти деньги на открытие ресторана.

— Передай своему брату, что я рассчитываю питаться в его ресторане бесплатно до конца своей жизни, — добавила я, когда прочла А Чону заметку. — А ем я одни только морские ушки, лобстеров и акульи плавники.

Домоправитель ухмыльнулся:

— Мистер Накамура ждет вас.

Сад *каре-сансуй* перед домом был закончен месяц назад. Всякий раз при виде его во мне играл радостный дух творца. Я знала, что найду Аритомо там, в саду камней, тщательно выделывающим граблями параллельные бороздки на чистом белом гравии. Он проделывал это каждые несколько дней, всякий раз меняя рисунок и требуя, чтоб я догадалась, что он намерен создать. Сегодня он прочерчивал вокруг камней линии

заостренным концом палки, отступая спиной, чтобы заровнять свои следы. Зазор между каждой линией не был одинаковым: где-то поуже, а где-то и пузырем раздувался. Закончив, он подошел и стал рядом со мной.

— Волны, окружающие гряду островков.

И, уже произнося это, я поняла: ответ неверный.

— Сегодня ничего столь поэтического, — улыбнулся он. — Просто контурные линии гор на карте.

— Цапля все еще на пруду. Похоже, она себе там дом устроила.

— Рано или поздно она продолжит свое путешествие.

— Зачем вы хотели меня видеть?

Он положил палку и предложил последовать за ним в кабинет. Отдал поклон императорскому портрету, прежде чем перейти к стене с картинами. Встал перед ними, оглядывая каждую, медленно поворачивая голову слева направо. Наконец снял с крюка акварель моей сестры и протянул ее мне.

— Вы же сказали, что это подарок.

— Всякий раз, заходя сюда, вы украдкой поглядывали на нее.

Этикет предписывал мне еще несколько раз отказаться от его дара на тот случай, если он передумает, только он был прав: с тех пор, как купить картину не получилось, я страстно желала ее. Протянув обе руки, я взяла у него драгоценный дар. Затем, удивляя самое себя, поклонилась ему, согнувшись почти пополам. Когда я вновь подняла голову, то оба мы сознавали: и он, и я поступили совершенно искренне.

Когда я пришла домой, на веранде стоял Магнус, а под мышкой у него торчал альбом с фотографиями. На столе стояли судки с провизией. Он заметил картину, прежде чем я успела ее спрятать от него.

— Он мне ее отдал, — выговорила я.

— Рад, что она вернулась к тебе, — в его улыбке если и был налет сожаления, то едва-едва заметный. — Ты уже давненько не приходила ужинать. Я подумал, что будет неплохо позаботиться о тебе, — он кивнул на судки. — Эмили приготовила карри из кур. А здесь рис.

— Спасибо ей от меня. Джин *пахит*?[179]

— Звучит *lekker*[180]. — Магнус уселся в плетеное

---

[179] Примечания: 179
Джин пахит — горький джин (*малайск.*).

[180] Примечания: 180
Lekker — зд.: заманчиво (*африкаанс*).

кресло. Я прошла в дом и вернулась с напитками. — Темплер с женой прослышали про сад Аритомо, — сообщил он. — Хотели бы взглянуть на него.

— Он не очень-то рвется принимать у себя в саду визитеров.

— Потому-то я и хочу, чтоб ты поговорила с ним. И потом, это не просто какие-то там визитеры, — сказал Магнус. — Темплер наделен самой большой властью в Малайе.

— Вы уж и размякли, Магнус, позволяя британскому государственному служащему вытирать о вас ноги. Может, и флаг собираетесь спустить? — с усмешкой поддела я его.

— Флаг остается.

— Темплер, не колеблясь, прикажет вам убрать его.

Истории про нового Верховного комиссара стали ходить по всей стране с самого первого дня его назначения. Сюда, на нагорье, их доставляли правительственные чиновники, которые делились анекдотами в военно-торговой службе вооружен-

ных сил Великобритании[181] или в гольф-клубе Танах-Раты. За недели, прошедшие со времени вступления в должность в Куала-Лумпуре, Темплер никому не упускал устроить головомойку, если убеждался в чьей-то некомпетентности, увольнял всех, кого счел несведущими.

Магнус бухнул себя в грудь кулаком:

— Такие, как я, ему еще никогда не попадались.

— Когда он приезжает?

— Мы не узнаем его расписания до самой последней минуты, — изрек в ответ Магнус. — Посещение нагорья станет частью его поездки по «завоеванию сердец и умов людей», как называет это сам комиссар. Мы, разумеется, еще никому о том не говорили. Даже слугам.

— Они узнают, что прибывает какое-то очень важное лицо, стоит только Эмили распорядиться, чтоб почистили столовое серебро.

— Гром меня побей, ты права! — Он усмехнулся. — Лучше предупредить ее.

Он кинул мне через стол переплетенный в

---

[181] Примечания: 181

Военно-торговая служба вооруженных сил Великобритании — британский военторг, учреждение, отвечающее за организацию, снабжение и работу столовых, магазинов и прочих бытовых заведений для британских военнослужащих флота, армии и авиации как на родине, так и за рубежом.

кожу фотоальбом:

— Вот, подумал: может, тебе захочется взглянуть на это.

Фотографии запечатлели все этапы работы в Югири: от самого начала, когда здесь царили джунгли, до того, каким оно стало перед Оккупацией. Я перевернула еще несколько страниц и остановилась.

— Когда вы познакомились с Аритомо?

Магнус потер повязку на глазу костяшкой согнутого пальца.

— Летом 1930-го… нет, 1931-го. Точно: это было в ту неделю, когда Япония вторглась в Китай. Я был в Токио, старался убедить джапов покупать мой чай. Народ ликовал на улицах. Повсюду знамена, транспаранты, демонстрации.

Магнус сделал долгий глоток из стакана.

— Я рассказал чайному брокеру, как сильно порадовали меня сады в городских храмах. И задал ему столько вопросов, что бедный малый краской исходил, когда не мог на них ответить. На следующий день он познакомил меня с Аритомо. Самим садовником императора — я с трудом верил своей удаче! Он устроил мне приватную экскурсию по императорским садам. Они были великолепны. — Магнус умолк и на миг заду-

мался. — Умелый они народ, эти джапы. Чего ж удивляться, что они едва войну не выиграли.

— Вы ими восхищаетесь, — заметила я.

— Да и ты тоже, на свой лад, — парировал он. — Иначе чего б тебе здесь делать?

— Я занимаюсь этим только ради Юн Хонг.

Магнус молча уставился на меня. Я снова принялась рассматривать фотографии. Еще через несколько страниц остановилась и указала на фото: Аритомо дает указания четверым бритоголовым японцам. Те — без рубах, их коренастые мускулистые тела напряжены под тяжестью водяного колеса. Фотограф так рельефно изобразил их решительность, будто готовился отливать по ним статуи в память какой-нибудь рабочей революции.

— Он привез своих соотечественников? — спросила я.

— Пятерых… может, шестерых. Они с год оставались тут, расчищали землю и обучали местных рабочих.

— Странно, правда, что он предпочел перебраться в Малайю… предпочел сделать ее своим домом?

— Вообще-то винить в этом надо меня, — заявил Магнус.

— Что вы имеете в виду?

— Ну так… я пригласил его в гости. Я и не знал, что он влюбится в Камероны, пробыв тут меньше недели. — Взгляд его одинокого глаза заметался по всей веранде, ища подходящее местечко, чтоб успокоиться. — Он тут жил… в этом самом бунгало… когда впервые приехал в Маджубу.

— Он мне об этом никогда не говорил.

Было нечто странное в том, как жизнь Аритомо то и дело соприкасалась с моей: мы походили на два падающих с дерева листка, то и дело задевающих друг друга, кругами снижающихся до лесной подстилки…

— Как и ты, он тоже не захотел остановиться у нас. Я уж сомневаться начал, уж не запах ли какой дурной от нас с Эмили идет. — В рассеянии он принялся почесывать грудь, однако перестал, уловив, что я пристально смотрю на него.

— Ваша татуировка, — сказала я, закрывая альбом. — Это он вам ее сделал?

Он тер стакан пальцами, смазывая бисеринки осевшей на нем влаги.

— Ты так и не забыла?

— Как можно! — воскликнула я. — Так это был Аритомо, верно?

Подозрение все больше и больше разрасталось

во мне с той самой поры, как Аритомо показал мне свой экземпляр *«Суикоден»*. По выражению лица Магнуса я поняла: это правда.

— Дайте мне ее посмотреть.

Он будто и не слышал.

Я уж готова была еще раз попросить, но он принялся расстегивать рубашку. Движения его были размеренными, будто он кнопки из пробковой доски на стене вытаскивал. Остановился, когда рубашка была расстегнута на груди на треть. Треугольник возле горла загорел и морщинился, а кожа пониже выглядела бледной, гладкой и мягкой. Татуировка красовалась прямо над сердцем: она оказалась меньше, чем мне помнилось: прекрасно изображенный глаз, голубизна радужной оболочки которого почти повторяла ту, что окрашивала зрачок самого Магнуса. Фоном служил прямоугольник, составленный, как я поняла, из цветов трансваальского флага.

— Очень досконально, — сказала я.

Магнус, опустив голову, глянул себе на грудь и сбившимся в хриплый комок голосом произнес:

— Я сказал ему, что не хочу ничего чересчур японистого.

Поблескивавшие цвета остались живыми и через много лет…

— Так и кажется, будто он сделал ее совсем недавно.

— Краски он сам смешивал. — Магнус погладил татуировку пальцами, потом посмотрел на их кончики, будто проверил, не окрасились ли они.

— Больно было?

— О *ja*. — Он поморщился от воспоминания. — Он предупреждал меня, но это оказалось хуже, чем я ожидал.

— А зачем вы ее накололи?

— Бахвальство, — бросил он в ответ. — Это вроде медали: отличало меня от других людей. Я вечно чувствовал себя неполноценным… — он тронул повязку на глазу. — В Токио меня сводили в баню. *Jislaik*[182], это надо было испытать! Кругом ходят мужики *kaalgat*[183] с татуировками по всему телу… драконы и цветы… воины и красавицы с длинными черными волосами. Они раздражали меня, те татуировки. И одновременно казались такими красивыми!

— Когда вы сделали наколку?

— Когда он гостил у нас, я рассказал про тату-

---

[182] Примечания: 182

Jislaik — южноафриканское выражение (произносится «йис-лайк»), родственное нашим «во, дела!», «ну и ну!», «то (тот, та, те) еще!».

[183] Примечания: 183

Kaalgat — голозадые (*африкаанс, смягч.*).

ировки, которые видел в бане. Он предложил мне сделать такую, только маленькую, если я продам приглянувшийся ему земельный участок. — Магнус застегнул рубашку и расправил складки. — Цену он предложил мне отличную да еще и в мою плантацию малость денег вложил. Мне это очень помогло: в то время с деньгами туго было.

В лесу затрещал козодой. Впервые со времени переезда в бунгало я услышала эту птицу. Местные звали ее *бурунг ток-ток*, а некоторые даже ставки делали на то, сколько раз издаст она свой характерный постукивающий звук[184]. Птица опять подала голос, и я по привычке принялась считать, заранее загадав про себя число: так я поступала в лагере, когда, лежа на нарах, пыталась отрешиться в мыслях от высасывавших меня комаров и блох.

Я почувствовала на себе взгляд Магнуса.

— Ну как, выиграла? — спросил он, улыбаясь.

— Я никогда не выигрывала, загадывая на *ток-токов*.

---

[184] Примечания: 184

По мнению орнитологов, пение обитающих в тропических джунглях козодоев напоминает либо громкое мурлыканье, либо тарахтение мотоциклетного двигателя на холостых оборотах. Петь (особенно в брачный период) козодои способны долго, едва ли не ночь напролет.

Он встал, собираясь уходить:

— Пусть альбом у тебя побудет. Вернешь, когда вдоволь насмотришься.

Сойдя по ступенькам веранды, я проводила его до «Лендровера».

— А чувство неполноценности — оно ушло после того, как вы наколку сделали?

Он остановился и посмотрел на меня. Старая печаль помутила взор.

— Оно не уйдет никогда, — выговорил он.

Птица *ток-ток* вновь затрещала после того, как Магнус отъехал и звук его машины затих. Я стояла на дорожке, считая трели.

И в очередной раз проиграла, заключив пари с самой собой.

Вся минувшая неделя требовала бо́льших усилий, нежели обычно, а потому субботним утром я сладко нежилась в постели, пока не услышала, как кто-то зовет меня. Рассеянный по стенам спальни солнечный свет поведал, что было около половины восьмого. Я накинула халат и задержала на мгновение взгляд на картине Юн Хонг, прежде чем выйти. Аритомо стоял на веранде, в руке у него небрежно болтался рюкзак.

— А, вот и вы, — сказал он. — У меня птичьи гнезда кончились.

— Торговец лечебными травами в Танах-Рате ими не запасается, — напомнила я ему. — И лавка его в такое время еще не открыта, тем более в субботу.

— Одевайтесь. Поспешите! — Он хлопнул в ладоши. — И оденьте ботинки покрепче. Мы отправляемся в горы.

Мы пошли пешком, держа путь к северу от плантации Маджуба. Далеко на востоке облака кольцом окутали гору Берембун. Вскоре чайные поля сменились невозделанными склонами. На самом краю джунглей Аритомо остановился и, обернувшись, некоторое время пристально вглядывался в путь, каким мы пришли. Оставшись доволен, он ринулся в заросли папоротников. После секундного колебания я последовала за ним.

Трудно описать, на что похоже вхождение в тропический лес.

Взгляд, привыкший узнавать линии и формы, ежедневно видимые в городах и селениях, ошеломлен беспредельным разнообразием побегов, кустов, деревьев, папоротников и трав — и все они рвутся к жизни безо всякого порядка или сдержанности. Мир предстает в единой раскраске, почти одноцветным. Потом, постепенно, начинаешь воспринимать оттенки зеленого: изумруд,

хаки, селадон, лайм, шартрез, авокадо, олива. А когда взгляд пообвыкнет, начинают проявляться и другие цвета, они рвутся занять подобающее им место: стволы деревьев, исчерченные прожилками белого, желтые печеночники и красная росянка в потоках солнечного света, розовые цветы трепещущих вьюнов, обвивающихся вкруг ствола дерева…

Временами звериная тропа, по которой мы шли, совершенно пропадала в мелколесье, однако Аритомо всякий раз без колебаний погружался в растительность и мгновение спустя выбирался из зарослей на другую тропу. Многоголосье насекомых шипело и трещало в воздухе, как жир в коптильном казане. Птицы каркали и свистели, сотрясали высоко над нами ветки, устраивая нам душ из росы. Обезьяны завывали, впадали в наглое молчанье, а потом снова принимались вопить. Широкие вощеные листья наглухо закрывали путь позади нас. К своему удивлению, я убедилась, что мне не составляет труда поспевать за Аритомо: с тех пор, как я стала работать в Югири, выносливости у меня прибавилось.

— А где мы гнезда достанем?

— У симайев, — ответил он, не отрывая глаз от тропки впереди и не замедляя шага. — Куда

дешевле, чем у этих головорезов-китайцев.

Я уже насмотрелась на гнезда в китайских медицинских лавках, их выставляли внутри гладко подогнанных деревянных коробочек рядом с банками сушеных тигровых пенисов и возлежащим на розовом бархате женьшенем.

— Почему симайи продают их вам?

— Во время Оккупации у них возникли нелады с властями, — сказал Аритомо. — Магнус попросил меня им помочь. С тех пор они всегда отдают мне гнезда по хорошей цене.

Деревья кренились под самыми разными углами, будто к земле их притягивали щупальца обвивших их ветви лиан. Промелькнула изумрудная нектарница — зубчик света, не утративший сияния солнца, которого пичуга набралась, прежде чем залететь в джунгли.

Пока мы подымались вверх, Аритомо обращал то и дело мое внимание на растения в мелколесье. Раз он остановился погладить бледный ствол какого-то дерева.

— *Туаланг*[185], — назвал он его. — Они вырастают до двухсот футов[186] в высоту. А это, — он

---

[185] Примечания: 185
Туаланг — менгарис, пчелиное дерево.

[186] Примечания: 186
Свыше 60 метров.

склонился над низким неприметным кустиком и потрепал его палкой, озорно глянув на меня, — то, что малайцы зовут «Тонгкат Али». Его корень, говорят, способен оживить в мужчине увядающее половое влечение.

Если он надеялся взволновать меня, то напрасно: до войны подобные прямые намеки на имеющее отношение к вопросам пола меня смутили бы, но только не теперь.

— Нам стоило бы выращивать и продавать его, — сказала я. — Только представить, какое мы сколотили бы состояние!

Солнце стояло высоко, когда из лесной чащи мы вышли на скалистый склон. Земля тут была голой, если не считать редких всклоченных метелок лаланга. Все это время я воображала, что мы идем к какому-нибудь местному селению коренных жителей, а потому аж присела, когда увидела перед собой врезавшуюся в бок крутого известнякового утеса пещеру, вход в которую охраняли сталактиты.

Аритомо достал из рюкзака пару электрических фонариков и протянул один из них мне, но я отрицательно замотала головой, бормоча:

— Я вас тут подожду.

— Там нечего бояться, — сказал он, несколько

раз включив и выключив свой фонарик. — Я все время буду прямо впереди вас, никуда не денусь.

Сырая, застоявшаяся вонь от птичьего помета накинулась на нас, едва мы вошли в пещеру. Я тут же включила свой фонарик, хотя солнечного света снаружи вполне хватало, чтоб освещать путь на первых шести-семи шагах. Мне стало слышно, как неровно и громко я дышу. Мы обошли изгиб и попали во второй зал. Аритомо протянул мне руку. Поколебавшись чуть-чуть, я взяла ее. Мы стояли на пешеходном настиле, сколоченном из бросовых фанерных досок. Они прогибались, когда мы шли по ним. Тьму пещерной каверны прочеркивали стремительные крылья, отовсюду слышались щелкающие звуки.

— Что это? — прошептала я.

— Эхолокация, — так же тихо ответил Аритомо. — Птицы пользуются ею, отыскивая путь в темноте.

Посветив фонариком вокруг своих ног, я вскрикнула от отвращения. Под досками лежали целые кучи гуано, в которых копошились тысячи тараканов. Вскинула фонарик вверх: луч на ходу выхватил что-то похожее на сеть трещин в стенах. Направив свет повыше, я разглядела, что это многоножки, каждая длиной дюймов в

десять[187], с ножками, торчащими из тоненьких трубчатых тел. Они напоминали мне скелетики косяка доисторических рыб, впечатанные временем в камень. Потревоженные светом, они зашевелились и поспешно скрылись во мраке.

Чем глубже мы забирались в гору, тем шире делался проход и выше становился свод. Дорога то уходила в яму, то вздымалась, изредка выравниваясь. Волнение мое миновало, но я по-прежнему держалась за руку Аритомо. Воздух стал лучше, когда мы вошли еще в один зал, побольше тех двух, уже пройденных нами. Сквозь дыру в своде на высоте ста, если не двухсот футов[188] пробивался свет солнца, освещая каменистый пол. Быстрокрылые саланганы метались в лучиках света, а эхо падающей воды нарушало молчание рудных пластов.

Из глубины пещеры донеслись голоса. Освещенные слабым сиянием фонаря «молния», двое мужчин оранг-асли стояли под бамбуковыми лесами, вглядываясь во мрак свода. Казалось, они не замечали нас, пока Аритомо им не свистнул, отчего в воздух взметнулась сразу стая саланган.

---

[187] Примечания: 187
Более 25 сантиметров.

[188] Примечания: 188
Около 60 метров.

Оба мужчины оглядели нас безрадостно, особенно когда увидели меня.

— Ты не приводить люди, — обратился один из них к Аритомо.

— Она никому не скажет, Перанг, — сказал Аритомо.

— Я даже не знаю, как и выбраться-то отсюда, — убеждала я Перанга по-малайски.

Тот повернулся к стоявшему рядом мужчине, грудь и руки которого были покрыты черными наколками, уже потерявшими свою форму, расплывшимися по коже. Мужчина с татуировками пожал плечами.

— Один раз только, — предупредил меня Перанг. — Ты снова не приходить, *фахам*[189]?

— *Фахам*, — сказала я, кивая.

Их внимание вновь обратилось к темноте над нами. Я проследила за их взглядами, чувствуя, как у меня земля уходит из-под ног. Поначалу я не видела ничего. Постепенно стала различать: по стене пещеры что-то двигалось. Мальчик лет одиннадцати быстро влезал на бамбуковый шест лесов, как муравей на прутик. Он находился на

---

[189] Примечания: 189
Фахам? — Понятно? (*малайск.*).

высоте футов семидесяти-восьмидесяти[190] безо всякой страховочной веревки. То и дело мальчишка останавливался, свисал с рейки, держась одной рукой, а другой рукой срезал со скалы гнезда, бросая их в привязанный к поясу мешок.

— А как же яйца? — спросила я, не сводя глаз с мальчика. Голос мой прозвучал мелко в великолепии пещеры.

— Они таскают гнезда до того, как птицы откладывают яйца, — объяснил Аритомо. — Когда самка обнаружит, что гнездо пропало, она слепит другое. И второе гнездо они ей оставляют, чтоб она отложила яйца. Они никогда не возьмут гнездо, если в нем есть птенцы.

У меня шея затекла от долгого стояния с высоко запрокинутой головой, и я уже позабыла про свои страхи перед пещерой. Мальчик спустился с лесов. Перанг взял у него мешок и присел на корточки возле низкого плоского камня, на который падал сноп солнечного света. Оранг-асли вытряс содержимое мешка на камень. Искорки пыли взвились и заклубились в лучах света. Гнезда, некоторые из которых были укрыты перьями, разнились цветом: от красновато-коричневого до

---

[190] Примечания: 190
Около 18–21 метра.

бледного желто-белого. Формой они напоминали человечьи уши.

Аритомо отбирал только те, что побелее. «Гнезда темного цвета, — зашептал он мне, — вобрали в себя из стен пещеры железо и магний». Он расплатился за них, а когда мы уходили из пещеры саланган, я услышала, как прокричал у нас за спиной Перанг:

— Ты снова не приходить!

Мы расположились на отдых на широком уступе, откуда было видно глубокое ущелье. Я чувствовала облегчение, выбравшись из пещеры. Дышала глубоко, давая возможность холодному влажному воздуху очистить мои легкие от остатков липкой пещерной вони. Напротив нас с вершины пласта низвергался большой водопад: вода, падая, расширялась белым пером, чтоб ветер подхватил и унес ее до того, как она достигнет земли.

Аритомо наполнил две чашки чаем из термоса и подал одну мне. Я вспомнила, о чем меня просил Магнус прошлым вечером. И сказала:

— Верховный комиссар с женой хотят посетить Югири.

— Работа еще не закончена.

— Вы можете дать им взглянуть на уже готовые

участки.

Он мысленно взвесил мое предложение.

— Вы очень упорно работали все последние пять месяцев. Почему бы вам самой не поводить их по саду?

То была первая крупица похвалы, которой он удостоил меня с тех пор, как я стала его ученицей. Меня поразило, насколько мне это было приятно.

— Из меня когда-нибудь выйдет толковый создатель садов?

— Если вы продолжите работать над этим, — сказал он. — У вас нет этого таланта от природы, зато вы вполне убедили меня в своей решимости.

Не зная, как мне реагировать на это, я промолчала.

Мы похожи на двух мотыльков, вьющихся вокруг свечи, подумала я: кружим все ближе и ближе к ее пламени, дожидаясь, когда увидим, чьи крылышки огонь опалит первыми…

— В тот первый день, когда вы пришли ко мне, — заговорил он немного погодя, — вы сказали, что подружились с Томинагой Нобуру. — Взгляд его был устремлен в горы, спина выпрямлена, тело неподвижно. — Чем он зани-

мался в вашем лагере?

— До смерти морил нас работой, — ответила я. — И всех угробил.

Он глянул на меня:

— И все же вы здесь, Юн Линь. Единственная, кто выжил.

— Мне повезло.

Секунду я выдерживала его взгляд, потом отвела глаза.

Из рюкзака он достал пару гнезд и положил их мне на ладонь. Я ощутила хрупкую легкость печений. Странно было держать их в руках так скоро после того, как их оторвали от складки в скале, высоко в пещере. Я подумала о саланганах, как спешат они после охоты к себе в пещеру, уповая на пробуждаемое ими эхо, эти искорки звука, освещающие им путь во тьме — только для того, чтобы бесформенное молчание встретило их там, где когда-то были их гнезда. Я думала о саланганах, и печаль заполняла мне грудь, затвердевая, словно прядки птичьей слюны.

Аритомо указал на небо на востоке. Тучи стеною напирали из-за горы Берембун.

— Завтрашний дождь лежит на горизонте.

Взгляд мой прошелся от одного конца гор до другого.

— Как думаете, они останутся навечно?

— Горы? — откликнулся Аритомо, словно бы этот вопрос ему уже задавали прежде. — Они исчезнут. Как и все вообще.

Глава 15

Через две недели после того, как мы с Аритомо забрались в пещеру саланган, в пятницу утром, без нескольких минут десять, черный «Роллс-Ройс», зажатый между двумя «Лендроверами», остановился перед Домом Маджубы. Магнус с Эмили вышли приветствовать Верховного комиссара на дорожку за порогом, и я присоединилась к ним, закрыв дверь, прежде чем собаки успели в нее проскочить. Страж-гурка стоял, вытянувшись в струнку. Восемь полицейских-малайцев высыпали из «Лендроверов» и образовали проход до самого входа в дом. Сэр Джеральд Темплер[191]

[191] Примечания: 191

Сэр Джеральд Роберт Темплер (1898–1979) — британский военачальник, отлично проявивший себя на фронтах Второй мировой войны, фельдмаршал (1956). С 1952 по 1955 г. — Верховный комиссар Великобритании в Британской Малайе, где ему удалось переломить ход партизанской войны и значительно снизить ее накал. Основа успеха Темплера — переход к политике, которую он охарактеризовал как «завоевание умов и сердец населения». Так, он полностью уравнял в гражданских и экономических правах все национальности Малайи, в том числе национальные меньшинства, чем лишил повстанцев одного из главных пропагандистских козырей. Всем добровольно сдавшимся повстанцам гарантировалась амнистия и немедленное восстановление в правах. Из контролируемых повстанцами районов выселялось местное население, запасы продовольствия вывозились или уничтожались. Для лишения партизан продовольствия широко применялось использование гербицидов, уничтожающих хозяйственные культуры.

Именно такая стратегия (уже после ухода Темплера с поста Верховного комиссара) привела к окончанию войны в конце 1950-х гг.

вышел из «Роллса» и помог выйти жене. Верховный комиссар оказался худощав, среднего роста, лет пятидесяти с чем-то, он был одет в походный френч цвета хаки и того же оттенка брюки с отутюженными стрелками, ухоженные усы изгибались к уголкам рта. Взгляд его вцепился во флаг, обернувшийся вокруг шеста на крыше, а уж потом — в Магнуса. Я уловила блеск у Магнуса в глазу: он наслаждался иронией пребывания Темплера в Маджубе.

— Нам и впрямь нужно, чтоб побольше британских чиновников приезжали сюда выразить свое почтение, — прошептал он мне, когда мы шагнули вперед приветствовать чету Темплеров. Эмили ткнула его локтем в бок.

— Добро пожаловать в Маджубу, — произнес Магнус, пожимая руку Темплера.

Верховный комиссар повернулся к стоявшей рядом с ним женщине:

— Моя жена, Пегги.

— Мы слышали, что вашу плантацию стоит посетить, — произнесла леди Темплер.

Магнус, не теряя времени, приступил к осмотру: нетерпеливость Темплера уже стала притчей во языцех. Мы прошли за ним до Двенадцатого участка, выбранного потому, что склон там

не был слишком крут, но и оттуда открывался один из красивейших видов на покрытые чаем долины. Офицер полиции, высокий, средних лет, отстал от группы и пошел рядом со мной.

— Томас Олдрич, главный инспектор[192], — представился он. — Вы ведь дочь Тео Бун Хау, верно? Мне передали, что вы покажете нам джапский сад. Вы здесь на отдыхе?

— Я тут живу, — ответила я, будучи в полной уверенности, что перед поездкой Верховного комиссара спецслужба открыла досье на каждого из нас в Маджубе.

Небо было безоблачным, а ясный воздух наводил на свет сияющий глянец. Периодически со дна долины порывом вздымался ветер, скользя по верхушкам деревьев. Верховный комиссар с женой легко шли по изрезанной колеями дороге к домам рабочих. Ограда в десять футов[193] высотой и колючей проволокой поверху окружала селение. Два малайца из «домашней гвардии», обученные Магнусом, встали «смирно» и отдали честь Темплеру. На бельевых веревках трепы-

---

[192] Примечания: 192

Главный инспектор — должность-звание руководителя (шефа) специальной службы.

[193] Примечания: 193

Около 3,5 метра.

халась линялая постиранная одежда. Курицы бегали по следам желтых пушистых цыплят, прыснувших кто куда при нашем приближении. Сидевшая на корточках возле одного из домов старуха махнула нам рукой, ее жирное тело выпирало меж полотнищами сари. Невидимые руки как будто массировали ее пышное лицо, пока она медленно, в безотчетном ритме жевала свой бетель[194]. То и дело она пускала изо рта прямо перед собой на землю кроваво-красную струю сока плодов ареки.

— Ваш отец был исключительно полезен в переговорах о *Мердека*, — сказал Олдрич. — По-моему, у Малайи есть хорошая возможность стать независимой в ближайшие несколько лет.

— Вы говорите увлеченно, — заметила я. — А ведь независимость может означать конец вашей работе.

— Вас, китайцев, *Мердека* страшит больше, чем нас, белых, — криво усмехнулся он.

Сказанное им было правдой, особенно в отношении получивших английское образование

[194] Примечания: 194

Бетель — традиционная жвачка народов Юго-Восточной Азии, Малайи, Индонезии и Африки, состоящая из листьев растения бетель, плодов пальмы ареки и извести. Обладает стимулирующим и наркотическим действием.

пролив*ных* китайцев, или «королевских китайцев», как мы сами себя называли. Мы уже видели, как движения за независимость обращались в насилие в Индии, Бирме и Голландской Ост-Индии, было немало страхов, что такого же рода бытовое насилие еще и Малайю разорвет на части. Не будучи уверены в том, как нам будет житься при правлении малайцев, мы предпочитали, чтобы страной управляли британцы, пока Малайя не окажется готовой к независимости. Когда такое произойдет — ни у кого желания гадать не было.

— К-Ты говорят, что они тоже сражаются за независимость, — сказала я.

— Забавно, верно? Если бы Малайе дали *Мердека*, то вся пропагандистская почва мгновенно была бы выбита из-под их ног. — Олдрич кивнул в сторону Темплера. — Вот потому-то он так жаждет, чтобы Малайя стала независимой как можно скорее. Это будет смертельным ударом для коммунистов. В любом случае, после того как мы бросили всех вас на произвол джапов, имеем ли мы хоть какое-то право на власть?

Магнус на ходу изложил Темплерам очень краткую историю нагорья, поведав, как Уильям Камерон исследовал горы верхом на слонах.

— Как Ганнибал, переходящий через Альпы, —

выпалил он, и у Эмили белки глаз закатились, словно пара рыбок, перевернувшихся, чтобы погреть на солнышке свои брюшки.

— Люди считали, что я умом тронулся, когда взялся за плантацию, — Магнус кинул быструю улыбку в мою сторону. — И они были правы. Я с самого начала попал под чары этого великолепного растения. — Он сорвал с куста ярко-зеленый побег, потер его пальцами и передал жене Верховного комиссара. — Эти — выведены из растений, впервые найденных в восточных Гималаях. За век до того, как родился Христос, один китайский император уже знал про них. Он называл это пеной жидкого нефрита.

— Тот император, что открыл чай, после того, как несколько листочков упали в горшок, в котором он кипятил воду? — вмешался Олдрич. — Так ведь это просто миф.

— Что ж, *я* верю в него, — резко возразил Магнус. — Какой другой напиток пьют в таком многообразии форм такое множество народов вот уже больше двух тысяч лет? Тибетцы, монголы и племена центральноазиатских степей, сиамцы и бирманцы, китайцы и японцы, индийцы и, наконец, мы, европейцы.

Он умолк, погруженный в свои чайные меч-

тания.

— Все пьют его: от воров и нищих до писателей и поэтов, от крестьян, солдат и художников до генералов и императоров. Войдите в любой храм, взгляните на подношения на алтаре — и вы поймете, что даже боги пьют чай. — Он поочередно оглядел каждого из нас. — Когда англичане выпили свою первую чашку чая, они обрели решимость выпить за неизбежное падение Китайской империи.

У Темплера зарделось лицо, и его жена легонько тронула его за локоть.

— Все же, — заговорил Олдрич, — вы не можете отрицать, что Китай грандиозно нажился на продаже чая по всему свету.

Почему-то тоненькая острая улыбочка, будто колючей проволокой обвивавшая его слова, вызывала во мне ощущение, что он намеренно подстрекает Магнуса.

— Верно, поначалу так и было, — ответил тот. — Только поток серебра в Китай в обмен на чай стал поводом для тревоги: слишком много денег уходило на радости файф-о-клока. Вот англичане и отыскали способ, как развернуть этот поток в обратную сторону. Знаете, как они это сделали?

— Лао Кун… — предостерегла мужа Эмили. И

бросила молящий взгляд на меня: мол, уйми его! Но я только беспомощно пожала плечами.

— Опиум, — ответил Магнус на собственный вопрос. — Опиум с полей Ост-Индской компании в Патне и Бенаресе. Продаваемый в Китай, чтобы уравновесить отток серебра из казначейства Англии. И вот Поднебесное Царство сделалось нацией пристрастившихся к опиуму — из-за тяги англичан к чаю.

— Вы несете чушь, — бросил Олдрич.

— Ой ли? Вы, англичане, вели войны с Китаем дважды… дважды!.. чтоб отстоять свое право продавать опиум. Гляньте в учебники истории: они называются Опиумными войнами — на тот случай, если вы их пропустили.

— Может, продолжим наш осмотр? — обратилась ко всем Эмили, оттеснив Магнуса и встав перед ним. — Вы должны увидеть детские ясли наших рабочих.

Взяв Эмили в переводчицы, Темплеры задержались в яслях, разговорившись с пожилой женщиной, которая приглядывала за младенцами, пока их матери собирали чай. Малыши спали в полотнищах для сари, свисавших на веревках со стропил. То и дело одна из женщин мягко подталкивала эти коконы.

Верховный комиссар оставил женщин и обошел селение, заглядывая в окна хижин рабочих и проверяя состояние строений. Магнус, казалось, попусту не тревожился: он не был исключительно заботливым работодателем, но знал наверняка, что с его рабочими обращаются хорошо. Он был строг с ними, муштровал их и вычитал из зарплаты за любую нерадивость, нарушавшую производительность производства. И, в отличие от некоторых каучуковых плантаций, где я побывала, тут не бегали детишки с подозрительно светлой кожей.

Мы терпеливо ожидали, пока Верховный комиссар поговорит с работавшими на склонах сборщицами чая, горстями отправлявшими листья в свои корзины. Темплер настоятельно пожимал руку каждому рабочему или работнице, которых видел на плантации, и желал выслушать, какие напасти они переживают во время Чрезвычайного положения.

— Ваш брат молодцом держится, мисс Тео, — сообщил Олдрич, когда остальные ушли немного вперед по дороге к фабрике. — На службе ему трудновато пришлось.

— Трудновато? — у меня вырвался язвительный смешок. Кьян Хок был одним из немногих

китайцев, служивших инспекторами в малайской полиции, и мой отец использовал все свое влияние, чтобы продвигать сына по карьерной лестнице. То же самое он делал и для меня, пока меня не уволили.

— После того как джапы сдались, те, кого законопатили в Чанги, отказывались иметь дело с теми, кто сбежал, вместо того чтобы оставаться на посту. На вашего братца часто смотрели как на одного из тех, для кого война была легкой и удобной.

— Вы, похоже, более терпимы, — заметила я, — невзирая на то, что сами пережили.

Взгляд его затуманился.

— Странно, правда — как это происходит, что люди вроде нас с вами всегда узнают друг друга. Я год пробыл в Чанги, прежде чем джапы отправили меня на строительство железной дороги.

— Вам повезло, что вы выжили.

— Что касается везения, то вы, несомненно, превзошли всех, кого я знаю. Единственная уцелевшая из всего концлагеря! Местоположение этого лагеря неизвестно до сих пор, — во взгляде его не было ничего от той теплоты, с которой он улыбался. — Должен признаться, что я нашел

ваше обращение в РПВСАЗ[195] интригующим… и весьма кратким.

Секунду я не могла сообразить, о чем он говорит. Но тут же вспомнила про обращение, которое направила военному ведомству по реабилитации попавших в плен военнослужащих союзных армий и заключенных концлагерей, когда лежала в госпитале.

— Сообщать мне было особо не о чем.

Я увидела, как ушедший далеко вперед Магнус поглядывает на нас. Олдрич махнул рукой, показывая: мол, идите дальше, не ждите нас.

— Между прочим, с этим Квай Хуном вы фантастически сработали, — сказал он. — Он уверял нас, что не сдался бы, если б не вы.

— Еще он говорил, что покажет вам, где Чинь Пен прячется.

— К сожалению, лагерь был уже брошен к тому времени, когда наши люди добрались туда. Однако мы полагаем, что он по-прежнему где-то в этих краях, — сказал Олдрич. — Их военное ру-

---

[195] Примечания: 195

РПВСАЗ — организация по реабилитации попавших в плен военнослужащих союзных армий и заключенных концлагерей. Создана в феврале 1945 г. при штабе Восточного командования британских вооруженных сил для освобождения и реабилитации попавших в плен или в лагерь на территориях боевых действий против японской армии. Просуществовала до августа 1946 г., оказав за это время помощь 223 250 бывшим военнопленным и заключенным.

ководство… люди вроде Чинь Пена… используют Камеронское нагорье как свою штаб-квартиру, так сообщает наш информатор.

— Идите же и схватите их, если вам известно, что они тут!

Олдрич, сощурившись, оглядел долины.

— Вы представляете себе, какое множество там свободных бунгало, шале, хижин и лачуг? Мы не в силах обыскать все или следить за каждой из них. Когда до нас и вправду доходят слухи о какой-нибудь встрече, они всегда успевают удрать в джунгли до того, как мы нагрянем.

Я не могла понять, зачем он мне рассказывает все это. Уголком глаза я заметила, что Магнус с Темплерами уже прошли внутрь фабрики. Экскурсия по Югири шла по расписанию следующим номером.

— Этот человек… наш информатор, — продолжал Олдрич, — упомянул, что кто-то с плантации Маджуба помогает К-Там: снабжает продуктами и деньгами. Возможно, даже информацией.

— Кто это?

— Наш человек не знает.

— Любой из здешних рабочих мог бы им помогать, — сказала я. — Стража не в состоянии контролировать их постоянно. Магнус просил,

чтобы прислали больше констеблей. Никто не удосужился ответить на его просьбы.

— У Магнуса Йоханнеса Преториуса репутация человека, умеющего обращать в свою пользу самые неблагоприятные обстоятельства.

— Вы это о чем?

— Его не интернировали во время Оккупации. И он не дал Маджубе попасть джапам в лапы.

— Аритомо ходатайствовал за него.

— Накамура Аритомо, — вновь блеснула эта его тоненькая улыбочка. — А-а, разумеется. Я удивлен, что Трибунал по военным преступлениям *его* дело не рассматривал.

— По-вашему, Магнус помогает К-Там?

— А почему нет? Не очень-то он расположен к британцам, верно?

— На то у него есть свои причины.

— И К-Ты никогда не нападали на Маджубу, — поднял Олдрич указательный палец. — Ни разу.

— Тут еще многие фермы не подвергались нападениям, — отвергла его предположение я. — Если главари коммунистов и впрямь используют Камероны в качестве своей базы, как вы сказали, для них смысла нет нападать на нас, так ведь? Внимание им ни к чему.

— Кое-кто из плантаторов платил К-Там от-

ступные, чтобы они держались подальше от их земли, — сказал Олдрич.

— Эти слухи носятся с первых дней Чрезвычайного положения, — отмахнулась я. — С чего это у вас такой интерес к Магнусу? Вы располагаете доказательствами, что он откупается от К-Тов?

— Нам бы хотелось, чтобы вы держали глаза открытыми на любую необычную деятельность на этой плантации и сообщали нам, если заметите или услышите что-то, что нам следует знать, — заявил Олдрич. — Держите нас в курсе того, что затевает Магнус.

— Хотите, чтоб я шпионила за ним?

Улыбка на лице шефа спецслужбы осталась неизменной.

— У вас идеальное положение, чтобы помочь нам, мисс Тео. Вы живете здесь уже… сколько?.. пять месяцев? Шесть? Вы — часть здешнего пейзажа. Приехать сюда, чтобы учиться под руководством джапа, — это так необычно, так, да будет позволено мне сказать, вызывающе. Никто не заподозрит вас в том, что вы работаете на нас.

Я прибавила шагу, уходя от него, но он остановил меня:

— Еще у спецслужбы есть интерес и к вашему джапу-садовнику. Нам весьма любопытно знать,

что он здесь делает. Мы же не хотим, чтоб его пришлось депортировать, не так ли?

— На каких основаниях?

Как я ни уговаривала себя не поддаваться запугиванию, приходилось бороться с поднимавшимся в душе страхом. При Чрезвычайном положении куча законов наделяла силы безопасности почти неограниченной властью в делах, имеющих отношение к мятежу.

— О, не стоит беспокоиться. Я уверен, мы что-нибудь придумаем.

— Тогда я подожду, когда вы именно это и сделаете.

Повернувшись, я широко зашагала к чайной фабрике, предоставив ему следовать за мной.

За время, проведенное в Югири, я стала понемногу ощущать, что сад в какой-то мере стал и моим. Показывать его другим, в нем не работавшим, уже представлялось мне надругательством над чем-то личным, что я разделяла только с Аритомо. Я была последней, кто вышел из машины, когда мы прибыли к входу в Югири. Я не ждала от себя такого внутреннего протеста против того, чтобы вести их в сад, и почти надеялась, что увижу Аритомо, который только и ждет, чтобы дать нам от ворот поворот.

— Ну так что, двинемся дальше? — выказал нетерпение Темплер.

Я дотронулась до деревянной таблички на стене, потом распахнула дверь.

Проследовав за мной в Югири, все умолкли.

Свет в саду выглядел мягче, задушевнее, а воздух четче — от стрелок желтеющих листьев бамбука. Повороты дорожки вносили разлад не только в нашу способность ориентироваться, но и в наши воспоминания, и уже через несколько минут мне показалось, что мы позабыли о мире, из которого только что пришли.

Леди Темплер с Эмили залопотали от изумления, когда дорожка вывела нас к краю пруда. Увидев сад по-новому — глазами этих людей, я еще раз убедилась в мастерстве Аритомо. Шесть поднимавшихся из воды узких камней напоминали мне пальцы, тянущиеся за волшебным мечом, брошенным в пучину вод. На какой-то миг я даже с недоумением подумала, отчего Аритомо не последовал совету в *«Сакутей-ки»* и не ограничил число камней пятью, как это он сделал в саду камней перед его домом.

— Пруд называется *Усугумо*, — сообщила я. — «Облачная дымка».

— Странное название для пруда, — заметил

Верховный комиссар.

— Посмотри на воду, — посоветовала ему жена.

Ветер угомонился, и облака на водной глади походили на отражения лиц, заглянувших в колодец.

— Умну, — сказал Темплер.

— Я все собиралась спросить вас, что означает «Югири»? — обратилась ко мне леди Темплер.

— «Вечерние туманы».

— Название еще более очевидное, нежели «Облачная дымка». Должна признаться, я ожидала чего-нибудь более неопределенного.

— Югири — это персонаж из «Повести о Гэндзи»[196]. — По вежливому выражению на лице леди я поняла, что она понятия не имеет, о чем я говорю. — Он был сыном-первенцем принца Гэндзи.

— Как интересно. А павильон? У него тоже есть имя?

— Аритомо еще не решил, какое для него выбрать.

Верховный комиссар достал из сумки, которую

---

[196] Примечания: 196

«Повесть о Гэндзи» — роман, одно из величайших произведений японской классической литературы XI в., авторство которого приписывается Мурасаки Сикибу, придворной даме императрицы Сёси.

нес его помощник, «лейку».

— Простите, мистер Накамура запретил любую фотосъемку в этом саду, — предостерегла я.

Раздраженно глянув на меня, Темплер тем не менее сунул фотоаппарат обратно в сумку.

Аритомо ожидал нас возле своего дома, одетый в темно-синюю длинную рубашку из хлопка и в серые *хакама*. За исключением тех случаев, когда мы занимались стрельбой из лука, я никогда не видела его в традиционном японском одеянии.

— Как это мило с твоей стороны, Аритомо, позволить нам увидеть твой сад, — произнесла Эмили, держась ко мне поближе.

Он улыбнулся ей:

— Ты — всегда здесь желанный гость, Эмили.

— Ты тут много чего изменил, — заметил Магнус, присоединяясь к нам через минуту.

Аритомо отдал поклоны ему и чете Темплеров.

— Надеюсь, вы вполне довольны таким гидом, как Юн Линь.

— Она чудесна, — отозвалась леди Темплер, — такая знающая и увлеченная.

— У меня требовательный учитель, — сказала я, глядя на Аритомо.

— Павильон очарователен, — продолжила леди Темплер. — Вам и в самом деле следует назвать

его как-то по-особенному…

— «Небесный Чертог», — произнес Аритомо.

Я удивленно посмотрела на него. Он коротко кивнул мне разок.

— Как это… *по-восточному*. Но ваш дом! — воскликнула леди Темплер, устремив взгляд мимо Аритомо. — Можно подумать, что мы находимся где-то в Японии.

— Так вы и есть садовник Хирохито? — спросил Темплер.

— Это было давным-давно, — ответил Аритомо.

Олдрич сам представился Аритомо и прибавил:

— Некие японские гражданские лица разъезжают с паломничеством по стране, посещая места, где их войска воевали против наших ребят.

Свет, казалось, придал остроты взгляду Аритомо.

— Кто они такие?

— Они называют себя «Ассоциация по возврату наших павших героев», или как-то не менее дико пафосно в том же духе, — сообщил Олдрич. — Они запросили полицейское сопровождение для защиты во время своих поездок, но у нас и так не хватает людей, чтобы еще и этим заниматься. С

вами они не связывались?

— Я не виделся и не беседовал ни с кем, кто прибыл с моей родины с тех пор, как закончилась война.

— И никогда не бывали на родине?

— Нет.

Верховному комиссару предстояло посетить и другие фермы на нагорье, и леди Темплер отвела нас с Аритомо в сторонку, когда они покидали Югири.

— Почему бы вам не создать сад для нас, мистер Накамура? — она взглянула на него с надеждой. — После того, что мы увидели сегодня утром, лужайки Королевского Дома, где мы живем, кажутся ужасно скучными.

— В данный момент своей жизни я сохраняю интерес только к работе в собственном саду, — ответил Аритомо, его угловатые, резкие слова плотно заполнили пространство между нами, не оставив места ни для чьих попыток убедить его передумать.

— Слыша такое, испытываешь разочарование.

Леди помрачнела, затем с улыбкой обратилась ко мне:

— Но вам-то ничто не помешает устроить для нас сад, не так ли?

— Когда Аритомо решит, что я готова, — ответила я, — ваш сад будет в числе первых, за которые я примусь.

— Я не дам вам забыть об этом обещании, милая девушка, — сказала леди.

И повернулась к Аритомо:

— А вы непременно должны открыть свой сад для публики! Стыд великий — держать нечто, столь прекрасное, только для себя самого!

Я пристально следила за Аритомо. Печаль омрачила его взор.

— Югири навсегда останется личным садом.

Прохлаждаясь на веранде, я все раздумывала, отчего известие о колесящих по стране японцах обеспокоило Аритомо. Я достала свой дневник, полистала страницы, еще раз просматривая газетные вырезки, мельком проглядывая массу сведений, записанных бегло и небрежно. Вдруг из дневника выскользнул голубенький конверт и упал на пол. Я подняла его, оглядела.

Я никогда и никому не говорила об истинной причине: почему я пошла работать в Трибунал по военным преступлениям, даже своему отцу или брату Хоку. Я выискивала сведения, которые позволили бы мне отыскать свой лагерь, и надеялась, что должность помощника научного

сотрудника даст мне возможность поговорить с японскими военными преступниками, которых судили в Малайе. Вдобавок я нашла японку, согласившуюся подучить меня языку.

Обычные правила судебной процедуры не очень строго соблюдались во время слушаний по военным преступлениям. Трибунал придавал значение неподтвержденным сведениям, принимал косвенные доказательства и те, что основывались на слухах, если эти сведения давали жертвы японцев. Я опрашивала японских офицеров и протоколировала их показания, но еще и вставляла свои собственные вопросы — о том, не знают ли они чего-либо о моем лагере. Я тщательно следила, чтобы все дела, по которым я работала, были выстроены так, чтобы военные преступники никогда не получали помилования. Мои цепкость и упорство производили впечатление на обвинителей, зато здоровье мое ухудшалось из-за бесконечных проверок любого найденного мною свидетельства и непременного моего участия в каждом допросе, на который я могла попасть. Я убеждала, упрашивала и запугивала пострадавших, не желавших давать показания против японских преступников. На такой работе, естественно, невозможно оставать-

ся беспристрастной. Бывали времена, когда я, вспоминая страх и боль, через которые довелось пройти, не в силах была продолжать читать документы. В таких случаях приходилось заставлять себя продолжать тщательно просеивать сведения в поисках того единственного, что я искала.

Однако ни разу не попалось мне упоминание о лагере, куда заточили нас с Юн Хонг.

Когда я ушла из Трибунала, чтобы готовиться к учебе, то завела дневник. Что-то во мне все еще сохраняло надежду, что я, возможно, найду ответы на свои вопросы.

Я посетила капитана Хидеёши Мамору в день, когда его должны были повесить. Смертный приговор ему вынесли за зверскую расправу над двумя сотнями китайцев-сельчан в Телик-Интане, рыбацком селении на западном побережье Малайи. Уцелевшие очевидцы свидетельствовали, что он отдал приказ своим солдатам загнать сельчан в море. Когда вода дошла несчастным до пояса, солдаты открыли по ним огонь. Вода до того наполнилась кровью, рассказывал мне один житель селения, что ее пятна с песчаного берега были смыты только после семи приливов и отливов.

Надзиратель-сикх привел меня к забранной

металлическими прутьями клетке Хидеёши. Японец лежал на деревянных нарах, свернувшись в клубок. Он встал, увидев, что я подошла. Взмахом руки я отпустила сикха. И сказала заключенному:

— А вы внешне спокойны, не то что некоторые другие.

— Не обманывайтесь, мисс Тео, — бегло ответил Хидеёши по-английски.

Я припомнила: в его досье говорилось, что военное образование он частично получил в Англии. Стройный худощавый мужчина лет сорока с небольшим, он отощал еще больше от невзгод войны, как и каждый из нас.

— Я перепуган… о да, очень сильно. Но у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться. Хотите знать почему?

— Почему?

— С самого первого дня, как только я увидел вас входящей в зал суда, я понял, что долг свой вы исполните досконально. Я понял, что меня подвесят.

— Повесят, — поправила я. — А не подвесят.

— Для меня — никакой разницы, — сказал он. — Вы были в одном из наших лагерей, да?

— Да, я *была* в японском лагере.

Именно так, слово в слово, я отвечала другим людям, которых помогала отправить к палачу. И знала, каким будет следующий вопрос Хидеёши. Все заключенные, до единого, с которыми я разговаривала, неизменно задавали один и тот же вопрос, узнав, что я была в заключении. Хидеёши меня не разочаровал.

— И куда вас послали? — спросил он. — В Чанги? На Яву?

— Лагерь был в Малайе, где-то в джунглях.

Хидеёши встал с нар и, шаркая ногами, поплелся к прутьям.

— Лагерь был скрытым?

От него несло застарелым потом, но я все равно подошла на шаг поближе. А он продолжил:

— Все остальные заключенные были убиты, да? Как же это вышло, что вы — одна-единственная, кто выжил?

— Вы слышали про этот лагерь? — прошептала я.

— Только слухи… как это малайцы их обзывают?

— *Хабар ангин*[197].

— Вести, намаранные на ветре, — он кивнул. —

---

[197] Примечания: 197
Хабар ангин — слухи, «вести на ветре» (*малайск.*).

Я и впрямь слышал о тех лагерях, да.

— Расскажите мне о них все, что знаете, — мне с трудом удавалось говорить ровным голосом.

— Что вы готовы сделать для меня взамен?

— Могу поговорить с кем-нибудь из вышестоящих, возможно, добиться пересмотра вашего дела.

— Какие же основания вы предъявите? — спросил Хидеёши. — Свидетельства против меня были преподнесены суду блистательно. Блистательно!

Он был прав: мое вмешательство с целью защитить его выглядело бы в высшей мере подозрительно. Я оглядела коридор: я должна была выяснить все, что он знал. Я была обязана это сделать! За все годы после лагеря это был единственный, дошедший до меня обрывок сведений.

— Если я напишу письмо сыну, — произнес он, — обещаете мне отправить его? Не вскрывая. Без цензуры?

— Если я поверю, что сказанное вами — правда, то да. Обещаю.

— То были всего лишь слухи, — повторил он, словно бы забеспокоившись, что посулил чересчур много.

Я смотрела на него в упор.

— «Кин но йури», — произнес он, а потом пере-

вел, хотя я уже поняла, что это означало: «Золотая лилия»[198].

— Это мне ни о чем не говорит, — сказала я, повысив голос.

С другого конца коридора надзиратель-сикх посмотрел на меня. Я сделала ему знак, что все в порядке.

— Это название носили места такого рода, куда заслали вас, — выговорил Хидеёши. — Вам бы полагалось больше моего знать про это, если уж вас держали там.

«Это все, что ему известно, — поняла я, — все, что он мог сообщить». Надежда, вспыхнувшая во мне совсем недавно, надежда, что еще кто-то знает о том лагере, испарилась. Я отошла от прутьев клетки.

— Вы не намерены выполнять наше соглашение, — сказал он, — верно?

Развернувшись, я пошла прочь.

И вернулась к его клетке через полчаса.

Он открыл глаза и поднял голову, когда я оклик-

---

[198] Примечания: 198

«Золотая лилия» — есть сведения, что главой этой тайной организации император назначил своего брата, принца Ясухито Чичибу. Считается, что большинство тех, кто знал о местах, где спрятаны сокровища, погибли во время войны или позже были осуждены союзниками за военные преступления и казнены либо заключены в тюрьму. Генерал Ямашита был осужден военным судом армии США и казнен в начале 1946 г.

нула его по имени. Просунула ему меж прутьев то, что нужно для написания письма, и отошла к стене. Оперлась на нее и следила за тем, как он писал. Прошло совсем немного времени, он подошел к прутьям и передал мне письмо, запечатанное в голубенький конверт. Он посмотрел на мою руку, руку, на которой не хватало пальцев. И сказал:

— Вы должны забыть все, что случилось с вами.

Адрес на конверте был написан по-английски и по-японски.

— Сколько лет вашему сыну?

— Одиннадцать. Эйдзи было три… почти четыре, когда я видел его в последний раз. Он меня не вспомнит.

Я взвесила конверт на ладони:

— Я думала, оно потяжелее будет.

— Сколько бумаги нужно, чтобы сказать сыну, что я люблю его? — отозвался он.

Глядя на него — человека, по чьему приказу было убито целое селение, я горько печалилась о нем.

О нас.

Когда явились надзиратели забрать Хидеёши, он попросил меня пойти с ним. Я замялась, по-

том кивнула. Шагая по коридору, мы проходили мимо других заключенных в клетках. Некоторые из них встали за прутьями по стойке «смирно», отдавая честь Хидеёши. А тот смотрел прямо перед собой и беззвучно шевелил губами.

Когда мы вышли на двор позади тюрьмы, небо рвало на полосы кровавое полотнище заката. Хидеёши остановился, поднял лицо вверх, вдыхая свет первых вечерних звезд. Надзиратели подтолкнули его к лесенке на площадку с виселицей и поставили под петлей. Накинули веревку ему на шею и затянули петлю. Хидеёши оступился, но сохранил равновесие. Один из надзирателей протянул повязку для глаз. Хидеёши отрицательно повел головой.

Буддистский монах, назначенный вести службы во время таких казней, принялся молиться, перебирая большими пальцами четки, в два ряда обвивавшие ему пальцы, по мере того, как молитвы фраза за фразой исторгались из его горла. Это бубнящее занудство захлестнуло меня. Мы с Хидеёши смотрели друг на друга, пока со скрипом не распахнулся люк и он не провалился в пропасть, видимую одному только ему.

Воздух огласился воем сирены, возвещавшей конец рабочего дня. Этот вой вырывал меня из

толщи моих воспоминаний. У себя в комнате я несколько минут рассматривала акварель Юн Хонг. Чувствовала, как мной овладевает тревога — предвестница того отчаяния, в которое, случалось, я погружалась иногда до того, как приехала на нагорье. Я чувствовала неизбежность приближения таких приступов, когда они начинали обволакивать горизонты моего сознания…

Я надела жакет, обмотала шею шарфом и направилась в Югири. Целые груды облаков застряли во впадинах между горных хребтов. У пруда Усугумо я остановилась и задержалась. Сейчас, когда пруд был наполнен, сад казался больше, и я осознала, что это жидкое зеркало — еще одна форма *шаккея*: заимствования у пространства для создания еще большего пространства. Камни и щебень, которыми мы выложили пруд, ушли под воду. Я с глубоким удовлетворением сознавала, что мы все сделали, как надо, пусть результаты наших усилий и незаметны. Затопленные камни придавали воде особый характер, словно бы делали ее старше, осмысленнее, глубоко прячущей свои тайны.

На мелководье стояла на одной ноге серая цапля, прихорашивалась. Замерла, поглядела на меня и вернулась к созерцанию самой себя в

воде. Почему-то цапля осталась — она всегда возвращалась в пруд после того, как отсутствовала день-другой.

Воздух полнился громким стрекотом сверчков. Мое внимание привлекло какое-то движение среди древовидных папоротников на противоположном берегу. Я напряглась, изготовившись, если понадобится, бежать. Через секунду из папоротников выскользнул Аритомо. Я вздохнула, расслабившись. Как и цапля, Аритомо остановился, пристально глядя на меня через водную гладь. Потом пошел прямо ко мне.

Сумерки увлажняли воздух водянистой дымкой, отягощая каждый листик в саду печалью осознания того, что еще один день закончился. Аритомо остановился рядом со мной, оперся на свой посох, разглядывая цаплю. Впервые с тех пор, как я узнала его, меня поразила мысль: а ведь он уже не молод.

— «Пруд, что сторожит водная птица, принесет мир дому», — пробормотала я вспомнившуюся строчку совета из *«Сакутей-ки»*.

Складки пролегли в уголках его улыбки. Миг, не измеряемый временем, я смотрела прямо ему в глаза, а он смотрел на меня с той же пристальностью, с какой прицеливался в мишень прямо

перед тем, как спустить тетиву.

Над самыми высокими горами истаял в небе остаток дня.

— Небесный Чертог… Юн Хонг была бы в восторге.

— Я рад.

Цапля хлопнула крыльями раз, другой, стряхивая с них оцепенение, и звуки эти отозвались эхом далеко среди деревьев. Когда птица взлетела, капли воды полетели с ее ног и засияли на поверхности пруда перекрещивающимися браслетами.

Высоко над нами, выше цапли, что-то двигалось, привлекая наше внимание. Мы оба разом подняли головы к небу. Аритомо указывал ручкой своего посоха и стал похож на пророка в древней земле. В самом отдалении восточной части неба, где уже наступила ночь, проносились прожилки света. Поначалу я не поняла, что это такое, зато когда поняла, с губ моих сорвался окутанный в туман вздох!

То был метеорный шквал: незримые лучники из дальней дали Вселенной пускали стрелы — и те вспыхивали и сгорали, пробивая атмосферный щит. Сотнями сгорали они на полпути, ярче всего сияя перед тем, как сгинуть…

Мы стояли, запрокинув головы, наши лица, устремленные к небу, освещали древний свет звезд и гибнущие огоньки, высеченные кусочками неведомой планеты, распавшейся давным-давно.

Я забыла, где я, через что прошла и что я утратила.

— Мой дед учил меня названиям планет и звезд, — заговорил Аритомо. — Мы часто сидели с ним ночами у него в саду, разглядывая эти крохи света в телескоп. Дед очень гордился им, своим телескопом.

— Скажите мне их названия, — попросила я. — Покажите мне их.

— Здесь звезды другие.

Взгляд его вновь скользнул по небу, а мне оставалось только гадать: будет ли утрата, звучание которой я уловила в его голосе, сопровождать его до конца жизни.

— В одном из устроенных им садов, — вновь заговорил, немного подумав, Аритомо (он все еще глядел в небо), — мой дед использовал только белые камни. Совершенно белые, они почти светились. Он уложил их, зеркально повторив рисунок созвездий, которые любил больше всего: Веяльная Корзина, Орудие Скульптора, Пурпур-

ная Запретная Ограда[199] — эти названия, слетая с его губ, звучали как дары небесному своду над нами. — Он хотел, чтобы люди, посещающие его сад, чувствовали себя словно бы ходящими по ночному небу.

Поток падающих звезд иссяк, но небо продолжало источать яркое сияние, как будто оно сумело удержать свет метеоров.

Наверное, это свечение застряло не в небе, а у нас в глазах, в нашей памяти.

— Моя *амах*[200] когда-то предупреждала меня, что они, эти метеоры, — дурные знамения, — сказала я. — *Сох па синг* называла она их, «звезды на помеле», сметающие все удачи человека. Я всегда возражала ей: как может такое прекрасное нести дурное?

— Мне они напоминают о наших летчиках-*камикадзе*, — проронил Аритомо. — Мой брат был одним из них.

Секунды тянулись одна за другой, пока я заговорила:

---

[199] Примечания: 199

Китайское звездное небо совершенно отличается от европейского. Названия созвездий, их конфигурация и расположение совершенно иные (за исключением некоторых совпадений).

[200] Примечания: 200

Амах — горничная (*малайск.*).

— Он пережил войну?

— Он был в первой группе летчиков, ставших добровольцами.

— Что заставило его пойти на это?

— Семейная честь, — ответил Аритомо.

Это оправдание, так часто слышанное мною от пленных японцев, всегда претило мне.

— Это не то, о чем вы думаете, — продолжил он. — Наш отец скончался вскоре после того, как я покинул Японию. Шицуо возложил вину за его смерть на то горе, которое я причинил нашей семье.

Он поворошил гравий на берегу кончиком своего посоха.

— До того, как я встретил вас, до того, как вы пришли сюда, я никогда не знал никого, кто в Оккупации потерял друзей или родных. О, я знал о людях, над которыми измывался мой народ: мужчины и женщины в деревнях, здешние рабочие, даже Магнус с Эмили. Только я держал себя выше всего этого. Я держал себя подальше ото всего, что было неприятным. Я заботился только о моем саде.

Первые вечерние звезды только стали появляться, слабые и робкие, словно пораженные недавним половодьем света. Глядя в пустоту, я

чувствовала, что готова стоять тут, пока наступит рассвет, вращаясь вместе с землей, наблюдая, как звезды выписывают свои загадочные узоры по всему небу.

Аритомо протянул руку и коснулся моей щеки — всего разок, легонько. Я поймала его за пальцы, притянула его к себе и поцеловала. Он оторвался первым и проскользнул мимо меня, исчезая в тени, которую отбрасывали деревья. Я обернулась и смотрела ему вслед, пока он направлялся обратно к дому. Он замедлил шаг, потом и вовсе остановился.

Некоторое время я ничего не делала, стояла все так же неподвижно. Потом пошла к нему, и уже вместе, в молчании, мы зашагали к его дому, а наши дыхания стали облаками, обожженными светом звезд.

Глава 16

В два часа ночи я перестаю вести записи. Не хочу видеть того, что навспоминала на всех этих страницах за значками слов. Только они там: сжались, притаились за камнем у меня в мозгу, поджидают, когда смогут опять выползти.

Положив ручку на стол и отодвинув кресло, я раздвигаю дверь и иду по затемненной веранде к фасаду дома.

Мир вокруг покрыт инеем лунного света. Взялся было верещать козодой, но почти сразу смолк. Жду, когда птица опять заурчит, но ей, видно, не до меня. Потирая кисти затекших от писанины рук, вспоминаю, как после того вечера с Аритомо, у пруда, я частенько вскидывала вверх лицо, словно была под открытым ночным небом. Увы, никогда больше не видела я ничего подобного — ливня падающих звезд, застилающего небо…

Я позабыла про капитана Хидеёши Мамору.

Память о встрече с ним вернулась ко мне по ходу записей. Я хотела остановиться, но вместо этого выпустила из-под пера всю историю целиком. Я в ужасе от того, что возвращаюсь в

памяти к собственным словам. Неужто я была настолько бесчувственной, чтобы поправлять ошибку в речи человека, которого вскоре должны были повесить? «Подвесить», «повесить» — какая разница?!.

Будучи судьей, я рассматривала и гражданские, и уголовные дела. Приговаривала людей к смерти за убийство, торговлю наркотиками и бандитизм. И всегда испытывала гордость от своей беспристрастности, своей объективности, а вот теперь раздумываю: что, если и то, и другое было проявлением омертвевшей души?

Прежде чем вернуться в дом, вновь смотрю в небо.

Звезды спокойны и недвижимы.

Ни единый огонек не сместился со своего места на вековечной карте.

Профессор Тацуджи в последние несколько дней больше времени проводит в саду. Мы мало разговаривали после нашей беседы в Небесном Чертоге неделю назад. Я позволила ему бродить по Югири, но он, похоже, далеко от дома не забирался. Несколько дней примечаю его около павильона: просто стоит, заложив руки за спину. Хочу, чтоб он закончил исследовать оттиски как можно скорее, но почему-то вид историка,

устремляющего взгляд на воду, не вызывает во мне желание подгонять его. Не раз заставала его разглядывающим небо, словно разыскивающего что-то среди облаков.

Мне не дает покоя мысль: есть ли правда в подозрении Тацуджи, будто Аритомо в Малайю направил его император?

Ответ неуловим, как тушь в воде.

Сегодня утром перехватила А Чона, когда тот выходил из кухни, неся на подносе чай с лепешками.

— Я отнесу ему.

Когда я вхожу в рабочую комнату историка, все внимание Тацуджи сосредоточено на оттисках, разложенных на столе. Бамбуковые занавески подняты, солнце так разогрело кедровое дерево пола, что тот обжигает мне ступни, когда я иду по нему босиком. Книжка стихов Йейтса лежит на столе. Тацуджи продолжает разглядывать какую-то ксилографию. Лишь мимолетно кинул взгляд, когда почувствовал, что я вошла. За миг до того, как он отвел глаза, я успеваю заметить: глаза его полны скорби.

Потоптавшись немного, ставлю поднос рядом с гравюрой, изображающей какое-то малайское селение. Селение это, похоже, находится где-то на

восточном побережье. Что в этой картине такого, гадаю я, что так привлекает его?

Он прокашливается несколько раз, прочищая горло.

— Все они без названия. Я расположил их в хронологическом порядке. — Тацуджи переворачивает лист и указывает на вертикальную строку японской надписи на обороте. — Это датировано пятым месяцем двадцатого года *Шоува джидай,* Эры Просвещенного Мира.

Я знала, что каждая эра в японском календаре соответствует правлению какого-нибудь императора.

— Когда Хирохито стал императором?

— На Рождество 1926 года. А значит, Аритомо написал это в 1945-м. В мае 1945-го.

— За три месяца до того, как Япония сдалась.

Мысленно я вижу картинку: Аритомо сидит тут, в Югири, гравюру делает, тогда как я — все еще узница. И оба мы не ведаем друг о друге, не ведаем, что придет день и наши дорогу сойдутся…

Протягиваю руку и беру оттиск со стола. На пляже ряды каракатиц сушатся на деревянных рамах. Позади них кокосовые пальмы кланяются друг другу, их листья выгравированы до того тонко, что я едва ли не слышу, как шелестят они на

соленом ветру. Всю эту сценку Аритомо поместил внутрь контура большой каракатицы, покрыв внешние кромки совмещенными оттисками каракатиц поменьше, выписанных просвечивающейся синей краской: тени на тенях.

— Древние китайцы называли каракатицу Писцом Океанского Бога, потому что она носит тушь в своем теле, — бормочу я. — Что-то такое Аритомо мне однажды рассказывал. Качество оттисков подходит для вашей книги?

Тацуджи опять прочистил горло.

— Большая часть из них — да. Не так хороши, как работы Канаоки[201], конечно. Так ведь, полагаю, с теми ничьи не сравнятся.

Я смотрю на него, и он поясняет:

— Канаоку помнят за реализм в творчестве. Конь, нарисованный им на стене дворца, говорят, по ночам выходил живой и скакал по поросшей травой земле под осенней луной.

— Некоторые из оттисков пострадали от сырости.

— Даже будь они все в клочках, я хочу, чтобы люди увидели их. Они войдут в мою книгу — с вашего позволения, разумеется.

---

[201] Примечания: 201

Косэ-но Канаока (работал во второй половине IX в.) — один из основоположников первой настоящей школы японской живописи.

Он вновь пристально рассматривает гравюру с рыбацким селением и произносит, смягчив голос:

— Это в первый раз, когда я вернулся с войны.

— Только люди постарше, вроде меня… вроде нас… помнят это теперь, — говорю я.

Он отрывает взгляд от *укиё-э* и смотрит на меня:

— Вам что, нездоровится?

Какое-то время я молчу.

— Вы говорили мне, что были военно-морским летчиком.

Он кивает.

— Вы где базировались? В Баттеруорте? Или Сингапуре?

Мне не дает покоя мысль, что он летел в той, первой волне самолетов, которые бомбили улицы Сингапура и Пенанга. А может, был в эскадрилье, которая потопила «Принца Уэльского» и «Рипалс»[202] у восточного побережья?..

Тацуджи, сощурившись, смотрит в окно, словно заметил что-то на горизонте.

---

[202] Примечания: 202

Британский линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Рипалс» («Отпор») были потоплены в результате налета японских самолетов-торпедоносцев 10 декабря 1941 года. Погибли 840 британских моряков.

— Мы базировались возле рыбацкого селения.

— Где это было?

Я шарю рукой у себя за спиной и подтягиваю стул из розового дерева. Сажусь поближе к нему.

Время тянется долго, он молчит.

Наконец начинает рассказывать — медленно, ровным голосом.

«В то утро, когда мне, по разнарядке, предстояло умереть, шел дождь. Я не спал. Всю ночь дождь несло с Южно-Китайского моря, вода хлестала по тростниковым крышам домиков, где мы квартировали. Сезон дождей уже должен был закончиться, а они все шли — день за днем.

Полковник Терудзен, мой пилот-инструктор, был уже на веранде, смотрел на песчаный берег. Между низкими тучами и морем вспыхивали молнии. «Никаких полетов сегодня», — сказал он, когда я присоединился к нему. Произнес он это с явным облегчением. В тот год ему исполнилось сорок, и я знал, что он переживет войну. И меня это радовало.

Небольшой аэродром располагался возле Кампонг-Пенью, на юго-восточном побережье Малайи. Взлетная полоса шла параллельно берегу. Домики теперь были пусты: из летчиков остались только полковник Терудзен да я.

«Никаких полетов сегодня», — повторил я.

Я проживу еще один день. От чувства облегчения кружилась голова и становилось стыдно. К этому примешивались возрастающее разочарование и неопределенность ожидания.

Долг мне надлежало исполнить более двух месяцев назад вместе с остальными летчиками моей эскадрильи. Шестеро из нас совершили перелет с базы ВМФ на Кюсю до самого острова Лусон в Тихом океане. На военно-воздушной базе Лусона мы провели ночь, а на следующий день, рано на рассвете, покинули ее, чтобы нас не обнаружили американцы. Через час после нашего вылета с Лусона начались неполадки в двигателе моего самолета: он надрывался так, словно ему было невмочь тащить подвешенную снизу пятисотфунтовую[203] бомбу. Эти самолеты не были рассчитаны на то, чтобы нести такой груз. Да и делали их к тому времени тяп-ляп. Я ничего не мог поделать. Война шла уже таким образом, и нашим самолетам отводили в ней роль настолько фундаментальную, что на них даже не ставили рации, чтобы в полете мы не переговаривались друг с другом. Мне оставалось лишь смотреть, как

---

[203] Примечания: 203
Около 227 килограммов.

мои товарищи быстро удаляются, направляясь на юг, к Малайе.

А потом они исчезли.

Я сверился с картой, выискивая ближайшую посадочную полосу, молясь, чтобы чихающий двигатель не заглох. Сорок минут спустя я совершил жесткую посадку на военно-воздушной базе Баколод на филиппинском острове Негрос. Базой служило простое скопище деревянных лачуг, окруженных низкими грядами гор, чьи вершины покрывали штормовые тучи. Единственным признаком жизни был «колдун» — полосатый ветроуказатель, трепыхавшийся по ветру, будто пойманная в силок птица.

Наземная команда состояла из хромающего механика средних лет и его помощника. Я рассказал им, что за нелады у меня с двигателем.

«Сколько времени займет наладить его?»

«Придется подождать, пока двигатель остынет, но, судя по тому, что вы рассказали…» — механик втянул воздух сквозь зубы. Он понимал мое нетерпение: я должен был умереть вместе с моими товарищами по эскадрилье. Мы вместе прошли авиационную подготовку и вместе закончили Имперскую военно-морскую академию. Я не желал отставать от них.

«У нас в мастерской есть старый двигатель «Мицубиси», — сказал механик. — Может, получится снять с него какие-нибудь запчасти. Будем поспешать, насколько сможем».

Он вытянулся по стойке «смирно», когда я почувствовал, что кто-то подходит ко мне сзади. Повернувшись кругом, я впервые за год опять увидел полковника Терудзена. Он сощурил глаза в легком удивлении, и я запоздало вскинул руку, отдавая честь.

«Лейтенант Йошикава, — произнес он. — Как мило с вашей стороны — заглянуть в гости».

«Неполадка с самолетом, сэр», — ответил я, взволнованный его нежданным появлением.

Он глянул на самолет у меня за спиной, взгляд его затуманился:

«Вы были приданы подразделению *токко*[204]?»

«Я… все мы в нашем классе… пошли добровольцами, — сказал я. — Что вы здесь делаете? Я слышал, вы в Токио».

---

[204] Примечания: 204

Токко — японская аббревиатура, обозначавшая подразделения и части, принимающие участие в боевых операциях, требовавших от исполнителей самопожертвования. Такими были, в частности, специальные отряды летчиков-смертников *камикадзе* (*букв. яп.* «божественный ветер»), получивших свое название от тайфуна, который дважды в XIII в. уничтожал корабли монгольской армады на подступах к берегам Японии.

«Обследую наши базы ВВС в Южно-Китайском море, — ответил он, — и докладываю адмиралу Ониши о действенности отправки всех наших молодых летчиков на верную смерть».

Гнев в его голосе был очевиден: он стольких многих из нас выучил…

«Миллион сердец, бьющиеся как одно», — процитировал он девиз пилотов-смертников, который теперь повторяла вся Япония. — Ненужная трата. Ужасная, ужасная трата».

Я был измотан, форма на мне промокла насквозь и прокисла от пота. Я спросил:

«А где все?»

«Последние летчики вылетели вчера. В море Сулу был обнаружен американский конвой, — сообщил полковник Терудзен. — Ожидаем прибытия следующей партии. Скоро вообще, наверное, будут детей присылать. Пойдемте, — сказал он. — Накормим вас завтраком. Командиру можете доложиться попозже. В это время он обычно пьян».

Я проследовал за ним в низкое строение, стоявшее в двух сотнях ярдов[205] от ангара. В комнате не было ничего, если не считать стола да вы-

[205] Примечания: 205
Около 183 метров.

цветшей карты Филиппин, приколотой к стене. Я поклонился фотографии императора. Полковник Терудзен прислонился к дверному косяку и следил за мной, скрестив руки на груди. Потом спросил:

— Вы куда направляетесь?

— На юго-восточное побережье Малайи, — ответил я.

— Кампонг-Пенью? — Он нахмурился. — Я думал, мы оставили ту базу.

— Не могу знать, Терудзен-сан. Я просто следую приказам.

Он подошел ко мне поближе, и я вспомнил наш последний день в Токио. Я принял решение исполнить свой долг, отрешившись от всего, что было нужно мне самому. У меня, уже шедшего путем всех *токко*-пилотов, не было желания, чтоб мне напоминали о тех днях. Я спросил:

— Как Норико?

— Был воздушный налет, — заговорил он, и его лицо стало суровым. — Она была в доме, готовила нам ужин. Уничтожено было все вокруг. Пожары полыхали не один день.

Довольно долго мы стояли молча, потом я подошел и обнял его.

На ремонт двигателя у механика ушло пять

дней, еще три дня они отлаживали его. Я разрывался между необходимостью поторапливать его и стремлением продлить свое пребывание.

Терудзен повел меня на прогулку по окрестным холмам. Больше не было нужды много говорить: мы понимали оттенки молчания друг друга. Что-то новое возникло между нами. И впервые с тех пор, как мы встретились (так много лет назад!), я избавился от бессмысленного ощущения вины. Ночью я лежал без сна и чувствовал его присутствие рядом. Спал он беспокойно. В волосах пробивалась легкая седина, вокруг глаз появилось больше морщин.

Познакомились мы в доме моего отца в Токио. Терудзен был тогда военно-морским советником, направленным надзирать за производством самолетов, которые строил мой отец. Япония только что взяла Сингапур, по всей Азии война велась исключительно успешно. В тот вечер взаимопонимание между нами возникло сразу же, как только я заглянул ему в глаза и отдал поклон. Я задержался подольше, пока отец представлял его другим промышленникам.

Он регулярно приходил обсуждать с отцом детали производства и проектирования самолетов, часто оставался ночевать. Мне было восемна-

дцать лет. Все происходившее вокруг побуждало меня вступить в армию, чтобы защищать нашу родную землю. Легко было поддаться истерии, сладко соблазниться газетными россказнями о героических боевых летчиках. Каждый выпускник школы в Японии мечтал стать военно-морским летчиком.

Пройдя предварительную авиационную подготовку, я подал заявление в Имперскую военно-морскую академию, где преподавал Терудзен. Иногда он приглашал нескольких слушателей из нашего класса к себе домой. Как раз там я впервые и увидел некоторые *укиё-э* Аритомо. В доме была большая их коллекция. «Их создал *ниваси*[206] императора», — сказал он как-то, когда я был у него в гостях один.

— Тот же самый человек, что наколол вам татуировку? — спросил я. Я уже видел у него на спине, над левой лопаткой, изображение пары цапель, летящих по кругу друг за другом. Поначалу она мне была неприятна, но чем чаще я видел наколку, тем быстрее менял свое мнение. Меня только поражало: как мог человек такого уровня, как Терудзен, позволить себя татуировать? И

---

[206] Примечания: 206
Ниваси — садовник (*яп.*).

теперь, воспользовавшись случаем, я спросил его об этом. Терудзен ответил:

— Мы были близкими друзьями.

Что-то в его голосе заставило меня спросить:

— Что случилось?

— Император уволил его. Аритомо уехал из страны несколько лет назад. Никто не знает, куда он делся.

Несколько раз Терудзен водил меня в сады, созданные Аритомо, и рассказывал всякие истории про этого садовника. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю: то были счастливейшие дни в моей жизни. Но, кроме того, это было еще и время, когда я узнал его жену, Норико. Тогда ей уже было за тридцать, ее нежная красота разительно контрастировала с грубоватой жизнерадостностью мужа. Я понял, что должен буду прекратить наши отношения.

К тому времени Япония уже проигрывала войну. Мы все чаще слышали о планах вице-адмирала Ониши по защите нашей страны. Летчиков просили совершать самоубийственные нападения на американские боевые корабли. Таких летчиков называли «вишневым цветом»: они расцветали всего на краткий миг перед тем, как опадали.

После выпуска я получил назначение. Я не говорил о нем Терудзену, пока он не повез меня в Ясукуни — почтить души наших павших воинов. Там, в священной тишине дворика храма, я сообщил, что больше не увижу его.

Даже сейчас мысленно вижу это так ясно — скорбь на его лице. Он закрыл глаза, словно произнося молитву по мертвым, которые были повсюду вокруг нас. Открыв же глаза, он произнес: «Обещай, что мы снова встретимся здесь после войны».

Я согласился, хотя и понимал: этому не бывать. Война свела нас вместе, но как только она кончится, все опять изменится. Ему придется вернуться к Норико. Я поклонился ему и вышел из святилища.

Через десять дней после того, как я совершил вынужденную посадку в Баколоде, мой самолет вновь был готов к перелету на Малайю. Когда я поблагодарил механика, тот глянул на меня, а потом на шагавшего к нам с другого конца взлетной полосы Терудзена.

— Если б у меня хватило мужества, я б раздраконил двигатель так, что его никаким ремонтом не восстановить, — выговорил он. — Слишком уж много было бессмысленных смертей.

— Будь *у меня* мужество, Нага-сан, — сказал я в ответ, — я бы попросил вас сделать это.

Мы поклонились друг другу. Потом, уже уходя, он остановился и обернулся ко мне:

— Я помолюсь за вас в святилище Ясукуни, когда война кончится.

Подошел Терудзен и постучал по фюзеляжу самолета. Металл отозвался слабо и глухо.

— Твой отец советовался со мной по поводу их конструкции, — сказал полковник. — Только не такие самолеты он хотел строить. Они бесчестят вашу фамилию. Они — позор нашей нации.

— Перед войной отец успел построить самые лучшие самолеты, — сказал я. — Но у нас кончились материалы. В нас иссяк дух.

Терудзен обнял меня за плечи:

— Дух в нас никогда не иссякал.

Из своего потрепанного летного костюма я достал листок бумаги и напомнил:

— Вы дали это мне вскоре после того, как мы встретились.

Он взглянул и отвел мою руку со словами:

— Мне это не нужно. Я это знаю наизусть.

— Я хотел бы услышать, как это произносите вы, — попросил я. — Пожалуйста…

— *Я знаю, выпадет судьба погибнуть в чреве*

облаков...[207] — начал он на языке поэта.

То была первая строка стихотворения Йейтса «Ирландский авиатор предчувствует свою смерть». Я закрыл глаза и слушал его, уловив сдерживаемый гнев в голосе, когда он дошел до последних строк[208]. Тогда-то я и понял, что, в отличие от нашего прошлого расставания, я не стану опять пытаться забыть его. Медленно поднял я веки и выговорил:

— Я вел себя по-дурацки в тот день, в Ясукуни, правда? Все это — пустое.

— Но и я повел себя так же, согласившись на твою просьбу.

— И все же мы поступили правильно, в этом я уверен, — сказал я.

Утро было мрачное, «колдун» болтался, как тряпка. С деревьев на краю джунглей поднялась пара цапель. Мы следили, как поднимались они все выше и выше, исчезая в пелене легкого дождя между двумя долинами, держа путь на рай,

---

[207] Примечания: 207

Перевод Игоря Северянина.

[208] Примечания: 208

Я взвесил все, подвел итог,
Сравнив грядущее с былым,
Я вижу маленький кружок,
Где я зачеркнут вместе с ним.

который никогда не откроется мне. Во взгляде Терудзена я видел то же сильное желание, какое ощутил в себе, следя за полетом этих птиц. Я знал, чего он хочет от меня, но никогда не скажет об этом вслух. Я повел головой:

— Я не смогу.

Он опустил глаза:

— Я понимаю.

Я забрался в кабину и пристегнулся.

— Я передам твоему отцу, что встретил тебя здесь, — пообещал он.

— Он порадуется, услышав это, — отозвался я. И закрыл люк, прежде чем смог произнести что-то еще.

Двигатель чихнул несколько раз, потом завелся, неровно заурчал, выбрасывая на ветер клубы черного дыма. Прибавляя газу, я бормотал молитву, чтобы самолет перенес меня через Южно-Китайское море до самых берегов Малайи. Машина двинулась, сдерживаемая висящей под брюхом бомбой: птица, несущая яйцо-зло. Уже почти у самого конца взлетной полосы самолет нехотя задрал нос и оторвался от асфальта. Я сделал круг над аэродромом, не сводя глаз со стоящего на полосе Терудзена. Я поднимался все выше и выше, и жар сдерживаемых слез туманил

мне стекла очков.

До побережья Малайи оставалось девяносто миль, когда мне навстречу выползли дождевые тучи, высокие и темные. Капли дождя, твердые, как пули, разлетались в брызги на козырьке. У меня появилось мучительное ощущение, будто меня преследуют. Я крутился в кресле, осматривая небо сзади, и гадал: уж не американский ли истребитель, обнаружив меня, решил со мной поиграть? В небе было пусто, однако ощущение не собиралось покидать меня. Еще немного, и видимость упала до нуля: если я ничего не видел, значит, и меня никому видно не было…

Самолет раскачивало сшибавшимися потоками ветра и воды. У меня не хватало горючего, чтобы забраться повыше грозы. Я мог лишь держаться нынешнего курса и надеяться, что не врежусь в гору. Я то и дело сверялся с картой, необходимость быть каждую минуту наготове не позволяла мне думать ни о Терудзене, ни об отце.

Вскоре подо мной промелькнули слабые огоньки. Снова справившись по карте, я облегченно заорал. Я добрался до Кампонг-Пенью! Я ринулся с небес к посадочной полосе, однако расположение огней подавало сигнал: состояние полосы таково, что посадка невозможна. Но у меня дру-

гого выхода не было — нужно садиться там, но сначала требовалось убедиться, что посадка не будет стоить мне жизни. Пролетев чуть дальше, я нашел, примерно в миле влево, расчищенную полоску земли. Снизился над ней до бреющего полета и сбросил лишенную взрывателя бомбу, надеясь, что в темноте и потоках дождя она приземлится на что-нибудь мягкое. Освобожденный от этого жуткого груза самолет взвился ввысь. Я развернулся, направившись обратно к аэродрому, стараясь не потерять его из виду из-за грозы. Я сел, колеса затряслись по полосе, вызывая целое половодье. Еще миг — и я угодил в вереницу выбоин. Меня развернуло на полосе. Я услышал, как треснуло шасси. Голова врезалась в стекло, и я потерял сознание.

Очнулся я в скудно обставленной комнате. Какой-то мужчина, стоявший ко мне спиной, разглядывал в окно песчаный берег. Я узнал его и на мгновение подумал, что все еще вижу сон. До меня донесся шум волн. Мужчина обернулся. Я попробовал было сесть, но тут же скорчился от боли.

— У тебя два ребра сломаны, — сказал полковник Терудзен, подходя к моей койке. — Медик-офицер сделал все, что в его силах, жаль, что

ему по силам только самое необходимое. У них отчаянная нехватка всего.

— А мой самолет? — спросил я.

— Наземная команда пытается понять, подлежит ли он восстановлению.

— Вы летели за мной от самого Баколода, — догадался я, припомнив ощущение, будто меня преследовали. Он поднес к моим губам стакан тепловатой воды. Я выпил ее всю, и он отер мне рот своим носовым платком. — Вы сумели сесть целым и невредимым, не то что я.

Вновь мной овладело ощущение, знакомое всякому неудачнику.

— А-а, но ведь того и следовало ожидать. Я же был твоим учителем, в конце концов.

— Кто-нибудь из моей группы еще здесь?

Теплая улыбка засветилась на его лице:

— Лейтенант Кендзи. У него двигатель забарахлил в то утро, когда пришел его черед лететь… три дня назад. Он аж языка лишился, когда меня увидел.

Его улыбка улетучилась.

— Неисправность устранили, и приказ свой он уже получил. Полетит завтра.

— Он моложе меня, — сказал я. — Ребенок еще. *Я* должен лететь первым.

— Ты совершенно не в состоянии вести самолет, Тацуджи! — прикрикнул он.

— Вам не следовало лететь за мной сюда, Терудзен-сан, — сказал я. — Вы нарушили приказ.

— Что сталось с твоим отцом?

Вопрос застал меня врасплох, и я не смог от него уклониться. Только какой смысл было уходить от его вопроса сейчас? Как писал ирландский поэт, «я взвесил все, подвел итог, сравнив грядущее с былым». Мне всего лишь этот миг в настоящем осталось прожить — и в нем умереть. И я медленно рассказал Терудзену, как в последний раз увидел своего отца.

— Как только мое назначение в *токко*-часть было утверждено, я отправился в сельское убежище нашей семьи в предгорьях Гунма-кен[209]. Отец перебрался туда, когда начались воздушные налеты. Токио американцы бомбили сильно, и я был рад увидеть нетронутыми обсаженные кленами аллеи моей юности. Листва готовилась сдаться на милость зимы: не помню, чтоб когда-нибудь видел листья на кленах такими красными — наверное, и на них наложила печать

[209] Примечания: 209

Префектура Гунма находится на северо-западной оконечности острова Хонсю.

кровь войны. Я потянул за шнурок, свисавший у ворот. Мне казалось, я слышу, как дзинькает колокольчик в глубине дома. Несколько минут спустя звякнул отодвинутый засов. Я скрыл потрясение, которое испытал при появлении отца. Он никогда не был здоровяком, но сейчас выглядел особенно нескладным, костлявым, глаза смотрели обеспокоенно. Одет он был в старое серое *юката,* которое теперь ему было слишком велико.

— Ты не предупредил меня о своем приезде, — сказал он.

Довольно долго мы просто глядели друг на друга, как чужие. Потом я сделал то, чего не делал никогда прежде: я обнял его. Он гладил меня по голове, вновь и вновь повторяя шепотом мое имя. Наконец он отпрянул, улыбаясь. Несмотря на нескрываемую радость от нашей встречи, я чувствовал, что что-то неладно.

Мы пили чай на *энгава.* Мы часто так делали, и воспоминания успокаивали, хотя одновременно и пробуждали печаль. Я не ведал, как подступиться к тому, что должен был сказать — о полученном назначении. Некоторое время мы говорили лишь о том, что было до войны, но потом, к моему удивлению, отец сам заговорил о

токко-программе вице-адмирала Ониши.

— Я получил указание строить больше самолетов для войны, — сообщил он. — Не будет иметь значения, если их качество оставит желать лучшего, лишь бы летали. Хватают их сразу, едва успеваем произвести.

Отец с отвращением покачал головой.

— Такова воля императора, — сказал я. — Самолеты помогут нам защититься от американцев.

Слова эти, столько раз слышанные по радио, на сей раз прозвучали *лживо*.

Отец растил меня со дня смерти моей матери, а потому мог понять причину моего приезда, просто заглянув мне в глаза. И он заплакал — беззвучно, с широко раскрытыми глазами. Он был главой одной из крупнейших в стране *дзайбацу* [210], и вид его, плачущего, потряс меня. Я понял: войну мы проиграем.

Я пробыл у отца пять дней. Больше мы вообще не заговаривали о войне. Настало мое последнее утро, когда, проснувшись, я почувствовал вокруг какую-то необычную тишину. Я вышел из дома и нашел отца в саду. Взгляд его был прикован к

---

[210] Примечания: 210

Дзайбацу — букв.: финансовая корпорация (*яп.*). Так называются финансово-промышленные группировки (до Второй мировой войны — концерны) в Японии.

пруду, где когда-то плавали *кои*, а теперь совсем не было рыб. Отец был одет во все белое.

— Где слуги? — спросил я, а он ответил:

— Я отослал их.

Тон, которым были произнесены эти слова, перепугал меня: я как-то сразу понял, почему он оделся в белое и что собирается совершить.

— Не надо, *ото-сан*[211], — сказал я.

Он протянул мне руку. Я взял ее, почувствовав в отце памятную мне твердость. Он сжал мою руку и отпустил ее. Потом пошел в глубь дома. Я побежал за ним, звал его, но он не остановился, не оглянулся. Мы вышли к *каре-сансуй* — саду камней. Он сам его создал. Гравий был разровнен граблями, а на краю прямоугольника из белого песка постелен тростниковый мат. Я узнал лежавшие на нем мечи наших предков: длинный — *катана,* а рядом покороче — *вакидзаси*[212]. На подносе стояла чашка и небольшой кувшинчик с саке.

Отец разглядывал линии на гравии — беззвуч-

---

[211] Примечания: 211

Ото-сан — дорогой отец (*яп.*).

[212] Примечания: 212

Вакидзаси — короткий традиционный японский меч. В основном использовался самураями и носился на поясе в паре с длинным мечом — катаной.

ную рябь, кругами расходящуюся из одной точки в центре. Или то была рябь, возвращающаяся к молчанию? У отца была привычка каждый вечер по возвращении с работы создавать новый узор. Так он отдыхал, отрешаясь от забот. Теперь же пояснил:

— Будда оставил на земле отпечаток своего большого пальца.

— Не делай этого.

Голос мой дрожал, зато отец был спокоен и целеустремлен, как корабль, входящий в безопасную гавань после штормового плавания в открытом море. Он опустился коленями на мат и налил в чашку саке. Меня охватило ощущение, будто я снова учусь летать на своем истребителе, легкие лишались кислорода, так что сознание едва не помрачалось в борьбе с невидимыми силами, приковывавшими небо к земле.

— Жизнь справедлива, ведь верно? — произнес он. — Я строил самолеты, которые уносили сыновей других людей к смерти. Так что приходится уравнивать: мой сын тоже должен умереть. — Он пристально посмотрел на меня. — Пойми, я не вынуждаю тебя не подчиняться приказу. Понимаю и принимаю — тебе необходимо исполнить долг. В ответ и ты должен понять и принять то,

что обязан сделать я.

Некоторое время отец сидел до того неподвижно, что я надеялся (я молился!), что он вообще больше не пошевелится. Уж лучше бы он обратился в камень, чем прошел через *это*. Он взял *вакидзаси* и извлек его из ножен. Отблеск солнца на лезвии заставил меня отвести взгляд.

— Вот, значит, каким будет конец великого семейства Йошикава, — сказал мой отец.

Я удержал его руку, и он произнес так нежно, как всегда произносил, когда хотел меня, еще ребенка, пробудить ото сна:

— Тацу-*чан*[213]… — Боль в его голосе ранила меня больше, чем если б он накричал на меня. — Будет хорошо вновь заснуть мирным сном. Я так устал, сын мой. Так устал.

— *Ото-сан…*

Он взял мою руку, погладил ее.

— У меня была надежда увидеть тебя еще раз, в последний раз, и вот она исполнилась. Чего же больше мне просить? Не оставайся здесь. Уходи.

Я покачал головой:

— Я — твой сын.

Ото-сан кивнул. Держа меч в правой руке, он

---

[213] Примечания: 213
Тацу-чан — тацу-сынок (*яп.*).

распахнул одежду. Дышал медленно, глубоко, смакуя каждый вдох. Сад был погружен в молчание, птицы улетели. Я взял в руки *катана*, приготовившись обрушить его, если боль станет для отца непереносимой, если он утратит решимость.

Но он ни разу не дрогнул.

Мы с Терудзеном оказались на взлетной полосе первыми. Лейтенант Кендзи и командир присоединились к нам несколько минут спустя. Фарфоровые чашечки и бутылка саке стояли на столике перед нами. Я подумал о том множестве прощаний, на которых присутствовал, в первые дни программы-*токко*. Каждый раз мы выпивали по чашечке саке с каждым из улетавших и отдавали им поклон до того, как они усаживались в свои самолеты. Оглядываясь назад, полагаю, многие из нас уже знали, что война проиграна, но сражаться нужно до последнего. Иного пути не было.

На белой *хатимаки*[214], обернувшей голову Кендзи, было нарисовано восходящее солнце, будто ему выстрелили прямо в лоб. Я разлил саке,

---

[214] Примечания: 214

Хатимаки (яп. букв.: «головной сверток») — белая головная повязка, символизирующая у японцев непреклонность намерений и поддерживающая боевой дух.

и мы поклонились в сторону императора в его дворце. Терудзен выпил саке, но кланяться не стал. Мальчишеским, но решительным голосом Кендзи прочел свое смертное стихотворение, отдал нам поклон и забрался в самолет.

— Удачного полета, — пожелал я последнему из летчиков моей эскадрильи.

— Тебе недолго ждать, — прокричал он в ответ. — Увидимся в Ясукуни!

Он взлетел, а я махал ему, пока он не скрылся из виду. И больше его не видели никогда. Никто даже так и не узнал, удалось ли ему нанести разящий удар по американцам. Теперь я был последним оставшимся летчиком. Терудзен взмахнул рукой, изогнулся всем телом и запустил свою чашечку в небо. Он забросил ее так высоко и так далеко, что я даже и не услышал, как она разбилась вдребезги, упав обратно на землю. Когда я снова обернулся, чтобы взглянуть на него, он уже шагал обратно к нашим квартирам…

Мы проводили дни на пляже неподалеку от базы, воспользовавшись как навесом широкими листьями кокосовых пальм. В ясные дни к югу на горизонте виднелись очертания острова Тиоман. Местные рыбаки рассказывали о плававшей по морям в давно забытые времена принцессе

из Китая, которая обратила себя в остров. Мы с Терудзеном вели разговоры о том, что неплохо было бы посетить остров, но море для этого было слишком неспокойным.

— Трудно поверить, — сказал он, указывая на море, — но всего в пятидесяти милях к северу отсюда наши самолеты потопили два британских боевых корабля.

Мои ранения заживали быстрее, чем того хотелось Терудзену. Через неделю после отлета лейтенанта Кендзи мне сообщили, что механик не смог исправить мой самолет. Я видел, какой надеждой горел взор Терудзена, когда он сообщил мне эту весть. Было позднее утро, в небе — ясно. Мы миновали рыбацкое селение с рамами, на которых сушилась на солнце соленая рыба.

— Я должен найти другой самолет, — сказал я.

— Ты дурак! — Впервые за все время нашего знакомства я услышал, как он повысил голос. — Ты и я… нам второй раз была дана возможность того, что мы однажды уже отбросили прочь. Мы больше не связаны долгом ни перед кем.

— Вы хотите, чтоб я стал трусом! Хотите, чтоб я изменил своей клятве и своей чести.

— Ты не сможешь ничего изменить, — сказал он. — Мы проиграли войну. Мы попросту отказы-

ваемся признать это.

— Я не могу личное ставить превыше своего долга, — ответил я.

— Сейчас я прошу… — Терудзен запнулся. — Я прошу тебя превыше поставить то, что нужно *мне*.

Я уставился на него:

— Куда мы подадимся?

Он вглядывался в пустынное море. И наконец ответил:

— Нам незачем подаваться куда-то. Это место вполне подходящее, разве не так? Будем доживать наши дни здесь, вдали от остального мира. Домик на берегу — и бесконечность времени.

Время шло, а я все никак не мог отрешиться от его вводящей в соблазн мечты. На миг я позволил себе перебрать все возможности, что открылись бы передо мной, представить: какую жизнь мог бы прожить. Вспомнил когда-то виденных нами цапель, улетавших в какое-то недоступное прибежище.

Только я знал: это невозможно.

Такое было невозможно…

— Если я не исполню свой долг, смерть моего отца окажется напрасной, — сказал я, пытаясь найти способ объяснить ему свое решение. — Он

согласился с тем, что я должен лететь, и если я этого не сделаю, то в чем тогда был смысл его смерти? — Я умолк, и моя решимость окрепла. — Вот почему я прошу вас дать мне ваш самолет. Бомбовый груз на него можно перенести с моего.

Лицо Терудзена запылало гневом и сделалось до того похожим на лицо моего отца перед смертью, что у меня появилось ощущение, будто война разрушила даже скрепы самого времени. В первый раз Терудзен выглядел сломленным.

— Я не должен был лететь за тобой сюда, — вздохнул он. — Я был эгоистичен. Хотел видеть тебя, хотя бы на то время, что у тебя осталось.

— Моя судьба была вам известна с первого дня, когда вы стали учить меня летать, — мягко выговорил я и тронул его за плечо. — Ее ничто изменить не может.

Самолет Терудзена был двухместным «Йошикава К-41»: одна из ранних моделей моего отца. На фюзеляже был изображен семейный герб Терудзена: пара цапель, летящих по кругу в вечном следовании друг за другом. Он все утро проводил со мной инструктаж, пока самолет переоборудовали для несения бомбы. После того дня на пляже он мало о чем говорил со мной, помимо тонкостей в управлении его самолетом. Однажды, уже

поздно вечером, сказал: «Хочу вместе с тобой еще разок полетать. Дать тебе почувствовать его».

В кабине я действовал рычагами управления, а он сидел позади меня. В первый раз я по-настоящему понял, почему отец стыдился этого, не отвечавшего техническим требованиям самолета, который его вынуждали выпускать в конце войны. По сравнению с моим самолет Терудзена летел плавно и мощно: орел рядом с воробушком. Я вспомнил наш первый совместный полет на учебном самолете в Академии, и великая печаль охватила меня.

— Поднимись выше, — приказал Терудзен. — Насколько только сможешь выше.

Мы забрались за облака, где последние лучи солнца все еще окрашивали небо алым. Мы все летели и летели, а внизу, под нами, земля, вращаясь, входила в ночь. Вскоре над нашим куполом засветились звезды. Я признался: «Однажды, когда я летел в ночном патруле, то никак не хотел приземляться. Меня так и тянуло лететь дальше и дальше, я чувствовал, что в темноте я всегда буду в безопасности».

— Какое ж это было бы чудо — навечно остаться в полете, — произнес он. Голос его звучал тихо, но был отчетливо слышен в остекленной кабине.

Я почувствовал, как его рука стиснула мое плечо, и, потянувшись, накрыл ее своею. Где-то, может, и бились воедино ради какого-то летчика-смертника вроде меня миллион сердец, но вот здесь, в вышине, в ту ночь я слышал и чувствовал биение только двух: его и моего.

Трижды приходили приказы на меня — и трижды их пришлось отменять из-за плохой погоды. Днем 5 августа 1945 года я получил четвертый набор приказов. У побережья Борнео был замечен американский авианосец, шедший на север. Мне предстояло взлететь на следующее утро, в восемь часов. Прогноз обещал погоду ясную и солнечную.

После прощального ужина, устроенного оставшимся личным составом базы, мы с Терудзеном пошли прогуляться по пляжу. Над морем взошла луна. Волны стихли. Терудзен был спокоен и сдержан и все время давал советы, как выжать лучшее из его самолета.

— Не будем больше говорить о войне, — сказал я.

Он глянул на меня и кивнул.

— Расскажите, что будете делать, когда это все закончится, — продолжил я. Мне хотелось заглянуть в ту часть его жизни, которую уже никак не

удастся с ним разделить.

— Меня, видимо, объявят военным преступником и предадут суду.

Я покачал головой и снова попросил:

— Расскажите, что вы будете делать.

Он обратил взгляд в даль моря, догадываясь, чего я от него хочу:

— Я непременно вернусь сюда, к этому острову, и выстрою дом… там, — он указал на местечко под вереницей кокосовых пальм. — Здесь и проживу остаток своей жизни. Каждое утро буду выходить в море на лодке, ловить рыбу и смотреть, как восходит солнце над океаном.

— Это будет хорошая жизнь, — уверил я его.

— Я каждый день буду думать о тебе, — сказал он, глядя на меня.

— Я написал свое смертное стихотворение. Хотите послушать?

— Завтра прочтешь.

Мы снова пошли по берегу. Я не хотел транжирить время на сон, но в конце концов он сказал:

— Ты должен отдохнуть. Когда полетишь завтра, тебе понадобится острота всех твоих реакций.

— Сегодня ночью я хочу быть здесь, на пляже, — сказал я.

— Ложись спать. Я разбужу тебя.

Я улегся на прохладный сырой песок. Звезды казались такими близкими — рукой подать. Только и оставалось, что руку за ними протянуть. Вместо этого я взял его руку и держал ее, не отпуская даже тогда, когда стал проваливаться в сон.

Когда я проснулся, его не было. Было почти без десяти восемь, солнце стояло уже высоко. Я бегом бросился обратно к базе, кляня себя. «Йошикава К-41» стоял на взлетной полосе, двигатель его изрыгал дым в воздух. Мои часы показывали двенадцать минут девятого. Я остановился перевести дыхание, а потом понесся к самолету. Времени не оставалось: авианосец скоро выйдет из пределов досягаемости.

«К-41» двинулся вперед. Я не верил глазам! Двигатель прибавил обороты, и самолет начал выруливать к началу взлетной полосы. Сквозь стекло фонаря я видел лицо Терудзена. «К-41» вырулил и замер. Нескончаемо текло время, пока он смотрел мне в глаза. Мигнул раз и улыбнулся. Рука его поднялась, ладонь раскрылась, будто он мог, невзирая на расстояние, коснуться меня. Я понял, что кричу ему, кричал, пока не охрип, хотя в тот момент вовсе ничего и не слышал.

Он опустил руку. Самолет накренился вперед,

затем стал набирать скорость. Я всю свою силу без остатка отдавал ногам, чтоб поспевать за ним. Я сменил направление, надеясь перехватить его на половине полосы, хотя и знал, что это невозможно. «К-41» оторвался от земли. Я упал, сумел подняться, не отрывая взгляда от Терудзена, пока он делал низкий круг над аэродромом. У меня нет сомнения, что взгляды наши встретились — в последний раз.

Он завершил круг и ринулся в направлении солнца.

И в то же мгновение небо изменило цвет. Оно сделалось совершенно белым, а потом разметалось на полоски багрового, пурпурного и фиолетового. Я крепко зажмурил глаза, но свет все равно проникал, ослепляя меня. И только несколько недель спустя я выяснил, что американцы сбросили свою первую атомную бомбу на Японию. В ту секунду, когда Терудзен взлетел вместо меня, чтобы броситься в погоню за кораблем — война, в сущности, закончилась.

Вот так и получилось, что я стал вишневым цветом, который так и не осыпался на землю. Я был спасен приказом молчаливого императора, которого поражение наделило голосом. Мне было двадцать два года, когда завершилась война и

император Хирохито, первым из Божественных Существ, обратился к своему народу по радио, заклиная нас признать поражение и «стерпеть нестерпимое».

Как же он был точен! Я стерпел».

Еще долго после того, как Тацуджи перестал рассказывать, мы сидели с ним в молчании. Он не притронулся к своему чаю. Я тоже. Взгляд его вновь обратился на *укиё-э* с изображением рыбацкого селения.

— Я уже старик, старше, чем был Терудзен, когда вылетел в то утро, — говорит он. — Как только эта книга об Аритомо будет завершена, я собираюсь вернуться в Кампонг-Пенью. Я купил там клочок земли: именно то место, о котором говорил Терудзен. И там я непременно выстрою дом — такой, какой Терудзен хотел для нас.

Он как будто давал обет.

— И на сей раз… на сей раз я уже больше никогда не покину его.

— Когда война кончилась, вас интернировали?

— В Сингапур. Заставили работать, вместе с сотнями других. Мы убирали обломки с улиц, прочищали сливы каналов, восстанавливали поваленные линии электропередачи. После того как меня переправили домой, я ушел с военного

флота.

Он довольно неловко поднимается на ноги.

— Я больше никогда не посещал святилище Ясукуни. Никогда не ездил в Военный музей в Кагосиме, где можно посмотреть и потрогать самолеты, которые использовали *токко*-пилоты, самолеты, поднятые со дна моря. Мне никогда не хотелось любоваться на них, — говорит он. — Для меня тот берег, вполоборота Земли от Японии — единственное место, где дух Терудзена сможет обрести мир.

— Что вы будете там делать? — спрашиваю я, как он когда-то спросил человека, которого любил — и все еще любит.

— Каждое утро, на рассвете, — отвечает он, и взгляд его устремлен в дальнюю даль, — я буду выгребать на маленькой лодочке в море. Буду ставить ее носом к месту, где в последний раз видел самолет Терудзена, и ждать, когда взойдет солнце.

Глава 17

В присутствии других людей Аритомо не изменил своего отношения ко мне. Были в нем заповедные уголки, куда, я понимала, доступ мне не будет позволен никогда. Порой, когда мы работали в саду, я ловила его на том, что он пристально разглядывал меня, храня на лице задумчивый вид. Он никогда не отводил глаза в сторону, встречаясь с моим взглядом, а продолжал смотреть.

После относительного затишья К-Ты активизировались, убив всего за месяц более трехсот мирных граждан. Складывалось впечатление, будто теперь они вели охоту на женщин и детей. На одной каучуковой плантации застрелили двухлетнюю девочку, игравшую с домашним поваром. Плантатору с женой устроили засаду на основной дороге: террористы убили женщину, но ее мужа оставили в живых. Всего за неделю до этого пять К-Тов зашли в сложенную из бурого железняка церковь в Танах-Рате во время утренней мессы и убили ведшего службу француза-священника. Женам плантаторов и шахтеров,

которые поклялись оставаться в Малайе со своими мужьями, советовали собрать пожитки и уехать с детьми, и некоторые семьи европейцев на Камеронском нагорье так и сделали.

Темплер причислил районы, кишевшие К-Тами, к «черным областям», где вводилось жесткое нормирование продовольствия и тягостный комендантский час, которые сделали жизнь населения настолько несносной, что люди прекращали оказывать поддержку коммунистам. Несмотря на крутые меры, список «черных областей» резко расширился, число их превысило количество «белых областей», бывших полностью свободными от проникновения К-Тов. Это напоминало мне древнекитайскую игру *го* с ее черными и белыми камнями, в которую Аритомо иногда играл со мной, окружая мои фишки, чтобы обратить их в его цвет.

Лежа ночью у себя в постели, я слушала, как армия забрасывала минами и снарядами какой-нибудь лагерь К-Тов в соседней долине. Были ночи, когда я вставала и выходила на веранду. Небо вздрагивало от разрывов, освещенное этим противоестественным «северным сиянием». Магнус называл его «Авророй экваториалис».

Вернувшись однажды ночью из Югири, я по-

шла вокруг, к тыльной части бунгало. Задней дверью я стала пользоваться, чтобы не торчать мишенью-силуэтом на фоне входной двери, когда зажигаю свет. Я уже собралась переступить через порог, когда из-за деревьев появилась какая-то фигура и наставила на меня пистолет.

— В дом! — рявкнул мужской голос. — Быстро!

В кухне горел свет. Я сощурилась. Все окна были плотно закрыты занавесками. За маленьким обеденным столиком уже сидели трое. Из них одна — женщина: на несколько лет моложе меня, с жесткой худобой во всем теле, короткие волосы подстрижены кое-как. Мужчинам было лет около тридцати или чуть больше. Форма цвета хаки на них была грязной, три жухлые красные звездочки на их фуражках выглядели каплями запекшейся крови. Мужчина с пистолетом толкнул меня на стул, толкнул довольно сильно: я едва не полетела на пол.

— Забирайте, что хотите, съестное, — сказала я. — В кошельке есть деньги.

Женщина встала, подошла ко мне. Медленно выговаривая каждое слово, произнесла по-английски:

— Заместитель государственного обвинителя Тео Юн Линь.

— Уже нет, — усмехнулась я. — Вам следовало бы следить за событиями.

Она ударила меня по щеке.

«Ничего, — сказала я себе, превозмогая боль, — тебе не привыкать к побоям».

Минуту спустя звон в ушах затих, я услышала, как хлопает крылышками мотылек, вьющийся вокруг кухонной лампы. Взгляд мой метался по комнате, отыскивая хоть какое-нибудь подобие оружия, что угодно, чем можно было воспользоваться. На столе лежал номер «Еженедельника плантатора», только, в отличие от Аритомо, я не знала, как пустить его в ход.

Женщина подошла к кухонной стойке и включила радиоприемник, настроив его на местную китайскую станцию. Кухню заполнила песня, известная баллада «Е Лай Сян»[215], которая когда-то нравилась моей матери, хотя она и не понимала слов.

— Всякий раз, когда слышу это, думаю о своей сестре, — сказала женщина. — Когда-то она ее все время пела. Ее звали Лю Фунг. Это из-за тебя ее в Китай выслали.

— Разве в Китае не идет все так, как вам нра-

---

[215] Примечания: 215

«Е Лай Сян» — «Аромат, приходящий ночью» (*кит.*). То же имя дано сорту чая из китайских улунов.

вится?

Один из мужчин направился ко мне. Я мысленно велела себе держать тело расслабленным, тогда боль будет не так чувствительна. Это старый трюк, которому я выучилась в лагере. Только все равно было больно. Он бил меня, пока я почти потеряла сознание, когда песенное завывание подошло к концу. Кровь залила мне глаза и капала с подбородка. Я смутно слышала, как К-Ты обшаривали кухонные шкафчики и полки, набивая мешки всем, что под руку попадется.

Женщина вернулась и ногой выбила из-под меня стул. Левым плечом я ударилась о доски пола. Она села рядом со мной на корточки. Заплывшими глазами я увидела в ее руке нож. Я попыталась откатиться в сторону, но она ухватила меня за коленку и подтащила обратно к себе. Я билась ногами, как бешеная, и один удар пришелся ей в подбородок. Она всхлипнула, подняла нож и всадила его мне в бедро. Я завопила и тут же услышала, как издалека донесся еще один голос — голос, в котором я узнала свой же собственный, вопящий откуда-то из целой жизни тому назад.

Тонкие белые занавески колыхались над подоконником. Все было белым: стены, потолок, даже доски пола. Женщина в койке на другой

стороне палаты тихо постанывала про себя. За дверью в коридоре слышалось бормотанье. Взвизгнули колеса проехавшей каталки. Заметив, что я проснулась, сестра вышла из палаты и через несколько минут вернулась с доктором.

— Вы в больнице Танах-Раты, — сообщил мне доктор.

Я помнила его по одному из *браай,* «мясных вечеринок», у Магнуса. Тео… нет, так меня зовут. Йео. Доктор Йео.

— Вы потеряли много крови, — продолжил он. — Этот джап-садовник пошел вас отыскивать, когда вы не явились на работу. Если бы не он…

— Сколько я уже тут?

Голос мой звучал как-то странно.

— Два дня, — ответила сестра, помогая мне сесть в постели.

Лицо у меня было все в бинтах, как у мумии. Дотронувшись до него, я поняла, что оно распухло. Вокруг бедра — повязка, в том месте, куда террористка ударила ножом.

Позже, одновременно с Магнусом и Эмили, пришел субинспектор Ли из полицейского участка Танах-Раты. Руки у меня были голые, и я лихорадочно шарила вокруг в поисках перчаток. Магнус залез в карман и подал их мне.

— Женщина, ударившая вас ножом, значится как Вонг Мей Хуа, — сказал субинспектор Ли после того, как я рассказала о произошедшем. — Мы слышали, что она в этом районе. Она из «Лау Тонг Туй» Компартии Малайи.

— А это что? — спросила я.

— «Корпус специального назначения». — Ли глянул на Магнуса с Эмили. — Карательные отряды. Вам повезло выбраться всего-навсего с ранениями.

— Она сказала, что женщина, которую я обвиняла, Чан Лю Фунг, это ее сестра. Ее выслали.

— Э-э… — Ли порылся в своих записях. — Несколько месяцев назад вы помогли одному высокопоставленному К-Ту сдаться… вполне может быть, что КПМ мстит. Вонг Мей Хуа ничего об этом не говорила?

Я отрицательно повела головой.

— О чем это, черт побери, он толкует? — вмешался Магнус. — Ты помогла кому-то из К-Тов сдаться?

Я рассказала им, как было дело.

— Я вспомнила! — воскликнула Эмили. — Об этом в «Стрэйтс таймс» писали, теперь я вспомнила! Тот человек получил большую награду. Он сказал, что собирается ресторан открыть.

— Мне не хотелось вас беспокоить всем этим, — объяснила я свою скрытность.

— *Blerrie* верно! — взорвался Магнус. — Ты всех нас поставила под большой риск!

— Не так громко, *лах*, — сказала Эмили.

Магнус шумно оттолкнул стул и отошел в дальний конец палаты.

После ухода субинспектора Эмили открыла принесенный с собой термос и наполнила чашку куриным бульоном:

— Выпей это. Может, подкрепит твой организм. Я сама его варила. Женьшень в него добавила.

Бульон был отвратительно невкусный, но я понимала, что лучше проглотить его, чем отказать ей.

— Мы позвонили твоему отцу, — сообщила Эмили, придирчиво следя, чтобы я выпила из чашки все, до последней маслянистой капли. — Он хочет, чтоб ты вернулась в К-Л.

Я отерла губы.

— Никуда я не уеду.

— Вот еще, ты ж не сможешь и дальше тянуть сама по себе! — выпалил Магнус, который, вернувшись, стоял в ногах моей койки. Сестра через всю палату сделала ему знак — «пожалуйста, потише», и Эмили наделяла ее извиняющейся

улыбкой.

— Магнус, я не ребенок, — сказала я.

— Ты слышала Ли: та женщина могла убить тебя. Езжай домой, в К-Л. Ты всегда сможешь снова вернуться сюда, как только снимут Чрезвычайное положение.

— И когда *такое* произойдет? — съязвила я. — Может, вы мне скажете?

Эмили тронула Магнуса за руку, и тот, с видимым усилием, взял себя в руки. Вздохнул.

— Пошли, Лао Пуо, — сказал он Эмили. — Прекрати утомлять ее своей болтовней — пусть глупая девчонка отдохнет немного.

При неохотном содействии сестры я доковыляла до кабинета д-ра Йео, чтобы позвонить отцу. Кабинетом служила большая солнечная комната в конце длинного коридора, и у меня пот градом катился со лба, когда я туда добралась. Доктора не было, и сестра, после выраженного ею беспокойства и резких слов с моей стороны, наконец-то ушла обходить больных.

— Слава богу, ты цела, Линь! Я прямо извелся, переживая за тебя, — сказал отец. — Завтра я еду в Сингапур. Не знаю, сколько там пробуду, но я пошлю своего шофера за тобой в Маджубу. Только дай мне знать, когда тебя выпишут.

— Я в полном порядке. Ничего серьезного.

— Ничего серьезного? На тебя совершено нападение! Тебя ножом ударили! Я считаю, что ответственность за это несет Магнус.

— Это я убедила Магнуса позволить мне пожить самостоятельно, отец. Надеюсь, ты не сказал маме про случившееся?

— Не сказал. Только в любом случае от этого никакого проку: она больше не узнает ни меня, ни Хока.

«И ты должна быть здесь, чтобы ухаживать за ней», — вслух он этих слов не произнес, но я умела слышать его мысли.

— Магнус предлагал нам безопасное место, чтобы спрятаться на время войны, — сказала я. — Ты мне об этом ни разу не говорил.

— Под опекой его японского дружка? Это было неприемлемо, — отрубил отец. — А *ты*… работать на *японца!* После того, что они нам причинили…

— Юн Хонг была бы сейчас жива, если бы ты принял предложение Магнуса. Мы все были бы невредимы. И мама не была бы… Она и сейчас была бы в отличном здравии.

— Думаешь, я не искал вас? Не делал всего, что было в моих силах, чтобы выяснить, что сталось с тобой и Хонг? Я счет потерял тому множеству

джапов, которых я умолял сообщить мне, что с вами. Я давал им столько денег, сколько они просили. Но они дурили меня! Говорили, что знать ничего не знают. Уверяли, что вы ни в каких их документах не значитесь.

— Не хлопочи посылать сюда своего шофера, отец, — сказала я. — У меня нет никакого намерения уезжать отсюда.

Ответом мне было молчание.

Потом он повесил трубку.

Когда в тот же день вечером я проснулась, Аритомо сидел на том же стуле, на каком прежде сидел Магнус. Он отложил книгу («Трепет листа» Сомерсета Моэма) и подошел к тумбочке, на которой стояли судки. За окном было уже темно.

— Который час? — спросила я, усаживаясь среди подушек.

— Седьмой пошел.

Он раскрыл судки, извлек верхнюю кастрюльку и подал ее мне. Я заглянула в нее и улыбнулась, покачав головой. Движение вызвало болевые судороги на лице.

— Суп из птичьего гнезда, — выговорила я, когда боль отступила. — Я живо вновь вернусь к работе!

— Значит, ты остаешься?

— Монсун еще не начался.

Он подошел к окну. Вплотную приблизив лицо к стеклу, вглядывался в небо. И сказал:

— Думаю, в этом году он задержится.

Он навещал меня в больнице каждый день, пока я выздоравливала. Всегда приносил с собой судки с супом из птичьих гнезд и следил, чтобы я непременно его съедала. Потом он вывозил меня в кресле-каталке в больничный сад.

Сад этот представлял собой всего лишь широкий, идущий под уклон газон, обсаженный по бокам кустами гортензии. Пока он катил меня по дорожкам, мы, раз за разом, планировали и перепланировали этот садик.

— А Чонг завтра женится, — сообщил как-то вечером Аритомо. — На какой-то девушке из Танах-Раты. Это его мать устроила. Он пригласил нас, но, учитывая, в каком ты состоянии, я счел за лучшее отказаться.

— Ты должен дать ему денег, — сказала я. — Положи их в красный конверт.

— Уже сделал, — сказал он, открывая судки.

К тому времени я была по горло сыта супом из птичьего гнезда, но помалкивала, не желая обижать его. Поэтому была очень удивлена.

— Что это? — спросила, заглянув в первую ка-

стрюльку и уловив исходящий из нее запах.

— От А Чона. Морское ушко. Еще — суп из акульего плавника. И кусочек поджаренного на решетке лобстера. Похоже, его братец обеспечивает едой свадебный стол. Очевидно, владеет рестораном в К-Л. Я и знать не знал, что у него сводный брат есть. — Улыбка Аритомо была столь быстра и мимолетна, что я ее едва успела заметить.

— А ты знала?

В мой последний день в больнице сестра привела Магнуса в сад. Он нес букет лилий и широко улыбнулся, увидев, как Аритомо помогает мне передвигаться на костылях. Лилии он вручил мне.

— Малость поздновато подносить мне цветы, а? — с улыбкой произнесла я, когда мужчины помогли мне добраться до скамейки. — Меня завтра выписывают.

— Это от Фредерика. Он только два дня назад узнал о том, что случилось.

Некоторое время мы болтали о всяких пустяках. Не раз я замечала, что Магнус нервничает. Наконец он, обратившись ко мне, произнес:

— Вчера мне звонил твой отец.

— Уф, ради всего святого! Я уже попросила его не присылать шофера.

— Он не за тем звонил. Он хочет, чтобы я запретил тебе жить одной в Маджубе. — Магнус потер крепеж повязки у себя на глазу. — И после того, что произошло, Юн Линь, я вынужден был с ним согласиться.

— Вы просите меня выехать из коттеджа «Магерсфонтейн»? — резко выпалила я.

— Эмили упаковала твои вещи и перевезла их обратно в наш дом.

Я понимала, в какую неприятную передрягу он попал, и все же бешено злилась на него:

— Я поищу себе другое пристанище. Вне Маджубы.

Магнус беспомощно повернулся к Аритомо:

— Может, ты уговоришь ее быть хоть немного разумной?

Несколько мгновений Аритомо хранил молчание. Наконец произнес:

— Ты можешь жить у меня.

Я снова взялась за работу в Югири через месяц. Аритомо давал мне повседневные задания полегче, откладывая те, что потяжелее, на будущее, когда я наберусь сил. Магнус с Эмили пытались отговорить меня от того, чтобы жить в Югири. Я махнула на их увещевания рукой. Я понимала: люди станут языки чесать и через несколько

дней слухи докатятся до отца, зато с того самого момента, как я переехала в Югири, я почувствовала себя закрытой ото всего мира, даже самых дальних его пределов. Невзирая на убийства, происходящие по всей стране, впервые за многие годы я ощутила умиротворение.

Только внешний мир не заставил себя долго ждать: я была глупа, полагая, что он не нагрянет, стороной обойдет…

Однажды утром, заканчивая занятия *кюдо*, я краем глаза заметила А Чона. Он стоял возле стрельбища и не проронил ни слова, пока Аритомо не выпустил вторую стрелу и не опустил лук.

— Люди у ворот стоят, хотят видеть вас, сэр.

Аритомо все свое внимание сосредоточил на *матто*: стрелы его чуть-чуть отклонились от центра мишени.

— Я никого не жду. Скажи им, чтоб уходили.

— Они просили передать вам, что приехали из Токио. Они из…

А Чон глянул на кусок бумаги у себя на ладони и попытался прочесть то, что было на нем написано. Но уловив нетерпение Аритомо, он передал бумажку мне. Я с трудом разобрала японские иероглифы и медленно прочитала:

— «Ассоциация по возвращению на родину

павших воинов Императора».

Солнце выкатилось из прорехи в облаках. В отдалении птицы беззвучно слетели с дерева, словно листья, сметенные сильным порывом ветра. Аритомо оглядел стрельбище, словно увидел нечто, чего не замечал прежде. Благовоние, которое он возжег, чтобы отметить отведенный нам на стрельбу час, догорело до конца. Последний завиток дыма, уже ни с чем не связанный, таял в воздухе.

— Пусть подождут перед *энгава,* — распорядился Аритомо. Домоправитель кивнул и удалился.

Садовник обратился ко мне:

— Пойдешь со мной.

Повесив лук в глубине стрельбища, я, обернувшись, глянула на него в упор:

— Я не хочу встречаться с этими людьми.

И хотела пройти мимо, но он схватил меня за кисть руки, сжав ее на секунду, прежде чем выпустил. Подошел к урне с благовонием и тихонько дунул в основание пепла. Пепел разлетелся по краям урны и взлетел в воздух вокруг нее. Порыв ветра, пролетая мимо, подхватил его и рассеял в потоке света…

Женщина стояла поодаль от трех мужчин, все они внимательно разглядывали сад *каре-санс-*

уй и вполголоса делились впечатлениями. Все обернулись, когда Аритомо окликнул их: я была удостоена лишь взгляда мельком. Мужчины были в черных костюмах и галстуках приглушенных тонов, кроме одного, совершенно лысого и облаченного в обычный для священника серый наряд. Женщине было за пятьдесят, одета в отлично пошитые изумрудную блузу и бежевую юбку. Жемчуг вокруг ее шеи был изящен, как утренняя роса, высыпавшая на паутине.

Первый мужчина поставил на землю портфель, сделал полшага вперед и поклонился.

— Я Секигава Хисато, — представился он по-японски. — Нам следовало бы оповестить вас о своем визите заранее, и мы признательны, что вы согласились принять нас.

Ему было за пятьдесят, узкоплечий, он придавал себе важности, изображая руководителя группы. «Привычен, видно, к такому положению», — подумала я. Другие кланялись, когда Секигава по очереди представлял их. Бритоголового звали Мацумото Кен. Женщина, миссис Маруки Йоко, улыбнулась мне. Последний мужчина, Иширо Йуро, попросту безразлично кивнул.

— «Ассоциация по возвращению на родину павших воинов Императора» была создана че-

тыре года назад, — пояснял Секигава, пока они размещались на татами вокруг низкого столика. Я почувствовала, как он задержал на мне взгляд, пока я усаживалась в позу *сейдза*[216]. — Мы посещаем все места, где наши солдаты сражались и погибали.

А Чон вышел на веранду с подносом чая. Как только Аритомо разлил напиток, Секигава принюхался к своей чашке и изумленно вскинул брови:

— «Благоухание одинокого дерева»?

— Да, — кивнул Аритомо.

— Какое чудо! Какая изысканность! — Гость сделал глоток, задержал чай во рту на мгновение, прежде чем проглотить. — Я такой только до войны пивал. Где вы его достали?

— Я привез несколько коробок этого чая с собой, когда переехал сюда, но он почти закончился. Надо будет еще заказать.

— Вам больше его не заполучить, — сказал Секигава.

— Отчего же?

---

[216] Примечания: 216

Сейдза, «правильное сидение» (*яп.*) — традиционная японская поза сидения на полу на коленях. Помимо чисто утилитарного значения поза «сейдза» имеет зачастую и церемониальный смысл, во многом зависящий от общественного положения, возраста и пола сидящего.

— Плантация… чайные поля, склады… все было уничтожено в войну.

— Я… я не слышал об этом…

Совершенно неожиданно вид у Аритомо стал потерянным.

— *Хай*, очень печально. — Секигава покачал головой. — Владелец и вся его семья, до единого человека, были убиты. Очень печально.

Миссис Маруки поменяла положение тела и сказала:

— Мы приехали сюда, чтобы отыскать… — она умолкла и, словно сомневаясь, посмотрела на меня.

Аритомо взял себя в руки:

— Юн Линь вполне сносно говорит на *нихонго*.

Миссис Маруки кивнула.

— Мы приехали сюда, чтобы отыскать останки наших солдат, перевезти их на родину и похоронить надлежащим образом.

— Они будут находиться в Ясукуни с душами всех наших солдат, погибших в Тихоокеанской войне, — добавил Мацумото.

— Пляжи Кота-Бахру и местность вокруг города Слим-Ривер, — отозвался Аритомо, немного подумав. — Там велись самые тяжелые бои между

британцами и японцами.

— Мы уже побывали там, — ответила миссис Маруки. — Мой брат был убит у Слим-Ривера.

Она выжидающе умолкла. Аритомо не сказал ничего, и я тоже промолчала. Что-то в этой группе людей вызывало беспокойство. Я искоса глянула на Аритомо, но у того лицо было непроницаемо.

— А как вы отличаете останки британских военных от японских? — спросила я. — Сомневаюсь, чтобы семьи британских солдат одобрили перенос их останков в какое-то языческое святилище.

Голова миссис Маруки дернулась назад, будто я ей в лицо плюнула. Щеки ее покраснели.

Тут же вмешался Секигава, он примирительно заговорил голосом закаленного миротворца:

— Данный акт — символический. Мы берем только что-то из останков с каждого места, которое посещаем. — Он сжал воздух между большим и указательным пальцами до узкой щелки. — Очень маленькие кусочки.

— Семьи всегда признательны за то, что останки сына, брата или отца перевозятся на родину, — сказала миссис Маруки.

— В Югири нет павших солдат, — заявил Аритомо.

— Разумеется, разумеется. Нам это известно, — ответил Секигава. — Мы надеялись, что вы, возможно, укажете нам другие места, о которых могли слышать, места, о которых нам не удалось получить никаких сведений.

— Мы посетили все известные места сражений, — подала голос миссис Маруки. — Но мы хотим посетить и неизвестные, забытые. В том числе и гражданские пересыльные центры.

— Гражданские пересыльные центры? — вскинулась я. — Вы имеете в виду трудовые лагеря для рабов? Уверена, их местоположение вы найдете в документах вашей армии.

— Армия уничтожила все свои… ненужные документы, когда стало ясно, что войну мы не выиграем, — заговорил молчавший до сего момента Иширо Йуро.

— Что ж, может, я сумею вам помочь, — сказала я. — Я покажу вам, где Кэмпэйтай мучил своих заключенных. Здания вокруг правительственного дома отдыха в Танах-Рате и сегодня пустуют. Местные жители утверждают, что иногда по ночам слышат вопли жертв.

Я шла напролом, не обращая внимания ни на что, словно проводник в джунглях, торящий тропу через мелколесье, наотмашь рубила своим

парангом.

— Деревенские жители говорят о массовых захоронениях где-то в районе Голубой долины, в нескольких милях отсюда. Сотни китайских скваттеров были свезены туда на грузовиках, их забили штыками ваши солдаты. Я с радостью выясню все об этом для вас. На деле, наверное, смогла бы отыскать для вас пятьдесят, сто, а то и двести подобных мест — по всей Малайе и Сингапуру.

— Подобные… *достойные сожаления*… события выходят за рамки целей нашей организации, — произнесла миссис Маруки.

Я повернулась к Мацумото, указывая на его одеяние:

— Вы синтоистский священник, не так ли?

Тот склонил голову:

— Я принял обет через год после капитуляции. Я хотел бы провести молитвенные службы в этих местах. Порой только на это мы и способны — помочь душам умерших обрести хоть какой-то покой — будь они японцы, или британцы, китайцы, малайцы или индийцы.

— Они мертвые, Мацумото-сан, — сказала я. — А помогать следует живым, тем, кто на себе познал варварство и зверства ваших соотечественников,

тем, кому ваше правительство отказало в компенсациях.

— Это не вашего ума дело, — бросил Иширо.

— Юн Линь — моя ученица, — заговорил, опережая мой ответ, Аритомо. — Относитесь к ней с учтивостью.

— Ваша ученица? — поразился Иширо. — Женщина? *Китаянка?* Такое разрешается Бюро имперских садов?

— Бюро утратило для меня свое значение много лет назад, Иширо-сан, — ответил Аритомо.

— Э-э, Бюро… — вмешался Секигава, — …это подводит нас к еще одной причине, по которой мы навестили вас, Накамура-сэнсэй.

Он достал из своего портфеля кремовый конверт:

— Нас попросили доставить это вам.

Он держал конверт обеими руками и обращался с ним с почтительностью, достойной какой-нибудь родовой реликвии. В центре конверта золотом была оттиснута эмблема цветка хризантемы. Аритомо также обеими руками принял конверт и положил его на столик. Секигава глянул на него, потом снова посмотрел на Аритомо:

— Мы должны дождаться вашего ответа.

Аритомо сидел как сидел, совершенно неподвижно. Мы все смотрели на него. Никто ничего не говорил, никто не двигался. Наконец он снова взял в руки конверт, ногтем большого пальца сломал на нем печать. Извлек лист бумаги, развернул и принялся читать. Бумага была так тонка, что нанесенные на нее кисточкой и черной тушью знаки просвечивали, словно прожилки листа какого-нибудь дерева, поднятого к солнцу на просвет. Наконец он вновь сложил документ, жестко разгладив большим пальцем каждый сгиб. Вложил письмо в конверт и аккуратно положил его на столик.

— Как мы понимаем, — заговорил Секигава, — вы вновь безо всяких проволочек назначаетесь на свою прежнюю должность во дворце. Пожалуйста, примите наши поздравления.

— Моя работа в Югири не завершена.

— Но ведь, я уверен, в письме недвусмысленно говорится, что Бюро простило вас за то, что произошло между вами и Томинагой Нобуру, — сказал Секигава.

При звуке этого имени меня будто ударило. На мое счастье, японцы смотрели на Аритомо, а не на меня.

— Вам известно, что произошло с Томина-

гой-сан? — задал Иширо вопрос среди общего молчания.

— Я не следил за событиями в Японии, — ответил Аритомо.

— Он участвовал в войне. Возвратился в дом своего деда после того, как император объявил о капитуляции, — сообщил Иширо. — Слуги сообщили, что несколько дней спустя он отправился на теннисный корт в своем саду и совершил *сеппуку*[217].

Известие о смерти Томинаги ошарашило меня — он был последним, что связывало меня с лагерем, единственный другой человек, о ком я знала, что он был там, и кто, как я подозревала, был жив до сих пор. А теперь и его не стало.

— Он оставил записку?

Аритомо наконец-то снова заговорил — приглушенность его голоса была единственным, что указывало, насколько подействовали на него слова Иширо.

---

[217] Примечания: 217

Сеппуку, то же, что и харакири (букв.: «вспарывание живота», *яп.*) — ритуальное самоубийство методом вспарывания живота, принятое среди самурайского сословия средневековой Японии. В 1945 г. император Хирохито отказался от своего божественного статуса и принял позор нации на себя, настояв на капитуляции Японии. Высшее военное руководство тогда выступило против этого решения, старшие офицерские чины и военачальники, следуя традиции самураев, совершили обряд сеппуку.

— Ничего не нашли, — ответил Иширо. — Слуги говорили, что за день до самоубийства Томинага-сан сжег все свои бумаги — документы, записные книжки, дневники. Все.

— Наверное, боялся, что американцы отдадут его под суд, — заметил Аритомо.

— Его имя не упоминалось ни на одном процессе, — сказал Секигава, — ни кем-то из свидетелей, ни кем-либо из наших людей, которых судили. Уверен, что Томинага-сан, как и многие из нас, просто не смог вынести зрелища нашей страны, оккупированной иностранцами.

Знакомый, полузабытый страх медленно закрадывался мне в душу, пока я пристально разглядывала этого священника, Мацумото: мне следовало бы распознать в нем бывшего офицера Кэмпэйтая, едва я его увидела, но он успел научиться отлично маскироваться.

— А как насчет вас, Мацумото-сан? Ваше имя упоминалось на каком-нибудь процессе по военным преступлениям?

Синтоистский священник не отвел взгляда, зато его спутники упрятались за настороженным, чутким молчанием.

— Я должен был бы еще раньше понять, что мы говорим с бывшей «гостьей императора», — вы-

говорил он.

— *Бывшей?* Да мы, такие, как я, навсегда останемся гостями вашего императора.

Секигава попытался разрядить тягостную обстановку:

— А-а! Пройдет месяц — и американская оккупация закончится. Мы снова станем свободны. Семь лет под американцами. А кажется, что гораздо дольше!

— Если хотите, мы продлим наше пребывание здесь еще на несколько дней, чтобы у вас было побольше времени на то, чтобы определиться с ответом, — предложил Иширо.

— В этом нет необходимости. — Аритомо поднялся быстрым и решительным движением, не допускавшим никаких споров. Трое членов Ассоциации уставились на Секигаву. Тот кивнул, и все они разом встали, при этом Мацумото помог миссис Маруки утвердиться на ногах.

— Мы так много слышали о вашем саде, — сказал Секигава. — Можно нам его осмотреть?

— О, и водяное колесо тоже, — прибавила миссис Маруки. — Уверена, то была великая честь — получить такой дар от императора!

— Я произвожу некоторые обновления на том участке, — Аритомо произнес эти слова с таким

убедительным сожалением, что чуть и меня в этом не убедил. — В другой раз, возможно, когда все работы здесь будут завершены.

— Вы должны сообщить, когда можно будет снова нанести визит вам, — сказал Секигава.

— Приезжайте, когда кончится Чрезвычайное положение. Тогда будет легче возобновить ваши поиски, — посоветовал Аритомо. — В настоящее время находиться в сельской местности небезопасно.

— Нам *хватило* сложностей с властями, — согласно кивнул Иширо. — Они отказались допустить нас во многие другие места.

— Сколько времени продлится Чрезвычайное положение? — поинтересовалась миссис Маруки. Она, как я поняла, была из тех женщин, которые не желают уходить, пока что-нибудь да не получат, пусть даже и сущий пустяк.

— Годы, я полагаю, — ответил Аритомо. — Годы и годы.

Конверт все еще лежал на столе, эмблема хризантемы сияла, словно искаженное отражение солнца на поверхности пруда Усугумо. Аритомо налил себе чаю и потянулся с чайником ко мне. Я покачала головой.

— Это правда, что тебя попросили уехать до-

мой?

Меня беспокоила эта возможность: а вдруг? Он поставил чайник на жаровню.

— Очевидно, таких, как я, сейчас не хватает: садовников помоложе поубивало или покалечило на войне, а те, кто постарше, уже не справляются с работой.

Он несколько раз крутанул чай в чашке, поглядывая в нее.

Уж не думает ли он, гадала я, о чайной плантации, где выросла его жена?

— Я так много лет был вдали от Японии, — произнес он. — Так много лет…

— Почему ты не ездил на родину? Хотя бы на время?

— Не мог, пока ее оккупировали американцы. Сама мысль об этом мне невыносима — все эти иностранные солдаты в наших городах.

— Для тебя не было слишком уж невыносимым жить здесь, когда Малайю оккупировали иностранные солдаты!

— Возвращайся к своей прежней жизни в Куала-Лумпуре, — резко бросил он. — Тебе никогда не стать уважаемым садовником, если ты будешь носить столько злости в себе.

Некоторое время мы ничего не говорили друг

другу.

— Вы с Томинагой были друзьями, так ведь? — спросила я. — Что же между вами произошло?

— В горах есть монастырь. Хочу попросить монахинь помолиться за Томинагу. Пойдешь со мной? Скажи рабочим, что завтра они могут устроить себе выходной.

Гром прогрохотал в облаках.

Мои мысли все еще крутились вокруг разговора с японскими визитерами. «Есть еще какая-то причина их присутствия в Малайе, — подумала я, — что-то такое, о чем Аритомо осведомлен, но мне этого не откроет».

Засучив левой рукой правый рукав, Аритомо поднял чайник и наполнил свою чашку почти до краев. Поставил чайник точно в то же место, откуда взял, и повернулся на коленях, обратившись лицом к горам на востоке.

В таком положении он оставался, как мне показалось, очень долгое время. Затем, подобно цветку, поникшему, чтобы коснуться земли, он низко склонился головой едва не до пола. Выпрямившись всем телом мгновение спустя, он взял чашку в руки и приложил ее ко лбу.

Таким я его и оставила — в последний раз прощающимся с человеком, которого он когда-то

знал, человеком, что ушел далеко за горы и путешествует себе превыше туманов и облаков.

Глава 18

Дорогу, уходившую в горы, укутывал густой туман. Внутри «Лендровера», принадлежащего Аритомо, стоял холод, от нашего дыхания лобовое стекло покрывалось матовой пеленой. То и дело Аритомо приходилось протирать его, чтобы разглядеть путь впереди. На террасных полях небольших овощных хозяйств петухи предвещали восход солнца. Перед самым въездом в деревню Бринчанг Аритомо свернул на узкую земляную дорогу и ехал по ней вверх, пока она не закончилась у небольшой поляны. Остановившись, мы вышли из машины.

— К вершине ведут две тропы, — сообщил Аритомо, вскидывая на спину рюкзак. — Мы пойдем вот по этой, потруднее.

Он прокладывал путь среди муравьиных папоротников и травы лаланга. Я продвигалась за ним следом. Узкую тропу скрывал покров листвы. Я ступала осторожно, стараясь не скользить на проплешинах мха. Справа от меня был обрыв — в реке, протекавшей футах в двадцати[218] внизу,

[218] Примечания: 218
Около 6,1 метра.

вода кружилась и билась о торчавшие наружу валуны, пузырясь белой пеной. Джунгли смотрелись каким-то одноцветным наносом. Смутные очертания деревьев обретали четкость и объем, только когда мы проходили мимо них — и тут же исчезали у нас за спиной. Перекликались птицы, которых невозможно было разглядеть в густой листве. Толстые, наполовину вылезшие из земли корни разбивали тропу на глинистые террас-ки-ступени, которые продавливались под моей тяжестью. На крутом откосе мы остановились посмотреть, как восходит солнце.

Аритомо указал на разбросанные низкие домики в дальнем конце долины, которые стали видны, когда пелену тумана прорезали прорехи:

— Маджуба.

То было единственное произнесенное им слово с тех пор, как мы вошли в джунгли. Я припомнила наш предыдущий поход — в горы, к пещере саланган, и то, как он был разговорчив: открывал мне секреты трав, цветов и деревьев…

— А вон и дом, — сказала я, заметив трепещущий язычок трансваальского флага. Вспомнив, с каким неудовольствием глянул на него Темплер, я рассказала об этом Аритомо. Я-то надеялась, что он посмеется, но он погрузился в глубокую

задумчивость.

— Помнишь, я тебе рассказывал, как прошел пешком через Хонсю, когда мне было восемнадцать лет? — спросил он. — Я заночевал в храме. Он весь разваливался на куски, в нем остался один-единственный монах. Он был старый, очень старый. И еще — слепой. На следующее утро, прежде чем уйти, я нарубил ему дров. Когда я уходил, он стоял в центре дворика и указывал куда-то вверх. На краю крыши трепыхался линялый и потрепанный молитвенный флаг[219].

«Юноша, — произнес старый монах, — скажи мне: ветер ли находится в движении или флаг заставляет двигаться ветер? Кто из них — зачинатель движения?»

— И что ты сказал? — спросила я.

— Я сказал: «Они оба в движении, святой отец».

Монах сокрушенно покачал головой, явно огорченный моим невежеством.

«Придет день, и ты поймешь, что нет никакого ветра и флаг не движется, — сказал он. — Только

---

[219] Примечания: 219

Молитвенный флаг — прямоугольные цветные полотнища на нитях (иногда с текстами и изображениями), предназначенные для защиты от зла и благословения местности. Каждый цвет флага символизирует одну из стихий: землю (желтый), воду (зеленый), огонь (красный), воздух и ветер (белый), небо и космос (синий).

души и умы людей не ведают покоя».

Мы стояли молча и смотрели на долины.

— Пойдем, — позвал он наконец. — Путь еще предстоит неблизкий.

Моросящий дождик вымочил джунгли, и нам приходилось перепрыгивать через лужи на тропе. Аритомо будто порхал через корни, двигался решительно и легко, повинуясь зову, который слышал он один. Ветки, обломанные прошедшими грозами, загромождали тропу. Когда мы перебирались через них, они пачкали нам руки и ноги выше колен лишайниками и обрывками вымокшей коры.

— Далеко еще до этого Храма Облаков? — спросила я после часового карабкания в гору.

— Три четверти пути до вершины, — бросил Аритомо через плечо. — Только очень преданные способны добраться туда.

— Ничего удивительного.

На всем пути по тропе мы не встретили ни души.

Оглядываясь по сторонам, я представляла, будто мы вернулись на миллион лет назад, к тому времени, когда джунгли были еще молодыми.

— А вот и он.

Монастырь предстал скоплением низких се-

роватых строений, прилепившихся к склону горы, и меня это расстроило: после изнурительного подъема я ожидала чего-то большего. Мимо монастыря бежал поток, пропадавший в узкой теснине. В брызгах воды над водопадом возникали и играли небольшие радуги. Аритомо указал на скалы противоположного берега. Казалось, они дрожали. Секундой позже я поняла, что они были сплошь покрыты тысячами бабочек. Я полюбовалась ими, но недолго: нетерпение тянуло идти дальше.

— Подожди, — сказал Аритомо, поглядывая на небо.

Солнце пробилось из-за облаков и преобразовало поверхность скал в переливы бирюзового и желтого, красного, пурпурного и зеленого, словно свет проходил через призму. Крылышки бабочек вздрогнули и забились чаще. Небольшими облачками поднимались они со скал, повисали в лучах света на несколько мгновений и рассыпались по джунглям, словно почтовые марки, взметенные порывом ветра. Горстка бабочек пролетела сквозь радугу над тесниной, и мне показалось, что вылетели они из нее, трепеща еще сильнее: радужные цвета, образованные светом и водой, напоили их крылышки силой.

Мы подошли ко входу в монастырь. Пара матерчатых фонариков (когда-то белых) свисала с карниза, словно коконы, брошенные шелковичными червями. Выписанные на них красным иероглифы почернели от десятилетий копоти и дыма ладана, которые разъели ветхую ткань и впитались в нее, обратив моления в ранения…

Никто нас не встретил, когда мы вошли и стали подниматься по пролету раскрошившихся каменных ступеней. Шум реки сделался тише. В главном молельном зале монашка в сером одеянии, шаркая ногами, миновала нас, окуривая все вокруг целым букетом благовонных палочек, который держала в руках. Дым ладана сандалового дерева громадными кольцами свисал с балок, превращаясь в текучие бесконечные спирали. Боги стояли в алтарях, взгляды их были полны ярости, лики имели сердитый вид, у некоторых в руках — трезубцы и широкие мечи, унизанные металлическими кольцами. Все они были покрыты изъеденным мехом пыли и пепла.

Я узнала краснолицего Кван Кунга, бога войны, — когда-то давно моя нянька несколько раз приводила меня в какой-то храм в одном из закоулков Джорджтауна, где упрашивала богов назвать ей выигрышные номера еженедельной

лотереи. Ни разу никаких денег она не выигрывала, но все равно, неделю за неделей, наведывалась в храм. Бога войны укрывали черные доспехи, его пожелтевшая борода была зажата в одной одетой в боевую перчатку руке.

— Он еще и бог торговли, — поведала я Аритомо. — Торгашеское дело — это война, говорил этот бог.

— А война, — в тон мне отозвался Аритомо, — это торгашеское дело.

Перед другим божеством преклонила колени на скамеечке с подушкой женщина лет семидесяти с лишком, руки ее сотрясали деревянный ящичек, наполненный плоскими бамбуковыми палочками. Она брякала ящичком до тех пор, пока одна палочка не вылетела из него и не упала со стуком на пол. Поставив ящичек, женщина поклонилась божеству и подобрала палочку. И поспешила к монастырскому посреднику, мужчине с аккуратной бородкой. Тот обернулся к стоявшей у него за спиной стойке с ящичками размером со спичечную коробку и вытащил полоску бумаги из ящичка, номер которого соответствовал номеру на поданной бамбуковой палочке. Старая женщина склонилась поближе к посреднику, чтобы услышать ответ бога.

— Хочешь попробовать? — шепнул Аритомо.

— Он не в силах сказать мне то, что я хочу узнать, — ответила я.

К нам подошла монахиня, возраст которой трудно было предположить по безмятежным чертам лица и бритой голове. Аритомо китайскими иероглифами написал имя Томинаги и отдал ей бумажку. Затем взял у нее пучок благовонных палочек и погрузил их концы в пламя масляного светильника. Прошел к стойке перед статуей Богини милосердия, стоявшей в квадрате солнечного света, падавшего через дыру в крыше. Аритомо закрыл глаза, вновь открыл их и вставил благовонные палочки в пузатую бронзовую вазочку на алтаре. Белые пряди дымка потянулись к солнечному свету.

— Как-то раз, когда я не слушался, моя мать рассказала мне сказку про убийцу, — заговорил Аритомо голосом сухим, как запах сандалового дерева, аромат которого разносился в воздухе. — Когда он умер, то был низвергнут в Ад. Однажды так случилось, что Будда, прогуливаясь по саду в Раю, заглянул в пруд с лотосами. А глубоко в пруду он увидел того самого убийцу, переносящего мучения Ада.

Будда уже хотел продолжить прогулку, как

вдруг заметил паука, сучившего свою паутину, и вспомнил, как тот убийца однажды не стал убивать паука, взбиравшегося по его ноге. С разрешения паука Будда взял из его паутины одну прядку и закинул ее в пруд с лотосами.

Внизу, в недрах Ада, убийца увидел, как что-то поблескивает в кроваво-красном небе, опускаясь все ближе и ближе к нему. Когда это оказалось прямо у него над головой, убийца ухватился за прядку и потянул ее. К его удивлению, она выдержала его вес. Он стал выбираться из Ада к Раю, находившемуся за тысячи и тысячи миль. Другие грешники вскоре увидели, что он делает, и тоже стали взбираться по паутинке. Убийца был уже высоко, почти выбрался из Ада. Остановившись передохнуть, он глянул вниз и увидел, как вслед за ним тысячи людей — мужчины и женщины, старые и молодые — все пытаются выбраться, все ухватились за нить. «Отпустите! Это моя паутинка! — завопил он им. — Отпустите!»

Только никто его не слушал. Убийца пришел в ужас от того, что паутинка порвется. Некоторые из грешников уже почти добрались до него. Он стал пинать их ногами — и те не выпустили нить из рук и полетели вниз. Только от его резких движений паутинка порвалась, и он тоже полетел

обратно в Ад, не переставая все время кричать…

Ласточки летали среди балок, вздымая в полете дым ладана.

— Я несколько недель спать не мог, услышав эту сказку, — закончил Аритомо.

Мы вышли из молитвенного зала, поднялись по еще одному пролету ступеней. По пути Аритомо здоровался с некоторыми встречавшимися нам монахинями. Сразу за ступенями начиналась дорожка, ведшая в маленький садик, окруженный низкой стеной. Далеко внизу, в долине Кинта, я разглядела город Ипох с его магазинами и дворцами оловянных магнатов, сгрудившимися словно зернышки риса на дне чашки. Выше, в горах, над линией деревьев, джунгли редели, слабели, им уже не хватало сил забраться выше.

— Как бы ты улучшила этот садик? — спросил Аритомо, усевшись на шаткую каменную скамью.

Мысли мои все еще занимал убийца, получивший возможность вырваться из Ада и тут же потерявший ее, поэтому ответила я не сразу.

— Я бы избавилась от живой изгороди из китайской розы: тут для нее слишком тесно. Потом наполнила бы декоративный пруд в форме половинки сердца и спилила бы большинство

деревьев гуавы, закрывающих вид, — перечисляла я. — Все упростить. Открыть сад для неба.

Он одобрительно кивнул. Отвинтил крышку термоса, наполнил две чашки чаем и протянул одну мне. Где-то в нижних монастырских постройках раздались молитвенные причитания монахинь, их голоса долетали до нас.

— Монашкам, похоже, ты хорошо известен, — заметила я.

— Их здесь немного осталось, большинство из них весьма стары, — ответил он. — Когда уйдет последняя — монастырь, боюсь, окажется заброшен. Люди совсем забудут, что он существовал когда-то.

Мы сидели, потягивая чай. Наконец он произнес:

— Я хочу знать, что с тобой произошло — в лагере.

Жар от чашки проникал сквозь перчатки и согревал мне ладони.

— Никто не хочет слушать про нас, узников, Аритомо. Мы — болезненное напоминание об Оккупации.

Он посмотрел на меня, потом нежно коснулся моего лба. Мне показалось, что у меня где-то в глубине души ударил колокол.

— Я хочу знать, — повторил он.

Первый в моей жизни камень был утвержден много лет назад, когда я впервые услышала о саде Аритомо. Все, что происходило с тех пор, приводило меня к этому месту в горах, к этому моменту во времени. Понимание этого не утешало, а скорее оставляло меня в страхе перед тем, куда заведет меня жизнь.

И я заговорила.

Глава 19

Для такого англофила, каким был мой отец, Тео Бун Хау, существовала всего одна китайская поговорка, которой он верил: «Богатство семьи не сохраняется дольше трех поколений». Будучи единственным ребенком — к тому же сыном — богатого человека, мой отец главной целью в жизни поставил сохранение и умножение наследия, созданного его отцом и доставшегося ему от него. Он бдительно следил за тем, чтобы трое его детей не росли для того, чтобы пустить это богатство по ветру. Полагаю, у него была веская причина для тревоги: Пенанг был полон рассказами о детях миллионеров, которые пристрастились к опиуму и скачкам или кончали жизнь в нищете, подметая узкие улочки Джорджтауна и выпрашивая милостыню возле утреннего рынка. Он никогда не упускал случая указать нам на них.

Мы росли в доме, который мой дед выстроил на Нортхем-Роуд: мой брат Кьян Хок, Юн Хонг и я. Мой брат был на двенадцать лет старше меня. Я была самой младшей, но мы с Юн Хонг всегда были близки, невзирая на три года разницы в

возрасте. Она пошла в мать, и многие, в том числе родители, считали ее красавицей. Кьян Хоку и мне досталась отцова склонность к полноте, и мама отчитывала меня всякий раз, когда я за едой просила добавки. «Не ешь так много, Линь, ни одному мужчине не нужна жена-толстуха», — эти слова рефреном звучали за нашим столом, я на них никогда не обращала внимания, хотя от этого они не становились менее обидными. Юн Хонг всегда защищала меня.

Дома мы говорили на английском, приправленном хоккиен — диалектом китайского языка на Пенанге. Отец мальчиком ходил в английскую миссионерскую школу, где не учили ни говорить, ни читать на мандаринском китайском, неумение это он передал и своим детям: мой брат ходил в школу св. Ксавьера, а мы с Юн Хонг учились в монастырской школе для девочек. Жившие в Малайе китайцы, не говорившие по-английски, смотрели на нас свысока за незнание языка наших предков: «Пожиратели дерьма европейцев» — так они называли нас. В свою очередь мы, «проливные китайцы», смеялись над их неотесанностью и жалели их за неспособность получить приличную работу на государственной службе или подняться по социальной лестнице

в нашем колониальном обществе. «Нам нужды нет знать какой-то еще язык, кроме английского, — частенько говорил нам отец, — потому как британцы будут править Малайей вечно».

Нашим соседом был Старый Мистер Онг, который когда-то ремонтировал велосипеды. Он сохранял связи со своей родиной. Когда японцы вторглись в Китай, он учредил Фонд помощи Китаю — собирал деньги для националистов. В награду за это Старый Мистер Онг был произведен в полковники армии Гоминьдана[220]. Это было просто почетное звание, доставшееся ему от Чан Кайши, который, скорее всего, щедро раздавал их «заморским китайцам» просто в награду за их обильные пожертвования, однако Старый Мистер Онг очень гордился им. Он прислал нам номер местной газеты на китайском, где было помещено фото церемонии оказания ему этой

[220] Примечания: 220

«Китайская Национальная Народная партия» — политическая партия Китайской республики, идеологом и организатором которой являлся доктор Сунь Ятсен, сторонник китайской националистической идеи. Гоминьдан был учрежден в 1912 г. в Пекине, где он объединил усилия ряда партий, чтобы участвовать в национальных выборах, в результате которых Гоминьдан получил подавляющее большинство мест в парламенте. В начале 1920-х Гоминьдан сотрудничал с коммунистами, политическую и организационную помощь ему оказывали советские советники.

С конца 1920-х руководство Гоминьданом осуществлял Чан Кайши (1887–1975), под чьим началом Гоминьдан правил Китаем до 1937 г.

почести.

Со Старым Мистером Онгом мы были соседями двадцать лет, но подружился с ним мой отец только после зверского убийства японцами сотен тысяч китайцев в Нанкине[221]. Мы с трудом воспринимали новости, когда слушали их: кровавое побоище, насилие над старыми и молодыми, над детьми — дикое зверство, которое отказывался воспринимать разум. Еще больше разъярило отца то, что британцы палец о палец не ударили, чтобы остановить это, совсем ничего не предприняли. В первый раз в жизни он усомнился в величии британцев, каким сам их наделял, и у него поубавилось восхищения, которое он к ним всегда испытывал. Когда отец узнал, что Старый Мистер Онг принимает в своем доме агентов

[221] Примечания: 221

В 1937 г. японские войска захватили Нанкин, и в течение следующих шести недель в Нанкине происходили события, которые в дальнейшем получили название «Резня в Нанкине». Тысячи жертв закалывали штыками, отрезали головы, людей сжигали, закапывали живьем, у женщин вспарывали животы и выворачивали внутренности наружу, убивали маленьких детей. Насиловали, а потом зверски убивали не только взрослых женщин, но и маленьких девочек, а также женщин преклонного возраста. Японские солдаты начали применять свою позже хорошо освоенную тактику «трех дочиста» — «выжигай дочиста», «убивай всех дочиста», «грабь дочиста». Всего за шесть недель было убито около 300 тыс. человек, более 20 тыс. женщин было изнасиловано. Террор превышал всякое воображение. Даже немецкий консул в официальном докладе описывал поведение японских солдат как «зверское».

Гоминьдана, которые ездили по всему свету в поисках денег и поддержки, то стал приходить на встречи с ними. Вместе со Старым Мистером Онгом он примкнул к группе известных китайцев-бизнесменов, которые побывали в городах и деревнях Малайи, в Сингапуре, выступали с речами, убеждая людей вносить деньги в Фонд помощи Китаю. Сопровождавшие их агенты Гоминьдана описывали слушателям, как отчаянно сражаются в Китае гоминьдановские солдаты с японцами. Иногда и мне позволяли присутствовать на собраниях. Помню, как однажды отец сказал мне, когда мы возвращались на машине домой с одной такой встречи: «Всегда можно различить, на чьей стороне стоит человек: просто взгляни, чью фотографию он хранит у себя в доме. Рядом с его семейным алтарем висит портрет либо Сунь Ятсена, либо этого парня Мао». Так было у наших слуг в их комнатах, расположенных в задней части дома. Несколько дней спустя отец велел им снять портрет Мао.

В 1938-м, когда мне стукнуло пятнадцать лет, японское правительство пожелало покупать у моего отца каучук. Он поначалу отказался вести переговоры, но потом передумал и согласился встретиться с торговыми чиновниками в Токио.

Он всех нас взял с собой — как раз в ту поездку моя сестра и воспылала любовью к садам Японии.

Переговоры с японцами не удались. Отец отказался продавать им каучук. Жены чиновников после этого охладели к нам: больше никаких улыбок, больше никакого стремления показать нам достопримечательности. Позже Юн Хонг рассказала мне, что Гоминьдан поручил отцу принять приглашение японского правительства, а потом доложить обо всем, что ему удастся разузнать. К сожалению, Гоминьдан не удосужился предупредить его, какая у японского правительства долгая память.

Два года спустя, в последние недели 1941-го, японские войска высадились на северо-восточном побережье Малайи: через пятнадцать минут после полуночи и за час до нападения на Пёрл-Харбор[222]. Люди думают, что Япония вступила в войну через Пёрл-Харбор, однако первой распахнутой ими настежь дверью была Малайя. Японские солдаты усыпали пляжи Пантай Чин-

[222] Примечания: 222

В воскресенье 7 декабря 1941 г. японская морская авиация и сверхмалые подводные лодки атаковали американские военно-морскую и воздушные базы, расположенные в окрестностях Пёрл-Харбора на острове Оаху (Гавайские острова), нанеся флоту США очень серьезные потери. В тот же день США объявили войну Японии и вступили во Вторую мировую войну.

та Брахи[223], заняв места кожистых черепах, которые примерно в это же время каждый год выходят из моря, чтобы отложить свои гладкие круглые яйца. От Берега Страстной Любви они, передвигаясь на мотоциклах, с боями проложили себе путь в глубь Малайи, промчавшись по проселкам мимо малайских *кампонгов* и рисовых полей сквозь джунгли, которые, как уверяли нас власти, считались непроходимыми.

Мой отец был убежден, что британские солдаты остановят их. Но три недели спустя японцы добрались до Пенанга. Британцы эвакуировали своих сограждан в Сингапур, оставив нас, местных, один на один с японцами. Европейцы, которые годами ходили к нам в гости: семейства Фарадеев, Браунов, братья Скотт (их всех мои родители считали своими друзьями), отплыли на судах заранее, исчезли, не сказав нам ни словечка. Впрочем, было много и таких, кто отказался удирать, отказался бросить своих друзей и свою прислугу на произвол японцев: семья Хаттонов, Конгрингтоны, Райты.

Кьян Хок, мой брат, служил в полиции. За два месяца до того, как заявились японцы, его отпра-

---

[223] Примечания: 223
Пантай Чинта Брахи — Берег Страстной Любви (*малайск.*).

вили на переподготовку на Цейлон. Отец велел ему там и оставаться. Старый Мистер Онг просил нас поехать с его семьей в его дуриановый сад в Балик-Пулау на западном побережье Пенанга. «Там мы будем в безопасности от джапанюг», — уверял он нас.

Мы покинули дом в то утро, когда японские самолеты начали бомбить Джорджтаун: Старый Мистер Онг, две его жены, их сыновья и домочадцы набились в три машины, мои родители и мы с Юн Хонг уселись в отцовский «Шевроле». Дороги, ведущие из Джорджтауна, были забиты народом: сотни людей искали спасения на холмах Аир-Итама. Все мы слышали, что творили японские войска с местными в каждом городе, через который проносились.

С приближением к Балик-Пулау дорога сделалась пустынной. Мы проехали мимо всего одного случайного малайского *кампонга.* Никогда прежде я не была в этой части острова. Дуриановый сад Старого Мистера Онга располагался на высоком крутом склоне. Когда мы въехали в него, Юн Хонг, указывая на море в просветах между деревьями, сказала: «Надо было взять с собой краски и кисти».

Мама с переднего сиденья бросила, не обора-

чиваясь: «Мы здесь не настолько задержимся, чтобы ты успела что-то нарисовать, дорогая».

Смотрителем сада был кузен Старого Мистера Онга, он и приветствовал нас по всем правилам церемониала, подобающего человеку такого богатства и положения, каким был Старина Онг. Смотритель выселил жену с дочерьми из своего дома, предоставив его нам. Моя мать, казалось, готова была заплакать, когда увидела обшарпанную одноэтажную деревянную развалюху, которой предстояло стать нашим новым домом, она пришла в еще больший ужас, когда выяснила, что нам придется пользоваться удобствами во дворе. Она тут же захотела обратно, домой, на Нортхем-Роуд, однако отец держался твердо.

Мы с Юн Хонг быстро привыкли к жизни в развалюхе. Все дни мы проводили в саду. Только-только начинался сезон дурианов, и воздух был пропитан запахом усыпанного шипами созревающего «короля фруктов». А Пун, смотритель, призывал нас к осторожности: «Он может убить, *лах*, если упадет вам на голову». Меж деревьями натянули сетки для подхвата плодов. Вышагивая под ними, я воображала себя внутри циркового шатра, смотрящей вверх на страховочные сетки акробатов. Всякий раз, заслышав по треску вет-

вей, что падает дуриан, мы быстро бросали взгляд вверх, просто для того, чтобы держаться от опасности в сторонке. Юн Хонг этот фрукт терпеть не могла, зато я обожала его едкую мясистую мякоть. «У тебя изо рта пахнет, — жаловалась мне сестра, когда я объедалась ими. — Ни один мужчина не захочет поцеловать тебя».

Мы частенько спускались на пляж, трепеща от радости, что он в полном нашем распоряжении. То было время — редкое в моей жизни, — когда можно было плавать, не беспокоясь о том, что кто-то пялится на тебя, смеется и отпускает ехидные замечания. Эта часть Пенанга выходила на Андаманское море, и раз я даже видела небольшое стадо китов, фонтанчики от их дыхания вырывались из воды. Плыли они так близко к берегу, что мне удалось сосчитать прилипал на их коже и услышать, как киты дышат — гнусаво, гулко, будто бормочут в резиновый шланг. Звук вроде бы и знакомый, а вроде и какой-то потусторонний…

Я забиралась на камни и сидела там часами, наблюдая за ними, пока не наступал вечер и их присутствие выдавали только шумные вздохи. Киты оставались в заливе целую неделю, а потом, в одно утро, их не стало.

Было бы легко позабыть, что мы находимся в гуще войны, но раз в неделю А Пун, вернувшись с продуктами из деревни в нескольких милях от сада, сообщал новости. К-Л пал, а потом и Сингапур. Тысячи *анг-мо* были отправлены в лагеря для интернированных. «Азиатская сфера совместного процветания»[224] реализовалась: при том что Япония отхватила львиную долю этого процветания.

Кэмпэйтай принялась прочесывать Пенанг: они вылавливали людей группами и увозили их на грузовиках. Старый Мистер Онг остерег А Пуна от появления в деревне на какое-то время. Однажды днем отец велел нам отправляться в дом А Пуна. Все женщины, в том числе и жены Старины Онга, выстроились в очередь к жене А Пуна, которая стригла им волосы. Было решено, что нам следует выглядеть как можно непривлекательнее.

Тогда-то в самый первый раз я почувствовала настоящий страх.

---

[224] Примечания: 224

«Великая восточноазиатская сфера совместного процветания» — правительство и вооруженные силы Японской империи в период правления императора Хирохито стремились создать в восточной Евразии «блок азиатских народов, возглавляемый Японией и свободный от западных держав». К 1945 г. в блок входили, считая Японию, 11 государств.

Мы уже около пяти месяцев жили в дурианов-
вом саду, когда Кэмпэйтай добралась до Старого
Мистера Онга. Тайная полиция разыскивала
его. Разыскивала она и моего отца. Полицей-
ские приехали на двух грузовиках, они согнали
нас всех к дому А Пуна. Мы стояли на коленях
под полуденным солнцем, подняв руки за го-
ловой. Некоторым из работников сада удалось
ускользнуть в джунгли, едва они заслышали
приближающиеся автомобили Кэмпэйтай, но у
нас такой возможности не было.

Да и потом — куда нам было бежать?

Офицеры Кэмпэйтай знали о нас все в подроб-
ностях. Они сличили наши лица с фотографиями
в своих досье. Велели Старому Мистеру Онгу и
моему отцу зайти в дом А Пуна. С того места, где
мы стояли на коленях, было слышно все: грубые
крики, побои, стенания от боли, переходившие в
нечеловеческие вопли. Младшая из жен Старины
Онга потеряла сознание. Я слушала, пока совсем
не перестала узнавать голос отца. Потом в доме
наступила тишина.

Офицеры вышли из дома без моего отца и без
Старого Мистера Онга. Они отдали приказ, и их
солдаты стали хватать, поднимая нас на ноги,
одного за другим, и тащили к грузовикам: всех

сыновей Старого Мистера Онга с их женами, дочек-подростков А Пуна, жен и детей рабочих.

А потом схватили и нас с Юн Хонг.

Воздух наполнился воплями, наши родные умоляли японцев отпустить нас. Когда я попробовала встать на ноги, мне показалось, что в них совсем нет костей. Я не могла дышать. Охранники заталкивали нас в кузов грузовика. Моя мама заголосила. Я в жизни не слышала, чтоб она так кричала! Солдат толкнул ее, а потом, уже упавшую, пнул ногой, еще раз, и еще. Он пинал ее в лицо, в голову, в живот. Я отделилась от остальных узников и бегом бросилась к матери. Охранник с маху ударил меня прикладом в живот. Я сложилась пополам и рухнула на коленки. Такой боли я никогда прежде не испытывала. С усилием сглотнула обратно вонючую рвоту, подступавшую к горлу.

«Вставай, Линь! — смутно расслышала я крик сестры у себя за спиной. — Встань, а то он убьет тебя!»

Шатаясь, я сумела подняться. Увидела маму, лежавшую на земле. Она не шевелилась. Я не могла даже разобрать, дышит ли она еще. Никто не осмеливался позаботиться о ней. Я оглянулась на дом, где мучили моего отца. Охранник под-

толкнул меня и заорал. Я похромала обратно к грузовику. Юн Хонг подала мне руку и затащила наверх.

Машина Кэмпэйтай останавливалась еще в трех-четырех деревнях, чтобы забрать еще больше узников, ими забивали кузов, пока не осталось даже места, чтобы сесть на полу. Воздух внутри брезентовой обшивки спекся от жары. Места у открытого полога занимали два охранника. Некоторых езда так укачала, что их рвало прямо на одежду. Меня мутило от запаха рвоты. Я пыталась обуздать желудок, но ничего из этого не получилось. Юн Хонг помогла мне отчиститься, но больше она ничего не могла сделать.

Грузовик остановился, нам было велено оправиться. Женщины присели по одну сторону дороги, а мужчины мочились среди деревьев на другой стороне. Охранники курили сигареты. Потом снова тронулись в путь. Через пролив на материк мы переправились на пароме. На Баттервортском вокзале нас пересадили в товарняк, поджидавший на запасном пути. В нем уже находились узники, плотно забившие вагоны для скота. Мне хотелось пить: мы целый день ничего не ели и не пили.

«Как думаешь, нас в Чанги везут?» — спросила

я Юн Хонг, когда поезд тронулся.

«Не знаю, — ответила она, — я не знаю».

Так мы ехали много часов. Охранники принесли нам ведро воды, которую предстояло разделить (без драк не обошлось) на пять-шесть десятков человек, набитых в вагон. Кто-то сказал, что мы движемся на юг. Юн Хонг надеялась, что нас перевозят в Сингапур. «Отец нас там отыщет, — говорила она. — Он нас вытащит из этого». Она старалась ободрить нас. «Если бы нас хотели убить, — шептала она мне, — то сделали бы это сразу, чего возиться».

Однажды поезд остановился. Двери открылись, и мы, с трудом передвигая затекшие ноги, выбрались из вагона. Было жарко, вдалеке солнце уходило за горы. Мы справляли нужду прямо возле рельсов, когда я услышала шум приближающегося поезда. Юн Хонг рывком поставила меня на ноги и одернула на мне юбку, сделав то же и сама. Многие другие женщины были слишком обессилены, чтобы обращать внимание.

Шум другого поезда делался все громче. Он миновал изгиб рельсов и остановился напротив нашего. Японские солдаты отперли двери вагонов для скота. Из них на пути выбрались чумазые, истощенные британские солдаты, на некоторых

лохмотьями висели остатки формы, остальные были в набедренных повязках.

«Их везут на железную дорогу в Бирму, — шепотом сказала мне стоявшая рядом евразийка. — Чертовы джапы. Мерзавцы».

Охранники сбились в кучу, покуривая и переговариваясь. Один из военнопленных британцев оглянулся по сторонам. На какой-то миг его взгляд встретился с моим. Рванув через рельсы, англичанин бросился к джунглям. Охранники принялись кричать, потом стрелять ему вслед. Тело солдата дернулось, и он упал в густую траву. Попытался подняться, но не смог. Тогда он пополз в сторону джунглей. Один из охранников догнал его, придавил своим ботинком беглецу шею и выстрелил ему в голову.

Был уже поздний вечер, когда наш поезд остановился в последний раз, двери вагона раздвинули настежь. Железнодорожный путь с обеих сторон обступали густые джунгли. Нас строем провели через заросли до опушки, где ожидали грузовики. Водители завели двигатели и включили фары. Охранник швырнул нам под ноги повязки для глаз и жестом велел их надеть. Юн Хонг сильно сжала мою руку. Ее трясло. Мы успели наслушаться всяких историй про то, как Кэмпэйтай

уводила своих узников в какое-нибудь глухое место в джунглях и там расстреливала их.

Поездка казалась какой-то бесконечной. Мы все время ехали в гору. Дороги сделались хуже. Наконец наш грузовик остановился. Никто не смел пошевелиться. Во внезапно наступившей тишине я расслышала крики на японском языке. Потом кто-то приказал нам снять повязки с глаз. Я заморгала, не соображая, где я и куда идти, кружилась голова. Неловко выбираясь из кузова, я оглянулась, прикрыв глаза от лучей прожекторов. Уже стояла ночь. Сквозь деревья я разглядела часть высокой металлической ограды, опутанной поверху колючей проволокой. За оградой была одна только тьма. С площадок на деревьях вооруженные люди вели наблюдение за нами.

Я взглянула на сестру. Наши взгляды встретились. Мы были невесть в какой дали от всего нам известного.

Охранники отделили женщин-узниц от мужчин и повели нас строем под деревья к одной из лачуг, сплетенной из пальмовых ветвей. Внутри два-три десятка женщин стояли по стойке «смирно», их лица казались землистыми в свете керосиновых ламп, свисавших с низких балок. Худенький лысый офицер осматривал вновь

прибывших. Он остановился передо мной. Я содрогнулась, когда он уставился на меня в упор. Он шагнул дальше и встал перед Юн Хонг. Закончив осмотр, офицер переговорил с охранником, который отдал поклон и вывел из нашей шеренги с полдюжины женщин. Юн Хонг оказалась одной из отобранных. Две женщины заголосили. Охранник дал каждой по пощечине. Шестерых женщин, в том числе и Юн Хонг, увели. Когда на следующее утро я с другими узницами вышла из нашего пальмового барака, было еще темно. Мы собрались на плацу. Руки и лицо у меня вздулись от комариных укусов и зудели. Юн Хонг стояла в группе молодых женщин на противоположном краю плаца. В сером свете я разглядела, что лицо у нее распухло и в синяках.

Худенький коротышка представился как капитан Фумио. «Я тут главный, — заявил он через отца Якобуса Кампфера, лагерного переводчика. — В Токио сейчас рассвет. Император собирается завтракать у себя во дворце. Вы продемонстрируете свое почтение к нему». И заставил нас поклониться в сторону Японии. Мы спели *«Кимигаё»*[225]: тем из нас, вновь прибывших,

---

[225] Примечания: 225
Гимн императорской Японии «Пусть продлится твое царство...».

кто не знал слов, приходилось просто шевелить губами из страха получить затрещину. После пения нас распустили. Я смотрела, как уводили Юн Хонг с ее группой.

«Что они с ними делают?» — шепотом спросила я у стоявшей впереди китаянки, но та не ответила, притворилась, будто не слышала меня.

Мы встали в очередь за завтраком под открытым навесом, который одновременно был и кухней, и столовой. Каждой из нас дали по миске жидкого супа и маленькому кусочку хлеба из муки грубого помола. На то, чтобы проглотить это, отводилось десять минут. Затем охранники велели нам построиться в одну шеренгу и повели строем через джунгли к пещере в склоне горы, которая образовывала вход в шахту. Под надзором японских инженеров мужчины-заключенные пробивали в горе глубокие туннели, подпирая проходы деревянными балками и бетонными опорами. Женщины выносили в бамбуковых корзинах битый камень и сваливали его в лощину на другой стороне горы. Когда я, опорожнив корзину, плелась обратно к пещере, то заметила нескольких японцев — гражданских лиц, которые расхаживали вокруг, сверялись с чертежами и вычерчивали угол солнца.

В шахте было четыре горизонта, связанных системой туннелей и вентиляционных стволов. Где-то поблизости, должно быть, протекала река, потому как через месяц после того, как я попала в заключение, когда целыми днями шли проливные дожди, рухнули стены самого нижнего горизонта. Вода залила рабочую полость, утопив узников, работавших внизу. Нас заставили откачивать воду. Главный инженер велел нам оставлять на месте тела, чтобы их схоронили в фундаментах.

В лагере жили триста заключенных. Семьдесят или восемьдесят были европейцами: гражданские и взятые в плен солдаты союзников. Остальные — китайцы плюс горстка евразийцев. Мужчины-британцы держались особняком, как и австралийцы с голландцами. Зато среди нас, женщин, никакого разделения не было. Все мы, все сорок четыре души, спали в одном душном и переполненном бараке — и европейки, и китаянки, и евразийки. Бараки располагались под деревьями, строились они из бамбука и укрывались пальмовыми листьями.

Никто из других узников не знал, где находится наш лагерь: их тоже привезли сюда с повязками на глазах. Из разговоров с китаянками-заключен-

ными я выяснила, что нас объединяло в прошлом: у всех у нас отцы или родственники деятельно способствовали возбуждению антияпонских настроений.

Я расспрашивала о Юн Хонг по всему лагерю, но никто ее не видел. Наконец Геок Инь, одна из тех узниц, что были постарше, сказала: «Там, за офицерской кухней, есть барак. В нем-то их и держат. Туда и твою сестру взяли. Если ей повезет, то придется ублажать только офицеров».

Я так и замерла: ни слова вымолвить, ни шелохнуться не могла. Потом отвернулась от нее. Геок Инь рассказала мне то, о чем я уже знала, но чему отказывалась верить с того самого момента, когда Юн Хонг увели от меня.

Я попросила отца Кампфера научить меня японскому языку. Голландскому миссионеру было уже за шестьдесят, и до этого он жил в Иокогаме. Стоило охранникам узнать, что я говорю на простеньком *нихон-го*, как они стали относиться ко мне лучше, чем к другим заключенным. Я просила их помочь мне достойно овладеть японским, и время от времени они даже совали мне дополнительную пайку или сигареты. Курево я обменивала на еду: наесться не удавалось никогда, я всегда была голодной. Еда — мысли о ней

одной мучили нас всех. Я уговорила лагерного распорядителя отправить меня на работу в офицерскую столовую подсобницей. Я в жизни своей ни единого блюда не приготовила, зато работа на кухне давала мне самый лучший шанс выжить, да и схватывала я все на лету. Из кухонного окошка мне был виден барак, где держали Юн Хонг. Пять раз в день возле него выстраивались японцы в ожидании своей очереди.

Однажды, когда я работала на кухне, в шахте рухнул ствол. Офицеры, побросав недоеденные порции, помчались туда оценить ущерб. Убедившись, что за мной никто не следит, я выскользнула из кухни и как ни в чем не бывало зашагала к бараку. На двери висел замок. Я обошла лачугу и заглянула сзади в окошко, загороженное решеткой. В полумраке различила кровати, отделенные друг от друга хлипкими бамбуковыми ширмами. Несколько девушек сидели, болтая, на кроватях, некоторым из них, мне показалось, было всего лет четырнадцать-пятнадцать. Я позвала Юн Хонг по имени. Девушки пошептались между собой, прежде чем передать мой зов дальше. Юн Хонг появилась в окошке спустя секунду-другую, все лицо ее было покрыто уже сходящими синяками. По тому, какой ужас отразился в ее взгляде,

я поняла, что тоже изменилась.

«Ты такая худенькая, — сказала она. — Только подумай, как бы мама была довольна, если б увидела тебя сейчас». Слезы катились по ее щекам и губам. Я просунула руку между металлическими прутьями и схватила ее пальцы. Все на свете я сделала бы, чтоб поменяться с ней местами!

И надо было бы.

Каждый день оставался неизменным, разница состояла только в том, что кто-то поранился, кто-то свалился больным, кто-то умер. Ночью мы спали на деревянных нарах, нас с ума сводили блохи и комары, мы со страхом считали, сколько раз подадут голос в ночи птицы-гадалки *ток-ток*. Мы работали по восемнадцать часов в шахте, выживая на ежедневном пайке из кусочка хлеба и супа, в котором плавали обрезки подгнивших овощей. Все мы страдали от самых разных болезней: дизентерии, авитаминоза, малярии, пеллагры — а очень часто они наваливались скопом. Мне повезло, я работала на кухне, но и я перенесла свою долю болезней, да и побоев тоже. Отсутствие еды и лекарств, тяжелый труд и наказания понемногу выкашивали наши ряды. Самым свирепым охранникам мы дали прозвища: Дикий Пес, Мясник, Тухломозглый,

Черная Смерть. Это позволяло нам чувствовать, пусть на самый краткий миг, что мы хоть как-то сопротивляемся.

Раза два-три я замечала за оградой гибкие коричневые фигурки, бесшумно скользившие меж деревьев. «Оранг-асли, — объяснил мне какой-то заключенный. — Джапы оставили их в покое после того, как некоторые из этих вояк погибли от ядовитых жал, которыми местные стреляют из трубок».

Каждые три недели в лагерь приезжали грузовики с эмблемами Красного Креста, выгружали стальные ящики и бочки, которые заключенным приходилось переносить в шахту. Полагая, что никто из охранников не обращает на него внимания, один солдат-австралиец заглянул в такой ящик. Фумио приказал привязать его на плацу к бамбуковой раме и высечь. Потом его на двое суток заперли в низенькую землянку с жестяной крышей, где нельзя было ни сесть, ни встать. Солдат сошел с ума, и в конце концов японцам пришлось его пристрелить.

Наступил дождливый сезон, но все равно мы должны были каждое утро тащиться на шахту под нескончаемым ливнем. Японские охранники, казалось, знали всего одно английское слово

— все должно было делаться: «Быстро! Быстро!» Заключенные слабели и умирали, однако постоянно доставлялись новые партии мужчин и женщин, взамен умерших.

Как только представлялся случай, я подкупала караульного по кухне сигаретами, чтоб он не очень-то за мной следил, и тайком убегала повидаться с Юн Хонг. Я крала для нее еду, ту малость, какую удавалось: кусок заплесневелого хлеба, банан, горсточку риса. Мы никогда не говорили о том, что заставляли ее делать японцы. Она отвлекала себя — и меня — разговорами о садах в Киото, в которых мы побывали, мечтательным голосом описывая их во всех подробностях.

«Мы выживем, — сказала она однажды. — Мы выйдем отсюда живыми».

«После всего… этого, ты все еще восхищаешься их садами?»

«Их сады прекрасны», — ответила она.

Раз-другой она порывалась завести разговор о наших родителях, гадая о том, что с ними произошло с тех пор, как мы видели их в последний раз. Я обрывала ее. Я не хотела думать о них: это свело бы меня с ума. Лучше делать вид, будто с ними все хорошо и благополучно.

Одна из девушек в бараке Юн Хонг повесилась

на балке. Я видела, как вынесли ее тело. Ей было пятнадцать лет. Капитан Фумио отобрал ей на замену молодую голландку из нашего барака. Это навело меня на мысль.

«Я скажу Фумио, что хочу занять твое место», — поделилась я с Юн Хонг, когда мы увиделись с нею вечером, до того, как очередная партия мужчин зашла к ним в барак.

«Даже думать не смей, — отозвалась она, вжавшись лицом в прутья решетки. — Слышишь меня, Линь? — Она с силой сжала мою руку в своих. — Даже думать не смей сделать это!»

Глядя на нее, я поняла, что единственное, что позволяло ей переносить свое существование все эти месяцы, — это было то, что меня не заставили ублажать японцев. Позже я узнала от одного из более-менее дружелюбных охранников, что Юн Хонг в самом начале пыталась повеситься, но офицер, дожидавшийся у ее клетушки своей очереди, помешал ей. Фумио же предупредил: «Убьешь себя — сестра твоя займет твое место».

Жизнь в лагере становилась терпимей, или, наверное, я просто стала свыкаться с нею. Охранники все так же хлестали меня по щекам за малейший проступок: поклонилась не так низко или не так быстро или слишком много времени

потратила на работу. И я не могла не видеть мужчин, стоявших в очереди возле обиталища Юн Хонг. По крайней мере там женщин кормили получше, чем остальных узников. Офицер медицинской службы обследовал их каждые две недели, чтоб убедиться, что они незаразны. После каждого осмотра д-р Каназава заходил в офицерскую столовую и сидел там в одиночестве, не говоря никому ни слова.

«Этим девчонкам повезло, — сказал он мне однажды, обернувшись, чтобы убедиться, что в зале столовой никого, кроме нас, нет. — *Ёгун-янфу* в больших городах обслуживают по пятьдесят-шестьдесят солдат в день. *Хай, хай*, наши девчонки везучие». Мне показалось, что сказал он это больше, чтоб самого себя убедить, чем кого-то еще. Позже я узнала, что одной из его обязанностей было производить аборты.

Наши японские хозяева питались отменно, можно было вынести с кухни какие-то крохи, делиться ими с Юн Хонг и с женщинами у себя в бараке. Меня привыкли уже видеть расхаживающей по лагерю, никто и не думал останавливать меня и обыскивать.

И я потеряла бдительность.

Как-то ночью, когда я выходила с кухни, из

тени выступил капитан Фумио и остановил меня. Сунув руки мне под одежду, он прошелся пальцами по моему телу, царапая мне соски плохо остриженными ногтями. Я передернулась, а ему только того и надо было.

«*Со, со, со*»[226], — зашипел он, когда его пальцы наткнулись на пару куриных лапок, которые висели на веревке, подвязанной у меня на талии, и которые я спрятала у себя меж ляжками.

В бараке, где велись допросы, один охранник держал меня, заставляя смотреть, как Фумио раскладывает на столе передо мной куриные лапки. Капитан вытащил из ножен, висевших на поясе, нож и одним молниеносным движением оттяпал у них когти, разрубив кожицу, мясо и кость. Другой охранник припечатал мою левую руку к столу и развел все пальцы. Я рыдала, умоляя Фумио отпустить меня. Он снова поднял свой нож. Теперь уже я билась изо всех сил — пинала охранников, с силой топтала им ноги, — но они ни разу не ослабили хватку.

«Траханая китайская сучка, — произнес Фумио по-английски, прежде чем вновь перейти на японский. — Думаешь, ты такая умная, чтоб во-

---

[226] Примечания: 226
Со, со, со — зд.: вот так так (*яп.*).

ровать нашу еду? Так я научу тебя понимать одну из наших поговорок: «Даже обезьяны падают с деревьев».

Я вопила и вопила, а он тяпнул лезвием и отрубил мне два последних пальца на руке.

Моему визгу, казалось, конца не будет…

За секунду до того, как тьма заволокла все, я вдруг увидела, что гуляю по какому-то саду в Киото. А потом я потеряла сознание — и боль прошла.

Раны залечивались плохо и долго.

Я бредила, бесконечно мучаясь от боли.

Но не прошло и недели, как Фумио отправил меня работать обратно на кухню. Другие заключенные, как могли, ухаживали за мной. Д-р Каназава зашил мне обрубки пальцев. И тайком сунул мне ампулы с морфином из убывающего лагерного запаса, предназначенного строго для японцев. Я отстранялась от других узников, предпочитая забываться собственными мыслями. В своем сознании я создавала сад, то есть попросту извлекала из собственной памяти все, что помнила. Так я отвлекалась от того страшного, что произошло.

Уже много недель я не видела Юн Хонг, хотя и попросила д-ра Каназаву передать ей, что забо-

лела малярией. Только она все равно узнала, что произошло. Фумио рассказал ей.

«Я убью его», — сказала она, когда я вполне поправилась, чтобы тайком навестить ее. Она протянула руки сквозь решетку, чтобы взять в них мои ладони, но я держала их плотно прижатыми к бокам.

«Дай мне посмотреть», — потребовала сестра.

Я подняла изуродованную руку, утянутую бинтами.

«О, Линь… — прошептала она. — Этот скот…»

«Уже заживает».

Я рассказала Юн Хонг о саде, в котором увидела себя всего за миг до того, как Фумио отрубил мне пальцы.

«Мы разобьем свой собственный сад, — сказала она. — И это будет место, откуда никто не сможет нас увезти».

Позже в тот вечер, лежа на нарах, я вновь подумала о том, что она сказала. «Если когда-нибудь у тебя, Линь, будет возможность бежать, я хочу, чтобы ты воспользовалась ею. Нет, не спорь. Обещай мне, что убежишь. Не думай. Не оглядывайся. Просто беги».

Я пообещала.

А что мне оставалось делать?

Малярия унесла отца Кампфера, и Фумио назначил меня переводчиком между японцами и заключенными. Однажды, года через два с половиной после того, как я попала в лагерь, заключенным приказали построить хижину. Когда та была готова, Фумио приказал мне явиться туда. С ним был еще один человек, которого я никогда раньше не видела. По тому почтению, какое выказывал ему Фумио, я поняла, что это какая-то важная шишка. Было ему немногим за сорок, волосы коротко стрижены, лицо худое и узкое. Одет он был в белые брюки и в белый китель со стоячим воротником. «И как это ему удается ни пятнышка не посадить на такую одежду в джунглях?» — подумала я. Звали его, сообщил он мне, Томинага Нобуру, и ему нужно, чтобы кто-нибудь переводил для него документы с английского на японский. «Еще так недавно этим занимался отец Кампфер», — посетовал он.

«Он до сих пор был бы жив, если б ваши люди дали ему нужное лекарство», — ответила я.

Рука Фумио махом пошла назад в движении, которое всем нам было знакомо. Томинага взглядом остановил его: «Прошу вас, капитан Фумио, оставьте нас».

Ладонь капитана сжалась в кулак, руки вытя-

нулись по швам. Он низко поклонился Томинаге и вышел из хижины. Томинага указал мне на стул и пошел к походной печурке — приготовить воду для чая. Стол его в углу был завален схемами, документами и картами, со стены взирал на нас с портрета Хирохито в военной форме. На другой стене в рамке висел сделанный углем набросок.

«Сад»[227], — сказала я, припомнив, что рассказывала мне Юн Хонг — когда-то, целую жизнь назад.

«Сад сухих камней, да», — отозвался Томинага, глядя на меня и на мгновение забыв про чайник в своей руке.

«Где это?»

Он бросил взгляд на мою руку, все еще обмотанную окровавленной повязкой.

«Ты что-то знаешь про наши сады?»

«Жил когда-то в Малайе один японский садовник, на Камеронском нагорье, — сказала я. — Не знаю, там ли он еще».

Я задумалась на несколько секунд.

«Накамура… как-то так. Так его звали».

«Ты имеешь в виду Накамура Аритомо? Он был одним из садовников императора».

---

[227] Примечания: 227
Букв.: сухие горы и воды (*яп.*) — сад камней.

«Вы с ним встречались?» — ухватилась я за ниточку из прошлой жизни.

«Накамура-сэнсэй — в высшей степени уважаемый садовник, — ответил Томинага, садясь на плетеный стул напротив меня. — Откуда тебе про него известно?»

Мое колебание длилось всего какую-то долю секунды: «Искусство расположения камней всегда приводило меня в восторг».

«Что случилось?» — он указал на обрубки на моей руке.

Я не ответила, и лицо его отяжелело.

«Фумио», — произнес он.

Я поднесла чашку к лицу. Я не пробовала чая с тех самых пор, как попала в лагерь. Успела забыть, на что похож его запах. Закрыв глаза, я потерялась в его благоухании…

Томинага очень быстро понял, что моим познаниям в японском было далеко до уровня отца Кампфера, однако не отказался от меня, как я боялась. «Только теперь ты — подданная Японии, — заявил он, — и у тебя должно быть японское имя». И настоял, чтобы я звалась Кумомори[228]. Я решила, что поступлю мудрее, если

---

[228] Примечания: 228
Кумомори — облачный лес (*яп.*).

не стану противиться, да и потом, если подумать, так оно в чем-то и хорошо: было легче сделать вид, будто содеянное мною было сделано кем-то другим — женщиной, не носившей моего имени.

Он любил говорить со мной о садоводстве, и я выяснила, что в свободное время он рисовал своим друзьям планы садов. Он постоянно изучал карты, делая пространные заметки. Обследовал шахту по пять-шесть раз в день. Мне приходилось следовать за ним вниз, в туннели, переводить его распоряжения заключенным. Охранники заранее криком предупреждали узников о его приближении. Все, даже охранники, обязаны были кланяться ему, глядя в землю. Я не бывала в шахте с тех пор, как стала работать в офицерской столовой. И была поражена размаху, с каким она разрослась, как разветвилась глубоко под землей! В стены пещер были вделаны металлические стеллажи, полностью заставленные стальными ящиками.

Сменяли друг друга месяцы. Приходили и уходили сезоны дождей. Я завидовала их свободе. Всякий раз, когда удавалось поговорить с Юн Хонг, я просила ее рассказать мне побольше про японские сады, с тем чтобы я могла воспользоваться этими познаниями в разговорах с

Томинагой. Я попросила Томинагу освободить Юн Хонг, но он отказался: «Я не могу освободить одну и оставить остальных. Это неправильно».

«А правильно позволять, чтобы ее снова и снова насиловали? Мне все равно, правильно это или неправильно, Томинага-сан, — настаивала я, когда он ничего мне не ответил. — Я хочу только одного: чтобы моя сестра не страдала».

Я думала; а не случалось ли и ему брать ее силой?..

И, даже зная, что сестра никогда не простила бы мне этого, заявила:

«Я пойду на ее место. Только вызвольте ее из того барака».

«Ты для меня слишком полезна, Кумомори», — сказал Томинага.

По лагерю поползли слухи, что Япония проигрывает войну. Охранники, почуяв перемену в отношении к ним заключенных, били их с усилившейся жестокостью. Нет, не «их», а «нас». Нас. Случались времена, когда я забывала, что как бы по-доброму ни обращался со мной Томинага, насколько бы из-за моих дружеских отношений с ним я ни была прикрыта от жестокости охранников — я все равно узница, рабыня японцев. Когда я поведала Юн Хонг о неминуемом поражении

японцев, та задумалась.

«Очень скоро нас выпустят, — говорила я, дивясь: отчего сестра не разделяет моего ликования. — Мы будем свободны и отправимся домой».

«А что люди будут говорить обо мне?»

«Никто не узнает о том, что происходило тут. Я тебе обещаю».

«В конце концов выплывет. Кто-то да проговорится, — она отвела взгляд в сторону. — И ты это знаешь».

«Когда мы выберемся отсюда, то больше никогда не станем заводить речь об этом. Никто никогда не узнает», — повторила я.

«Даже если мы никогда не заговорим об этом, я буду видеть это в твоих глазах всякий раз, когда посмотрю на тебя. — Со стороны входа донеслись мужские голоса и грубый смех. — Тебе лучше уйти».

Сестра отступила от окна, и мрак поглотил ее.

Стальные ящики стали привозить каждую неделю. К этому времени заключенных в лагере осталось меньше сотни. Последнюю партию военнопленных доставили четыре месяца назад и с тех пор никаких других узников не привозили. Каждые две недели Томинага покидал лагерь,

уезжая куда-то в фургончике Красного Креста. Когда несколько дней спустя он возвращался, то был угрюм и неразговорчив.

Я никогда не спрашивала, куда он ездил, а уж тем более про то, чем вообще занимается на войне. Казалось, самую большую радость ему доставляло обсуждать со мной его теории создания садов. Я никогда не упускала случая расспросить его о самых незначительных подробностях. То, что он говорил, меня интересовало, но я поступала так еще и потому, что желала продлить время, которое проводила возле него, оттянуть свое неизбежное возвращение к лагерной действительности.

«Когда война закончится, ты должна поехать посмотреть сад Накамура Аритомо», — как-то сказал он мне.

«А скоро война кончится?»

Он глянул на меня, потом отвернулся и стал рассматривать два водопада высоко в горах над лагерем. Он настолько похудел, что глаза у него, казалось, уродливо растянулись, словно бы, оплавляясь, стекали по лицу.

Томинага отсутствовал в лагере три недели, это было самое длительное отсутствие на моей памяти, и я уже думала, что больше никогда не

увижу его. Однажды днем охранник шепнул мне, что он вернулся. Я ожидала, что Томинага вызовет меня, как он это всегда делал, но уже настала ночь, а о нем не было ни слуху ни духу. Я тайком выбралась из барака и пошла к его хижине. Когда я подошла, домик был погружен во тьму, а Томинага бродил неподалеку, среди деревьев, освещая себе дорогу керосиновой лампой. Я тайком последовала за ним, к бараку *ёгун-юнфу*. Спрятавшись за деревом, я следила за ним. Мужчины, ждавшие возле барака, встали по стойке «смирно» и склонились перед ним в поклоне, пока он, минуя их, проходил вовнутрь.

Я бешено злилась на него, а еще больше — на себя. Чего было от него еще ждать?! Он такой же, как и все джапы.

Он вызвал меня на следующее утро, после того как мы пропели *«Кимигаё»* и поклонились императору Японии. Охранники, передвигающиеся по лагерю, казались нервными и скованными. На некоторых из них Фумио, что-то приказывая, попросту орал отнюдь не благим матом. Я поспешила прочь, чтоб не встречаться с ним. Томинага быстро ходил взад-вперед возле хижины. Увидев меня, он встал и сказал: «Иди со мной». У меня не было сил взглянуть на него. Он схватил меня

за руку и потащил за хижину, где стоял его фургончик Красного Креста. Вытащил из кармана полоску черной ткани, растянул ее в руках: «Повяжи это!» Я уставилась на него, все еще думая: кого из женщин ты использовал прошлой ночью, тварь?! Невзирая на нашу дружбу, я пришла в ужас, мне показалось: завязав мне глаза, он намерен пристрелить меня. Наверное, как раз из-за нашей дружбы он и удостаивает меня этой особой милости!

«Вчера ночью я оставил твою сестру за собой, — заговорил он. — Я сказал ей, что вывезу тебя. У меня с английским плохо, но она поняла, что я ей говорил. — Он достал из кармана бумажку, сложенную в маленький квадратик. — Она попросила передать тебе это, — он сунул записку мне в ладонь. — У нас не очень-то много времени, Кумомори».

Развернув бумажку, я узнала аккуратный изящный почерк Юн Хонг: *«Помни о своем обещании. Не раздумывай. Не оглядывайся. Беги»*.

Я подняла взгляд от записки на Томинагу, потом оглянулась на ряд бараков, скрытый среди деревьев.

В предрассветной тьме их было трудно различить.

Он сделал шаг ко мне — и я позволила ему завязать себе глаза. Чувствовала, как он связывает мне веревкой кисти рук. Сжав мне локоть, он помог мне забраться в кузов фургончика. «Чтоб звука от тебя не было слышно», — предупредил он перед тем, как закрыть дверцы. Я слышала, как он залез на водительское сиденье, а через секунду заурчал оживший мотор. Фургончик дернулся и покатил. У ворот Томинага остановился, заговорил с охранниками. Я затаила дыхание, силясь расслышать его слова. А потом мы опять поехали. В первый раз я выехала из лагеря с тех пор, как нас с Юн Хонг привезли сюда, почти три года назад. *«Я вернусь, чтобы забрать тебя,* — молча клялась я сестре. — *Я снова отыщу лагерь. Я вернусь за тобой»*.

Дорога (если это вообще была дорога) была плохой. Время от времени на крутых поворотах меня шмякало о стенки фургончика. Ветки когтями царапали крышу. Прошло минут пятьдесят, а то и целый час, прежде чем фургончик свернул в сторону и резко остановился. Я слышала, как он вылез из машины и отпер двери. Он помог мне выбраться наружу, стянул с глаз повязку и развязал руки.

Мы стояли на небольшой полянке. Луна только

что зашла за горы. Я дышала жадно и тяжело. Он вручил мне сумку с бутылкой воды и кусочками исходящей паром тапиоки, завернутой в пальмовые листья. Указывая на тропу, ведшую вниз, в гущу деревьев, Томинага сказал: «Выйдешь к реке. Иди по джунглям. Иди. Забудь все, что видела».

«Где мы? Скажите мне, где лагерь находится».

Он низко поклонился мне: «Война окончена. Через несколько дней император объявит о нашей капитуляции».

Радость и облегчение вскружили мне голову: «Значит, их освободят!»

«Никого из заключенных не выпустят, Юн Линь».

Услышав собственное имя, сорвавшееся с его губ, я растерялась. Сразу даже не поняла, к кому он обращается. И только потом поняла то, что он сказал.

«Отвезите меня обратно в лагерь! — я повернулась к фургончику. — Отвезите меня обратно!»

Он схватил меня за плечи, развернул, ударил по щекам — дважды. Толкнул — и я упала лицом в землю. Слышала, как он забрался обратно в машину. Заработал мотор, фургончик развернулся — и он уехал.

Тишина вернулась в джунгли. Я поднялась с земли, подхватила сумку и припустила в ту сторону, где скрылась его машина. Я скользила по проплешинам мха, падала, спотыкаясь о камни и корни. Приходилось часто останавливаться, чтобы перевести дыхание. В конце концов я перешла на шаг. Дважды сбивалась я с пути и теряла драгоценное время, пытаясь снова выйти на след. Под конец я уже совсем не соображала, в ту ли сторону все еще иду. Хотелось остановиться и упасть, но я все шла и шла.

Я должна была вернуться к лагерю.

Солнце стояло высоко, когда я вышла на край какой-то лощины. Впереди, далеко на восток, небо было ясное, зато позади меня на горы надвигались грозовые тучи. Я выпила последний глоток воды из бутылки и выбросила ее. Взгляд мой обшаривал долины, отыскивая два водопада, которые я так часто видела из лагеря. Используя их как вешки, я выискивала шахту и минуту спустя отыскала ее под уступом известняковой скалы. Надежда ожила во мне.

Я забралась на поверхность скалы, чтобы видеть получше. Заключенных собрали возле входа в шахту в окружении охранников. Я пыталась различить в толпе Юн Хонг, но было слишком вы-

соко. Какой-то человек в серой одежде и головном уборе странной формы расхаживал возле шахты, помахивая чем-то зажатым в руке, из чего курился дымок. Ладан — поняла я мгновение спустя.

Из жерла шахты появилась фигура, она делалась все выше по мере того, как человек поднимался по уходившему вниз туннелю. Он был одет в белое, и я поняла: это Томинага, хотя разглядеть его как следует не могла. Он остановился перед заключенными и сделал то, чего ни один японец никогда не делал по отношению к ним — к нам — прежде: прижав руки по швам, он всем телом сложился в глубоком поклоне.

Выпрямившись, он подал знак охранникам.

Те принялись кучками отгонять узников в джунгли, подальше, в сторону от лагеря. Нужно было поспешить: спуститься к шахте и выяснить, куда погнали заключенных, пока я не потеряла их след. Однако что-то удержало меня посмотреть, что собрался делать Томинага.

Он отошел от входа, дойдя почти что до кромки джунглей. Ветер донес глухой рокот следовавших один за другим взрывов. А потом — тишина. Спустя мгновение пыль и дым вырвались из жерла шахты, но Томинага стоял по-прежнему, позволив облаку из земной преисподней укутать его

полностью. Когда вскоре пыль немного осела, он стоял как стоял, в том же положении, вытянувшись во весь рост. Повернулся спиной к шахте и, не оглянувшись, вошел в джунгли.

И вдруг — как ножом срезало холм над шахтой, и вместе с ним вниз полетело все: деревья, камни, земля!

Когда я наконец-то спустилась в долину, шел дождь.

Я представления не имела, сколько времени прошло: может, два часа, а может, и четыре. Никак не могла отыскать лагерь, пока не поняла, что уже нахожусь в нем. Ограда была снесена. Все бараки до единого исчезли, клочок огорода с овощами для заключенных засыпан землей. Даже битый камень убран.

От лагеря не осталось ни следа.

Я побежала к шахте, обнаружив ее только по свежему оползню, похоронившему вход, побегам и деревьям, торчавшим из перемешанной земли. Я вглядывалась в джунгли вокруг, отыскивая тропу, по которой увели заключенных.

Гром прогрохотал где-то за горами. Потом еще раз, и по тому, как подрагивала земля под ногами, я поняла, что это не гром. Раздался третий взрыв, эхом раскатившись в горах. Я попробо-

вала определить место, откуда прилетел звук. Это оказалось невозможно. В глаза бросилась хорошо утоптанная тропа, шедшая в джунгли, и я бросилась к ней.

Дождь хлестал все сильнее, ослепляя меня и превращая тропу в реку грязи. Не знаю, долго ли я шла, только в конце концов пришлось остановиться и укрыться под низко свисавшими ветвями…

Когда я снова раскрыла глаза, заканчивалось утро. Гроза прошла, но вода все еще лилась с веток и листьев. Дрожа, я встала и подошла к краю крутого откоса. С верхушек деревьев поднимался редкий утренний туман. Джунгли, казалось, тянулись до бесконечности, и я понимала, что только заблужусь, если стану забираться в них дальше. Повернув обратно, дошла до шахты. За ночь дождь смыл с горы все обломки. У меня подогнулись колени, и я рухнула на землю. Мои рыдания были единственным звуком в этом гробовом молчании.

Потом я поднялась. Пора было уходить.

Обернувшись на джунгли, куда охранники увели заключенных, я закрепила в памяти формы и цвета гор, известняковых гребней и поклялась Юн Хонг, что вернусь за ней, чтобы выпустить на

свободу ее душу оттуда, где ее замуровали.

Я поплелась обратно к лагерю, и дальше, в джунгли, стараясь держаться тропы, по которой шла днем раньше. Ветки и колючки до крови расцарапали мне лицо и руки. Все время не оставляло ощущение, что кто-то преследует меня, как дикую зверушку. Наверное, тигр шел по моему следу. А может, демон джунглей подкрадывался ко мне, заставляя в смятении ходить кругами.

Меня бил озноб. Кости ломило. Настал момент, когда я поняла: никуда дальше я идти не смогу. Я улеглась в выемку, образованную корневой лапой инжирного дерева, и закрыла глаза. Я чувствовала, что охотившееся за мной существо подходило ближе. Кустарник сначала зашуршал, потом затрещал сильнее. Я раскрыла глаза. Слушала, как все ближе подходит это существо.

А потом листья папоротника передо мной раздались в стороны.

Туземец-парень лет пятнадцати-шестнадцати предстал передо мной. На нем была только набедренная повязка, а у губ он держал свою духовую трубку. Ни на миг не сводя с меня глаз, он достал висевший у пояса небольшой кусок ствола бамбука и вынул из него оперенное жало длиной с ладонь. Вложил его в духовую трубку,

заложив мундштук кусочком ткани. Затем поднес мундштук к губам. Где-то в глубине моего сознания гнездилось знание того, что такие жала покрывают ядом, но я была слишком измотана, чтобы о чем-то беспокоиться и чего-то бояться.

Парень нацелил в меня свою трубку, надул щеки и выпалил жалом прямо мне в грудь.

Донесшиеся издалека крики и смех детей разбудили меня. Видела я все словно бы размытым, но смогла разглядеть, что раны у меня на руках обработаны: от них шел землистый запах какого-то отвара. Я лежала под грубым одеялом в углу длинной комнаты. Слышала голоса: судя по ним, вокруг меня было много других людей. А под досками пола похрюкивали свиньи и рылись в грязи цыплята.

Сколько я ни спрашивала, *оранг-асли* упорно отказывались сообщить мне, из какого они племени. В длинном жилом доме обосновались двадцать-тридцать семей, у каждой из них было свое место, совершенно открытое. Они продержали меня у себя целую неделю. Может, и дольше: я мало что помню из того времени. Я приходила в сознание и тут же теряла его. В короткие промежутки времени, когда я была в здравом уме, я гадала: не напичкали ли меня наркоти-

ками. Непрерывным потоком приходили люди, усаживались на корточки и глазели на меня, но хранили молчание. Тот малайский, на каком говорила я, мало чем отличался от языка, на котором говорили они. Однако я подозревала, что они решили: будет безопасней сделать вид, будто они не понимают меня. Только однажды со мной заговорил вождь и рассказал, что нашедший меня парень не пытался меня убить своим жалом, а всего лишь хотел лишить сознания, чтобы самому отправиться за подмогой.

Когда я вполне окрепла, вождь дал мне того самого парня в провожатые и он опять повел меня через джунгли. Повел к Ипоху, ближайшему городу. Я чувствовала, что ему было велено выбрать путь подлиннее и позапутанней, чтобы лишить меня возможности снова отыскать дорогу к племени. Они не хотели, чтоб я вернулась и принесла беду в их селение.

Так я рассудила.

Дня четыре, если не пять, шагали мы по джунглям, прежде чем вышли на пропитанную гудроном дорогу. Парень поднял руку и указал направление, произнеся: «Ипох». Я спросила, как его зовут, но он только рукой махнул, повернулся и шмыгнул обратно в джунгли.

Ехавший в город водитель грузовика, груженного тапиокой, остановился и подвез меня. От него я узнала, что Япония капитулировала еще двадцать дней назад.

Война кончилась.

Глава 20

Монахини в монастыре по-прежнему причитали, когда я завершила рассказ.

— Война кончилась, — произнесла еще раз.

Мне полагалось бы почувствовать облегчение, излив то, что сидело закупоренным внутри, да вот только легче не стало.

— Покажи мне свою руку, — сказал Аритомо. — Сними перчатку.

Он уже много раз видел ее непокрытой. Я даже не шелохнулась. Он кивнул мне, и я стащила левую перчатку, высвободив два обрубка. Он взял мою руку, огладил пальцами шрамы.

— Ты левша, — произнес он.

— Фумио об этом тоже знал. Мне пришлось заново учиться делать простейшие вещи.

— Тот рисунок сада *каре-сансуй*, что ты видела в домике Томинаги Нобуру, — заговорил Аритомо. — Что было на нем?

Я подумала, припоминая:

— Три камня в одном углу и два низких плоских серых камня по диагонали напротив них, а позади — миниатюрная сосна, которой придана

форма зазубренного храмового колокола.

— Сухой горно-водный сад[229] в летнем доме его деда на озере Бива[230], — кивнул Аритомо. — Ему триста лет, и он известен во всей Японии.

Он помолчал.

— Томинага-сан был человеком, разбиравшимся в «искусстве расстановки камней».

— Но не таким искусным, как ты.

— Сам он считал себя не менее искусным. Томинага-сан был двоюродным братом императрицы, — продолжил он так тихо, что я подумала, будто он разговаривает сам с собой. — Мы знали друг друга еще с тех пор, как были мальчишками лет пяти-шести.

— Так это с ним ты спорил из-за того, как устраивать сады!

Мне следовало бы догадаться раньше!

— Из-за Томинаги император и уволил тебя.

Аритомо ничего не сказал в ответ. Я воскликнула:

— Глупо было препираться из-за какого-то

---

[229] Примечания: 229

Сухой горно-водный сад — разновидность сада камней в системе дзен, когда иллюзия гор и водного пространства создается с помощью камней и гравия.

[230] Примечания: 230

Озеро Бива — самое большое пресноводное озеро Японии на острове Хонсю.

сада!

— Дело было вовсе не в саде. Речь шла о том, во что каждый из нас верил. Он всегда был неуступчив во взглядах, в своих принципах. Я как-то сказал ему, что из него получится отличный солдат.

— Не такой уж он был несгибаемый, — возразила я. — Он не подчинился приказу. Помог мне бежать.

— Вот это и *вправду* ему не было свойственно. Он всегда самым решительным образом защищал наше государство, неизменно был предан императору, нашим вождям.

— Он о тебе слова плохого не сказал. Даже часто восхвалял сады, созданные тобой.

Аритомо как-то вдруг постарел лицом.

— Зато чту он сделал с заключенными… чту мы сотворили со всеми вами…

Он затих, потом выговорил:

— Ты ведь никогда никому не рассказывала об этом?

— Пыталась отцу рассказать, один раз. Он и не пожелал слушать. И братец мой тоже…

— А твои друзья?

— Я оказалась отсечена от мира, который знала прежде. Я не отбрасывала тень, понимаешь?

Было такое чувство, будто все вокруг знакомо и в то же время неузнаваемо. Иногда я так пугалась… то есть пугалась того, что это чувство не оставит меня до конца жизни.

— Ты все еще там, в лагере, — заметил Аритомо. — Тебе не удалось сбежать.

— Точно, часть меня осталась там, похороненная заживо с Юн Хонг и всеми остальными заключенными, — медленно-медленно выдавила я из себя. — Часть меня, которую пришлось оставить.

Я замолкла. Аритомо меня не торопил.

— Наверное, сумей я вернуться в лагерь и вызволить ту часть меня, то, может, и смогла бы снова ощутить себя единым целым.

— Судя по всему, что тебе известно, — сказал он, устремив взгляд вдаль, — лагерь… и шахта тоже… вполне могли бы находиться за теми горами.

— Там было не так высоко. И там было влажно. И жарко. — Я глубоко вдохнула. — И в воздухе не было ничего от этой… этой чистоты.

— Ты пробовала искать свой лагерь?

— После того как поправилась, только этим и занималась. Хотела найти, где они убили Юн Хонг. Хотела дать волю ей… ей и всем, кто погиб там. Устроить им подобающее погребение. Толь-

ко о том лагере никто ничего не знал: ни японцы, ни военнопленные или солдаты, с которыми я беседовала.

Почесывая обрубки на руке, я сообразила, что так и не надела опять перчатки. И удивилась тому, что не ощущаю стыда или ужаса.

— Я объехала несколько поселений *оранг-асли* и всякий раз описывала место, куда попала и где меня выходили, но никто ничего не знал и о туземцах, спасших меня.

— Что, по-твоему, было внутри тех ящиков, что прятали в шахте?

— Мы считали, что оружие и боеприпасы, — сказала я. — Но позже, когда до нас стали доноситься слухи, что Япония проигрывает войну, мне показалось странным, что это оружие не пускают в ход.

— За несколько месяцев до высадки наших солдат, — признался Аритомо, — Томигава приехал повидаться со мной.

Я вся подалась вперед и уставилась на него:

— Он приезжал сюда? И чего же он хотел?

— От имени императора он передал мне в дар водяное колесо.

Аритомо разглядывал линии на своих ладонях.

— Если это хоть как-то, пусть и немножко,

утешит тебя, могу уверить, что Томинага не насиловал твою сестру. Он предпочитал мужчин. Всегда. Думаю, он пошел повидаться с твоей сестрой, потому что считал, что без нее ты не уедешь.

— Но ведь уехала-таки. Я ее бросила.

— Она как раз и хотела, чтоб ты так поступила. Ты сдержала данное ей слово.

Мы сидели на лавке, прислушиваясь к бормотанью престарелых монахинь, покинутых в этом монастыре, о котором скоро все позабудут. Наверное, они молились, чтобы приплыли облака и унесли их, когда придет их черед покинуть этот мир…

Не один день после нашего возвращения из Храма Облаков я места себе не находила, не в силах сосредоточиться на своей работе в Югири. Не было покоя в душе: рассказав Аритомо о том, что пережила моя сестра, я преступила данное ей обещание хранить в тайне ее страдания.

Аритомо держался все настороженнее: я замечала это по тому, как он каждое утро, когда мы начинали занятия *кюдо*, слегка приподымал лицо, как будто воздух на пробу брал или вслушивался в шум деревьев. День ото дня дожди шли все сильнее и все дольше, иногда часами кряду,

однако, когда дождь прекращался, Аритомо гонял нас еще немилосерднее, бранясь, что мы слишком долго возимся с полученным заданием.

Он велел нам обстричь сосны по периметру его сада. Я была самой легкой, а потому на меня надели веревочную петлю и подняли на высоту тридцати футов[231] от земли. Сосновые иголки исцарапали мне щеки и руки, и я с трудом улавливала среди порывов ветра голос Аритомо, выкрикивающего мне свои указания. Я пробыла на верхотуре минут десять, когда заметила, как он взмахом руки велел рабочим опустить меня на землю. Извернувшись в петле, чтоб можно было глянуть назад, я увидела, что все небо почернело.

Мы бегом бросились к дому и добежали как раз вовремя. Стоя бок о бок на *энгава*, смотрели, как мир растворялся в воде. Горы, джунгли, сад — все исчезло в потоках дождя.

Какой-то неестественный сумрак окутал дом. Молния сверкнула и пронеслась по комнатам, высвечивая и пронизывая ширмы из рисовой бумаги, словно переносящиеся из мира в мир души. Аритомо пошел в кабинет и зажег настоль-

---

[231] Примечания: 231
Более девяти метров.

ную лампу. Я поразилась: он не отдал поклона портрету своего императора.

Фотографии на стене вообще не было.

— Монсун начался, — сказал он. — В следующие несколько месяцев работы будет немного.

— Дождь не будет лить непрерывно, — беззаботно бросила я, скрывая, насколько гложет меня тревога, что он объявит: моему ученичеству пришел конец. Я понимала, что еще не готова создать свой собственный сад.

— Прислушайся вот к этому.

Над нашими головами ливень, борясь с ветрами, молотил по черепицам крыши. Сад, дом, пространство между нами двоими — все сделалось песней, скрытой в атмосферной стихии.

— Хочешь, чтоб я уехала из Югири? — спросила я.

— Нет, — последовал ответ. — Я хочу сделать тебе татуировку.

Верно ли я расслышала за шумом дождя?

— Татуировку? Такую, как ты Магнусу сделал?

— Ты не понимаешь, — он сжал и разжал пальцы несколько раз. — Это будет настоящее *хоримоно*, покрывающее верхнюю половину тела.

— Ты с ума сошел, Аритомо, — опешила я. — Ты хоть подумал, во что превратится моя жизнь,

если кто-нибудь узнает, что на мне — вот такое?!

— Если бы тебя заботило, что подумают другие люди, ты бы никогда не приехала повидаться со мной.

— Ты говорил, что бросил это дело — татуировки.

— В последнее время они снова манят меня к себе, — он стиснул пальцы. Костяшки на них, похоже, распухли еще больше, чем обычно. — Боль донимает все больше. Я хочу создать *хоримоно*, Юн Линь. Такой возможности у меня не было никогда. Или не находился человек, который мне нужен.

Он зашел за пустую бамбуковую птичью клетку и смотрел на меня сквозь ее прутья. Я видела его лицо, разделенное на длинные узкие полоски. Легким толчком кисти он заставил клетку вращаться. Лицо его словно перемещалось.

— Мне совсем не интересно сделать одну маленькую наколку. А вот *хоримоно*…

Вращение клетки замедлилось, но ее прутья по-прежнему отбрасывали тени по стенам. Мне вдруг показалось, что я внутри волшебного фонаря смотрю, как мир кружится вокруг меня на экране из рисовой бумаги.

— Обрести *хоримоно* — большая честь, — про-

должал Аритомо. — В Японии от тебя потребовали бы рекомендательных писем и *хороти* вел бы с тобой долгие беседы, прежде чем решился бы поработать над твоей кожей.

Послышался мягкий треск бамбука: Аритомо остановил вращение клетки. Стены же, казалось, продолжали вращаться на несколько секунд дольше. Он вышел из-за клетки.

— И что за рисунок ты задумал?

— *Хороти* и его клиент не обсуждают содержание рисунков до того, как принимается решение.

— А как они договариваются?

— Некоторые *хороти* хранят рисунки или фотографии уже сделанных ими наколок.

— Дай мне их посмотреть.

— Я никогда не храню их: они не для того. И я никогда не делал *хоримоно*.

Секунду-другую он колебался. Потом опустился на колени перед шкафчиком с ящиками в углу кабинета. Достал коробку с гравюрами по дереву, которые уже показывал мне, и разложил их на столе.

— Большинство мастеров татуировок — искусные художники-граверы: навыки, в сущности, требуются одни и те же. *Хороти* часто создают картины, вдохновленные книгой *«Суикоден»*.

— Как это происходит?

Он положил на стол один оттиск *укиё-э*. Процесс нанесения татуировки начнется с *судзи* — нанесения контура кисточкой, объяснял он, при этом пальцы его легко порхали по гравюре, будто стрекоза скользила над прудом. После этого контур будет наколот и наступит следующая стадия — *бокаши*, наполнение рисунка цветами.

— Есть два способа исполнить *бокаши.* Использовать больше иголок там, где нужно наложить более темные цвета. Тушь попадает в кожу на одинаковом уровне, иголки держатся вот так, — он свел пальцы в одну точку, как будто пытался отбросить тень головы птицы. Отвесно поведя рукой, клюнул меня в кисть. — Эффект оттенков, подобных тому, что ты видишь здесь, — он показал на лепестки камелии в углу *укиё-э*, — создать труднее. Тушь понадобится вводить тебе под кожу на разную глубину. Мне потребуется меньше иголок при использовании их под косым углом.

Его неспешное, обыденное объяснение убаюкивало меня.

— *Хоримоно* может быть заключено в рамку, — продолжал он. — Или слиться с окружающей кожей, как в технике «рассвет» — *акебоно микири*.

— Рассвет, — прошептала я. Это вызывало в мыслях рубеж без видимой границы, небо, огражденное только барьером света. — Вредные побочные последствия имеются?

— Как сказать… в старину, когда в красной туши использовался кадмий, у клиентов поднималась высокая температура, появлялась боль. Некоторые жаловались, что их татуированная кожа перестала потеть, что им прохладно даже в самые жаркие дни.

— Как у пресмыкающегося. И сколько понадобится времени, чтобы закончить татуировку?

— Большинство людей способно выдержать всего один часовой сеанс в неделю. — Он умолк, подсчитывая в уме. — На *хоримоно*, вроде того, что я задумал, потребуется около… э-э, недель двадцать-тридцать. Полгода. Возможно, меньше.

— Я подумаю, — осторожно принялась я выстилать словами пространство между нами, — если татуировка… если *хоримоно*, — японское название мне нравилось больше, словно в нем заключался иной смысл, — если *хоримоно* покроет мне только спину.

Несколько секунд ушло у него на раздумья.

— Дай мне посмотреть на твое тело.

— Заштрорь окна.

— Только глупец высунется из дому в такую бурю.

Спустя мгновение он послушался меня и прикрыл окна шторами. Время от времени грохот дождя по крыше уходил с переменой ветра, только чтобы вскоре ударить с новой силой: его изменчивый ритм, похоже, совпадал с моим дыханием.

Аритомо медленно расстегнул на мне блузку, затем повернул меня кругом, мягко стягивая ее с моих плеч. Я потерла ладони, согревая руки, когда он расстегнул бюстгальтер. Мы уже так часто бывали обнаженными в присутствии друг друга, но вот сейчас, стоя у него в кабинете, я чувствовала себя неловко. Он перекинул мою одежду через спинку стула и включил еще одну лампу, направив ее свет на меня. Я прикрыла глаза, тепло от лампы было приятно голой коже.

Он обходил меня кругом, и я поворачивалась за ним: луна-спутница, притягиваемая на орбиту планеты.

— Стой на месте, — сказал он. — И стой прямо.

Я расправила плечи, вздернув груди и подбородок. Его прикосновения были мягкими поначалу, потом он принялся вминать большие пальцы мне в спину. Остановился, когда я вздрогнула, но

я подала знак: продолжай. Руки его задерживались на рубцах от побоев, которых я натерпелась в лагере. Я чувствовала, как кончики его пальцев поглаживали отметины.

— Я разрисую тебя отсюда, — он прочертил кривую от плеча до плеча, и его пальцы замерли в ложбинке прямо над ягодицами, — досюда. *Хоримоно* не будет видно под одеждой.

— Боль, она выносимая?

— Ты испытывала куда хуже.

Я отвернулась от него и быстро оделась. Поправила воротничок блузки и привела в порядок волосы.

— Ты никогда ничего подобного не делал ни с кем другим? Даже со своей женой?

— Ты будешь одна-единственная, Юн Линь.

Листы *укиё-э* погромыхивали, когда я поднимала их, словно демоны, втиснутые в бумагу, силились выбраться из своей адской тюрьмы. Я тут же снова положила их.

— Ничего этого я на себе не хочу.

— Они ничего для тебя не значат, — согласился он.

— Что же ты тогда предлагаешь?

Минуту или две он был погружен в молчание.

— Это *хоримоно* может стать продолжением

«Сакутей-ки». Я вложу в него все выношенные за много лет идеи — то, что тебе надлежит помнить при создании сада.

В моем сознании возможности обретали форму, словно неухоженный куст, подстригаемый до узнаваемого вида.

— То, чего мне никогда не почерпнуть ни в какой книге, ни от любого другого садовника.

— Да.

— Согласна.

Казалось бы, чего легче: взять и согласиться, чтоб он сделал на мне наколку. И я уж прикидывала, какие из платьев мне больше не носить никогда.

— Не так уж часто, но случается, что люди передумывают, отказываются еще до того, как *хоримоно* закончено, — сказал Аритомо. — Мне нужна уверенность, что я *непременно* дойду до завершения.

Я подошла к окну и распахнула ставни.

Холодный сырой воздух ударил в лицо. Гроза уже притихла, тучи над горами смешивались серебристыми и серыми завихрениями. Я чувствовала себя ловцом жемчуга на океанском дне, наблюдающим, как высоко надо мной беззвучные волны бьются о каменистый берег…

Глава 21

Вереница машин выстроилась на стоянке вдоль дороги у гостиницы «Коптильня», когда мы с Аритомо добрались туда за полдень.

После сумрака вестибюля свет на террасе больно бил по глазам. Я прикрыла веки и огляделась. На случай дождя установили навесы, но небо было ясным. Оркестр, в составе четырех музыкантов-евразийцев из Пенанга, играл на низкой эстраде, обитой белой материей. Большинство гостей были мне знакомы. Немногие из них косились на нас и тут же отводили взгляды. Наверное, все Камеронское нагорье прослышало, что я теперь живу с Аритомо.

Магнус отошел от кучки гостей и пошагал прямо к нам.

— Мой старый друг, — произнес Аритомо, улыбаясь и кланяясь ему.

— *Ja*, сегодня постарел до семидесяти трех лет, — поморщился Магнус. — Ты можешь поверить, что мне и шестидесяти не было, когда я впервые тебя увидел?

Оба мужчины смотрели друг на друга, видимо

возвращаясь в мыслях к тому моменту, когда познакомились в каком-то саду где-то в Киото. «Вот уж о ком, — подумалось мне, — никак нельзя сказать, что они стали друзьями, даже если, как обронила на Празднике середины осени Эмили, война умерила их противостояние».

— С днем рождения, Магнус, — поздравила я, протягивая ему коробочку, обернутую коричневой бумагой и перевязанную ленточкой. — От нас обоих.

— А-а, *baie dankie*[232]. — Магнус слегка встряхнул коробочку. — В первые годы после замужества Эмили всегда выговаривала мне, если я открывал какой-нибудь подарок еще до того, как все гости разошлись по домам. Говорила, мол, это дурная манера, которая свойственна одним *анг-мо*.

Позади него я заметила стол, заваленный подарками, все они по-прежнему оставались в праздничных обертках.

— Это добрый китайский обычай, — сказала я. — Избавляет от необходимости притворяться, будто подарок, который ты вскрыл, тебе по нраву.

---

[232] Примечания: 232
Baie dankie — спасибо (*африкаанс*).

— Так, что там? — спросил он, поднося коробочку к уху и встряхивая ее.

— Мы тебе *купили осла*, — засмеялась я. — Не буду мешать вашему разговору.

Оркестр по-светски изысканно наигрывал «Танцзал»[233]. Пробираясь в толпе, я подхватила с подноса проходившего мимо официанта бокал шампанского, раскланиваясь со знакомыми. Шум и смех уже заглушали музыку, настроение было беззаботным и радужным.

Меры, введенные Темплером, похоже, возымели действие: число нападений К-Тов сократилось вполовину, если не больше. Областей, причисленных к «белым», стало больше, чем «черных», в большинстве мест отменили комендантский час.

— Вы слышали? — остановил меня Тумз, перекрывая своим голосом музыку. — Еще одного К-Та убили! Самого Манапа Япончика!

— Слышала, — ответила я. Командир Десятого полка был застрелен патрулем гурков за несколько дней до этого. Манап был сыном матери-малайки и отца-японца, его голову оценивали

[233] Примечания: 233

«Танцзал» — музыкальная композиция Эрскина Хокинса, которая, в переложении Гленна Миллера и в исполнении его оркестра, стала самой популярной граммофонной записью в 1939–1941 гг.

в 75 000 долларов.

У цветущего деревца рамбутана, в сторонке от толпы, я отыскала тихое тенистое местечко, где можно было спокойно выпить.

Мне удалось уломать Аритомо приехать сюда.

Больше недели прошло с тех пор, как я согласилась, чтоб он сделал на мне наколку. И за это время он ни разу не упомянул о *хоримоно,* да и я с ним об этом не заговаривала. Глядя на смеющихся и болтающих людей по ту сторону лужайки, я представляла себе, как бы они ужаснулись, узнав, что в скором времени у меня вся спина будет расписана! Попыталась представить, что сказала бы Юн Хонг, но вдруг поняла, что не могу вспомнить ни ее лица, ни даже звучания ее голоса.

Я погнала свои мысли назад, к лагерю, к последнему разу, когда видела сестру, и постепенно ее лицо представало перед моим мысленным взором. Я отправилась проведать ее у окна, принесла ей целое спелое манго. Больше трех недель мне никак не удавалось повидаться с ней, и ее бледное личико в сумеречной тени потрясло меня. Она отказывалась рассказывать, что за беда приключилась, но я упорствовала до тех пор, пока она не призналась, что забеременела. Два дня назад доктор Каназава сделал ей аборт,

удалив плод. Больше я ее не видела. Вскоре после этого Томинага тайком вывез меня из лагеря.

Отирая слезы, я увидела приближавшегося ко мне Фредерика.

— Вот ты где! — воскликнул он.

— Магнус не сказал мне, что ты тут. — Я с трудом заставила голос звучать беспечно.

— Только прибыл, секунду назад.

Я не видела его почти год. Он потемнел с виду, от него разило жесткостью сильнее, чем мне помнилось. Я указала на порезы у него на щеках:

— Что стряслось?

— В засаду попал.

Я быстро окинула его взглядом:

— Никаких серьезных ранений, надеюсь?

— Так, царапины. С твоими не сравнить. — Взгляд его обшарил мое лицо, скользнул по всему телу, задержался на бедре, потом снова поднялся к лицу. — Слышал про нападение. Не смог получить отпуск, чтобы проведать тебя. Время было безумное. Карточку мою получила?

— Да. И лилии тоже. Прекрасные были цветы.

Мне захотелось выразить признательность за его заботу, и мне пришла в голову одна идея:

— Ты сколько времени пробудешь?

— Я тут на два дня.

— Мы почти закончили работу в Югири. Если ты с раннего утра свободен, я покажу тебе сад.

— Я его уже видел. В то утро… когда приезжал туда, чтобы отвезти тебя обратно в Маджубу. В первую нашу встречу.

Он явно был раздражен тем, что я, судя во всему, забыла об этом.

— Ах да. Только тогда сад не был готов.

— Не помню, если честно, каким он был, мне показалось — все слишком упорядочено, искусственно.

— Значит, ты не сумел понять, что такое сад.

— Сады, вроде созданного им, предназначены для того, чтобы дергать за чувства, как за ниточки. Я нахожу это бесчестным.

— Даже так?!

Я открыла ответный огонь:

— То же самое можно сказать о любом произведении искусства, литературы или музыки!

Я, не жалея сил, вкалывала в этом саду, а потому гнев охватил меня, когда услышала, что нашелся кто-то, кто порочит его.

— Не будь ты так глуп, так увидел бы, что никто за ниточки ничьих чувств и *не думает* дергать: чувства открываются чему-то более возвышенному, чему-то вне времени. Каждый шаг, что ты

делаешь в Югири, предполагает, что твой ум раскрывается, сад приводит твою душу к состоянию созерцательности!..

— Я слышал, ты теперь живешь с этим джапом.

Причина его колючести стала очевидной.

— Я сплю с ним, если ты об этом.

— Об этом.

Я отступила от него на несколько шагов, повернувшись к толпе гостей на лужайке.

— Впервые я услышала его имя, когда мне было семнадцать. Почти полжизни тому назад, — сказала я, избавляясь от гнева, на смену которому приходила печаль по всему мной утраченному.

— Это всего лишь имя, — выговорил он.

— Нет. Это гораздо больше.

Под приветственные крики и аплодисменты Эмили и Магнус вышли на эстраду. Оркестр разом смолк, оборвав посредине песню, которую исполнял, и заиграл начальные аккорды мелодии «С днем рождения тебя». Приветствия становились все громче. Фредерик глянул на меня, развернулся и скрылся в толпе.

Прямо у меня над головой с ветки свисала оборванная паутина. Я вспомнила рассказанную Аритомо сказку про убийцу, выбирающегося из

Ада по нити-паутинке.

Потянулась, чтобы смахнуть паутину с ветки, но в последний момент, прежде чем коснуться ее, удержала руку.

За ужином я молчала, да и Аритомо говорил немного. Когда мы уходили, большая часть еды так и осталась нетронутой.

Оказавшись одна в спальне, я сняла блузку с бюстгальтером, сбросила юбку. Накинула шелковый халат и — босая — вышла в коридор.

Дом погрузился в темноту, слабый свет из комнаты в дальнем конце коридора манил меня к себе. Остановившись в полоске света из открытой двери, я огляделась вокруг. Вода капала с крыши, камни на заднем дворе слабо светились, и мне припомнилось наше путешествие по пещере саланган. Конец коридора, из которого я пришла, казалось, был далеко-далеко. Подтянув поясок на халате, я переступила порог комнаты.

Аритомо сидел в позе *сейдза*. От угольной жаровни по комнате расходилось тепло. На матах татами была расстелена простыня из хлопка, гладкая и белая. В бронзовой курильнице торчала благовонная палочка сандалового дерева, над которой вилась струйка дыма. Я встала лицом к Аритомо и тоже опустилась на колени, я уже

привыкла к такой позе, в коленях и голенях больше не возникало ощущение, будто их медленно растягивают врозь. Положив руки на мат, мы посмотрели друг на друга, а потом поклонились.

Он налил в чашечку *саке* и предложил ее мне. Я, отказываясь, повела головой, но он настаивал.

— Два дня назад закончилась американская оккупация Японии.

Он поднес свою чашку мне, и я нехотя проделала то же самое со своей, опорожнив ее одним глотком. Водка обожгла мне глотку, выдавила слезы из глаз.

Я встала.

Неспешно развязала халат и дала ему упасть. Холод коснулся кожи, но *саке* согревало меня. Некоторое время Аритомо внимательно вглядывался в меня. Потом взял большое белое полотенце и обмотал им меня по талии. Велев мне лечь животом на белую простыню, аккуратно сложил мою одежду и убрал ее на мат. Потом подошел и сел на коленях рядом со мной, удерживая в одной руке деревянный поднос с разложенными на нем инструментами. Движения его были выверенными и уверенными: точь-в-точь как во время работы в саду. Он накапал с пальцев воды в каменную чашечку для туши и погрузил

туда палочку краски. Вдыхая отдающий сажей запах свежей, новой туши, я представляла, будто нахожусь в кабинете ученого и наблюдаю за его занятиями каллиграфией.

Он вытер мне спину ручным полотенцем, затем погрузил кисточку для письма в чашечку с тушью, коснулся ею стенки, отжимая излишки. И нанес на кожу вокруг левой лопатки несколько легких, быстрых мазков. Закончив, попросил меня сесть. Навел большое зеркало на разрисованное место, чтоб я смогла его увидеть.

Черные контуры цветов ажуром покрыли мою кожу: камелии, лотосы и хризантемы. Я взяла у него зеркало. Пока я разглядывала свою спину, он зажег свечу и поставил ее между нами. Открыв небольшую деревянную шкатулку, поднял внутри верхнюю крышку — там находилось потайное отделение. В нем, одна к одной, в ряд, лежали иглы, посверкивая на свету. Аритомо отобрал четыре или пять, откусил кусок нити от мотка на катушке и привязал иглы к тонкой деревянной палочке. Жестом попросил меня снова лечь и несколько раз поводил иглами в пламени свечи. Тени на стенах из рисовой бумаги зашевелились, и на мгновение я почувствовала себя ввергну-

той в *вайянг-кули*[234], сделалась персонажем в теневом спектакле, который показывают малайцы, двигая кожаных кукол в свете керосиновой лампы.

Аритомо вычернил иглы, потерев их о пропитанную тушью кисточку каллиграфа, зажатую между двумя последними пальцами его левой руки. Потом он разгладил кожу у меня на плече и вонзил иглы.

Он предупреждал, но все же я не могла сдержаться и закричала. Это были первые из целого, как мне потом казалось, миллиона уколов. Пальцы мои судорожно вцепились в простыню.

— Лежи спокойно, — сказал он.

Я попробовала было встать, но он придавил меня ладонью и, удерживая так, колол раз за разом.

Я едва сдерживала рычанье от боли. Плотно сжала веки, не давая выхода слезам, но они все равно просачивались наружу. Тело мое вздрагивало всякий раз, когда иглы впивались в тело. Появилось ощущение, будто с меня снимают кожу — линию за линией, стежок за стежком.

— Перестань дергаться.

Он снова вытер мне спину, и я изогнулась — по-

---

[234] Примечания: 234
Вайянг-кули — театр теней (*малайск.*).

смотреть. Белое полотенце покрылось влажными красными пятнами.

— В лагере был один инженер-японец, Морокума. Он коллекционировал татуировки. — Голос мой звучал хрипло, и я прокашлялась. — Заключенные с наколками показывали их ему в обмен на сигареты.

Аритомо опять вогнал мне в кожу иглы, и я вскрикнула.

— Он их фотографировал. Позже, когда у него пленка кончилась, срисовывал их к себе в альбом. Однажды он попросил меня перевести надпись на татуировке одного мужчины. И я совершила ошибку, переведя точно.

— Что произошло? — Руки Аритомо замерли у меня на спине.

— Тот мужчина был каучуковым плантатором. Тим Осборн. У него на руке была наколка: штык, а над ним надпись: «Боже, храни короля». Морокума срисовал ее в свой альбом. Потом доложил начальнику лагеря. Тиму было пятьдесят семь лет, но его все равно подвергли порке.

Я перевела дыхание.

— Потом ему срезали с руки часть кожи с татуировкой и сожгли ее у всех у нас на глазах. Он умер через два дня.

Снаружи налетевший порыв ветра перезвоном прошелся по латунным трубочкам музыкальной подвески под карнизом. Пламя свечи задрожало, скособочив стены вокруг нас. На миг я вновь почуяла запах паленой кожи.

Около часа Аритомо проработал, не произнося ни слова. Мучительная боль не притуплялась — а я так надеялась, что это произойдет! Каждый последующий укол жалил так же остро, как и первый.

Наконец он откинулся на пятки и глубоко вздохнул. Сложил свои инструменты на подносе и принялся очищать мне спину, промокая ее полотенцем то тут, то там. Касания его были мягкими, зато ткань драла, как наждак.

— На сегодня достаточно, — сказал он.

Пошатываясь, я поднялась и обошла комнату, разминая затекшие руки и ноги. Ладони и кисти рук Аритомо были перепачканы черной тушью. Пальцы у него не сгибались, и я поняла, какую они причиняют ему боль.

— С тобой все в порядке? — спросила я.

— Еще несколько минут — и это пройдет, — ответил он.

Я подобрала зеркало и навела его себе на спину. Крик вырвался сам собой, когда я увидела

отражение:

— Ну и жуть!

Аритомо снял месиво из грязных разводов туши и кровавых пятен, но спина, кровоточившая и покрытая синяками, уже начала опухать. Сетка из линий пролегла по коже, капельки крови бисеринками выступали из ран, собирались и сбегали по изгибу спины, оставляя за собой зловещие красные следы. Это ничуть не походило ни на одну из виденных мною татуировок и никак не напоминало оттиски гравюр Аритомо. У меня даже закралась мысль: а не солгал ли он мне про свои способности мастера наколок?..

— Пока работа не закончена, это так и будет выглядеть, — он отвел мою руку. — Перестань чесаться. Пусть заживет.

Он помог мне накинуть легкий бумажный халатик: ткань тут же прилипла к спине, в меня будто жала впились.

— Я думала, крови будет больше, — сказала я.

— Только неумелый *хороти* причиняет чрезмерную боль или вызывает избыточное количество крови. — Он пристально смотрел на меня, но я видела, что мыслями он далеко.

— Что не так?

— Я забыл, насколько это затягивает… не толь-

ко того, кому делают наколку, но и художника.

— Вот уж не сказала бы, что это затягивает!

— Еще несколько сеансов — и ты почувствуешь себя совсем по-иному.

В коридоре было темно, когда я вышла из комнаты. Я никак не могла сообразить, куда иду, шагая вслед за Аритомо к ванной комнате в задней части дома. Вода в прямой кедровой бочке была нагрета, от нее по всему помещению расходился пар и свежий аромат. Аритомо попробовал воду и, подав мне руку, помог спуститься в бочку.

— Сиди в ней, пока вода не остынет, — сказал он. — Кожа заживет быстрее. Сиди прямо: не откидывайся на стенку.

Он уже собрался уходить, но я потянула его за руку:

— Залезай ко мне.

Он поднял вверх руки:

— Дай сначала отмоюсь.

Я опустилась поглубже в бочку, скованность, охватившая все тело, понемногу растворялась в воде, мешаясь с тушью и кровью, с кусочками отваливающейся от меня кожи…

Глава 22

С наступлением монсуна Аритомо отпустил рабочих, дав им наказ — вернуться лишь тогда, когда сезон дождей закончится. Приглядывать за садом остались только мы вдвоем. В перерывах между ливнями я подрезала деревья и убирала тот сор, что оставался после гроз. Работая бок о бок с Аритомо, я поняла, что наше с ним уединение от мира мне по душе.

По ночам, когда по крыше барабанил дождь, он делал мне татуировку. Завершив контур цветка хризантемы на моем плече, он продолжил работу, спускаясь по спине все ниже и ниже. Я велела поставить в комнате зеркало в полный рост. Вскоре тонкий черный эскиз его наколок контурными линиями покрыл мое тело. Точно так же создавал он и свой сад: на моей коже Аритомо воплощал свои рисунки, не нанося их прежде на бумагу. Ему приходилось ждать, пока в местах уколов образуется и отпадет корка, чтобы продолжить работу. Спина у меня кровоточила беспрестанно. Не раз он предостерегал меня от расчесывания мест уколов, опасаясь, что я испорчу рисунок до

того, как кожа успеет зажить.

После каждого сеанса я отмачивалась в деревянной бочке, уйдя в воду по самый подбородок. От жара по лицу пот катился градом. Как-то, стоя в ванной после особенно долгого сеанса, я рассматривала спину в зеркало. Аритомо уже начал оттенять наколки тонами серого и голубого, они напоминали облачка дыма, навеянные мне на кожу.

Как только Аритомо убедился, что я уже притерпелась к боли, он стал работать над *хоримоно* гораздо дольше, сеансы длились до глубокой ночи, пока, как мне чудилось, лампа в нашей комнате не оставалась одной-единственной светящей в горах…

Температура на нагорье после заката солнца часто падала ниже десяти градусов, и хотя дожди монсуна сделали ночи прохладнее, мы с Аритомо часто после ужина сидели на веранде с бамбуковыми занавесками, закатанными под самый карниз крыши. Свет мы никогда не зажигали, предпочитая чувствовать сад в темноте.

Стоило птицам *ток-ток* выбить свою барабанную дробь, как закипел чайник на стоявшей на столе жаровне. Аритомо чайной ложечкой насыпал сухие листья в керамический заварной

чайник. Держа в руках жестянку с чаем, он долго вглядывался в нее.

— Осталось всего еще на одну заварку.

— «Благоухание одинокого дерева»? Больше нет?

— Нет.

Аритомо закрыл жестянку, отставил ее в сторону и наполнил заварной чайник кипятком. Потом взболтнул воду в нем и выплеснул ее через край веранды на траву, оставив в воздухе пахучий туманный след. Вновь залил заварку горячей водой и налил мне чашку чая.

— Зачем ты всякий раз это делаешь? — спросила я. Мне всегда казалось это пустой тратой чая, а теперь и подавно.

— Надо удалять грязь с листьев, — ответил он. — У нас есть поговорка: *«Первая заварка годится только для врагов»*.

— Ты сделал то же самое, даже когда я впервые пришла сюда. Не зная, враг ли я, — с улыбкой напомнила я.

— Да, я не знал.

Он даже не улыбнулся.

— Зато сейчас знаешь?

— У тебя чай остывает.

С каждым глоточком я чувствовала, как впиты-

ваю грусть, настоянную на этих чайных листьях. Когда моя чашка опустела, я предложила:

— Хочу прибавить еще один день к нашим сеансам. Можем устраивать их три или даже четыре раза в неделю.

— Вот ты и пристрастилась. Незачем смущаться. Так всегда бывает.

Это была правда: я уже ждала, чту нанесет он на мое тело, и даже стала находить удовольствие в боли, потому как в те часы, когда его иглы оставляли следы на моей коже, у меня в мозгу притуплялось ощущение окружающего мира. Я с тревогой думала, что будет, когда иголки вопьются в тело в последний раз, когда последняя из открытых пор окажется заполнена и запечатана тушью.

— *Хоримоно* продвигается быстрее, чем я рассчитывал, — заявил Аритомо. — Через день-другой я начну заполнять рисунки цветом. Надеюсь, сможем управиться до того, когда кончится монсун.

— Похоже, ты торопишься закончить.

— Чрезвычайное положение подходит к концу. Сегодня еще одна область страны объявлена «белой».

— Ты говоришь так, будто тебя это огорчает.

— Во время Чрезвычайного положения все жили в подвешенном состоянии, — поделился Аритомо. — Мне часто кажется — мы на корабле, идущем куда-то на другой конец света. Воображаю себя в той пустоте, что находится между двумя иголками кронциркуля картографа.

— Эта пустота существует только на картах, Аритомо.

— На картах. И еще — в памяти. — Он подышал в сложенные горстью ладони. — Одна из странностей татуировок в том, что *хари*[235] выводят наружу не только кровь, но еще и глубоко сокрытые мысли человека.

Он перевел взгляд на меня:

— Что ты на самом деле делала в лагере?

— Все, чтобы выжить.

— Это включало и работу на японцев?

Ночь пахнула холодом. Долго длилось молчание, прежде чем я нашла в себе силы ответить:

— Я поставляла сведения Фумио. Сообщала ему, кто готовится к побегу. Сообщила, кто соорудил радио и где оно спрятано. Я по-прежнему получала свою порцию оплеух, зато меня кормили лучше. У меня были лекарства. Юн Хонг узнала.

---

[235] Примечания: 235
Хари — зд.: иглы (*яп.*).

Молила меня прекратить это. Я отказалась.

Сова скользнула мимо веранды тенью утраченной памяти.

— Я предала ее. Я бросила Юн Хонг там.

Аритомо дотянулся до жаровни и открыл заслонку. Держа печку на локтях, дунул в нее: искры лавиной ринулись в ночь.

Поначалу я подумала, что звуки пальбы донеслись из воспоминаний, постоянно пытавшихся пробиться в мои сны, но грохот не стихал. Когда я открыла глаза, хлопки крошечных разрывов неровно расходились по сторонам. Я села в кровати. Белесый свет в комнате подсказал, что сейчас около семи утра. Через полураздвинутые двери я увидела Аритомо внизу, за *энгава*, смотревшего в сторону плантации Маджубы. Одевшись, я вышла к нему. Тучи налились дождем, сильный ветер срывал листья с деревьев. Я не успела и рта открыть, как из-за угла выскочили четверо в форме цвета хаки. Ближайший к нам наставил на нас винтовку.

Аритомо, обойдя, встал впереди, прикрывая меня. Целившийся двинул его прикладом в скулу, от удара его голова дернулась в сторону.

Они разнесли весь дом, перевернули все шкафы, побили всю посуду на кухне. Я надеялась,

что А Чону не причинили никакого вреда, потом вспомнила, что было воскресенье и его нет на плантации.

Удовлетворившись тем, что отыскали всю имевшуюся в доме провизию, К-Ты погнали нас пешком в Маджубу, выбрав тропу, которой так часто пользовалась я. Джунгли были наполнены зудом насекомых. Вскоре я различила между деревьями знакомые склоны, поросшие чаем. Металлические ворота в селении рабочих были распахнуты, мужчины вместе с семьями стояли коленопреклоненными на траве под охраной вооруженных К-Тов. Малайцы из «домашней гвардии» лежали лицами в землю, не двигаясь. Ниже по земляной дороге К-Ты выносили из кооперативного магазина мешки с рисом и коробки с консервами. Проходя мимо медпункта, мы увидели, как другие вояки набивали джутовые мешки лекарствами и перевязочными материалами.

Ворота, защищавшие Дом Маджубы, были взломаны. Стены и входная дверь дома испещрены пулями, ставни сорваны с петель. По всей лужайке валялись искромсанные стрелиции. В самом доме желтый деревянный пол был усыпан осколками стекла, кусками штукатурки и дерева,

которые хрустели под ногами. Свет вонзался внутрь сквозь сорванные ставни и порванные сетки. Воздух разъедал запах пороха, смешанный с другим зловонием: на полу в коридоре, рядышком, лежали, вытянувшись, риджбеки Бруллокс и Биттергаль, кровь из ран на их животах натекла целой лужей, залив им морды. В столовой мы увидели Магнуса и Эмили, стоявших на коленях. Когда мы вошли, они подняли головы, кровь стекала из раны на лице Магнуса. Чьи-то руки силой поставили нас на колени рядом с хозяевами дома. Из кухни в конце коридора до меня донеслись рыдания слуг.

— Я командующий Йап, — произнес человек с благородным лицом ученого.

«Уж не был ли он учителем, — подумала я, — до того, как выступил против правительства с оружием в руках?»

— Какого черта вам надо? — буркнул Магнус.

Один из К-Тов ударил его прикладом по голове. Магнус покачнулся на коленях, но удержался. К-Т замахнулся еще разок ударить его, но тут Эмили закричала:

— Перестаньте! Перестаньте!

— Вы — две *чау-чабай*[236], — выговорил Йап, переводя взгляд с меня на Эмили и обратно. — Одна замуж вышла за *анг-мо*, другая с японским чертом сношается.

Он щелкнул пальцами. Женщина из К-Т подтащила за волосы поближе к нам какого-то мужчину и пинком отправила его на колени. Все его лицо распухло, покрылось кровью и грязью.

Йап обратился к Аритомо:

— Один из ваших. Вот этот самый Иноки сражался в наших рядах с тех самых пор, когда его страна проиграла войну. Но вот теперь он желает сдаться, желает отправиться домой. — Командующий присел на корточки и приблизил лицо к лицу Аритомо. — В джунглях каких только странностей не наслышишься. Столько всего странного! Иноки поведал нам об украденном вами, джапами, золоте. Оно скрыто в этих горах, утверждает он. Так что мы даем ему шанс отыскать, где оно находится.

— Должно быть, плохи ваши дела, если вы стали верить в сказки, — сказал Аритомо.

Иноки на коленях подполз к Аритомо и заговорил с ним по-японски:

---

[236] Примечания: 236
Чау-чабай — вонючие мандавошки (*кит., смягч.*).

— Слухи, Накамура-сан, вы должны были их слышать… — Слова лились из него в грязном потоке страха и истерии. — Если вам что-то известно об этих слухах, расскажите этим людям! Прошу вас…

Аритомо отвернулся от него и поднял взгляд на Йапа:

— Я садовник, а не солдат.

— Золото Ямашиты.

Страх, растерянность и, возможно, желание убедить К-Тов, что он старался как мог, заставили Иноки перейти на английский:

— Это мы слышим. Много раз. Золото, Накамура-сан, которое генерал Ямашита красть. Золото Ямашиты. Да?! Да?..

— Полная чепуха, — пожал плечами Аритомо. — Просто сплетни.

Йап наставил пистолет на Иноки: японец принялся оседать на колени, не выпуская из сжатых пальцев рубашку Аритомо. Аритомо оставался недвижим, однако по-прежнему продолжал смотреть Йапу прямо в глаза. Командующий К-Тов, сохраняя на лице все то же выражение благородства, выстрелил Иноки в голову.

Эмили завопила. Кровь, плоть и осколки костей разлетелись по стульям и доскам пола столовой.

Я почувствовала, как что-то теплое и мокрое налипло мне на лицо, но подавила в себе порыв смахнуть это. На кухне завывания слуг сделались истерическими. Сквозь звон в ушах я слышала, как какой-то человек орал на них, а вслед за криком последовали звуки тяжелых оплеух. Плачевный вой утих, перейдя в негромкие стоны.

Йап повел пистолетом, нацелив его на меня.

— Я знаю место, где джапы спрятали золото.

Все уставились на Магнуса. Эмили, тихонько вскрикнув, схватила его за руку.

— Магнус, не глупи, — сказал Аритомо.

— И где же оно? — спросил Йап.

— В Голубой долине. В нескольких милях к северу от реки.

— Откуда тебе это известно?

— Слышал от полковника Хаяши. Когда-то мы вместе охотились. Он рассказал мне про золото. Даже ткнул пальцем в один холм — показал где. Там же они зарыли и оружие, карабины, пистолеты, пулеметы. Только я не знаю, золото ли это Ямашиты или кого другого.

— Сам ты никогда это золото не искал? — поинтересовался Йап.

— Да ладно, с какой стати?! Парень был пьян в стельку! И вообще всегда нес чушь всякую.

— Магнус… — начал Аритомо.

Какой-то человек заскочил на кухню и зашептал Йапу на ухо. Йап выслушал, насупился, потом прикрикнул:

— Ты… — он махнул пистолетом в сторону Магнуса. — Встань, старик!

С трудом разгибаясь, Магнус поднялся на ноги. Эмили вцепилась в него, стеная и бешено тряся головой. Я схватила ее за руку, но она вырвалась, саданув при этом меня локтем по лицу. Магнус обнял ее, что-то забормотал ей, и она безвольно повисла у него на руках. Поцеловав, он мягко отстранил ее. Взглянул на Аритомо, потом на меня. Эмили стояла, застыв на месте с повисшими по бокам руками, пока террористы уходили из дома, забрав с собой Магнуса.

Вдруг Эмили очнулась и выбежала из входной двери, мы с Аритомо бросились следом за ней. Минут через пятнадцать после того, как К-Ты ушли, со стороны дороги донесся заунывный вой сирен. Не успели полицейские вылезти из машин, как она уже кричала:

— Они взяли Магнуса! В Голубую долину повели.

Мне свело мышцу на ноге, через секунду все тело било дрожью, как в лихорадке. Аритомо увел

меня обратно в дом, усадил на стул в коридоре.

— Дыши, — сказал он, растирая мне спину широкими, крепкими движениями. Прошло несколько минут, и я перестала дрожать. Он достал свой носовой платок и вытер им мне лицо.

— Магнус… он правду говорил про золото? — спросила я.

— Хаяши был пьяницей — в этом он был прав. Он и вправду ходил с Магнусом на охоту… разок-другой. А что до того, спрятано ли золото в Голубой долине, так это Хаяши, будь он пьяным, будь он трезвым, открыл бы Магнусу в самую последнюю очередь. Магнус со своими приятелями много лет те места обшаривали.

В дом вошли полицейские, и я узнала субинспектора Ли.

Он рассказал мне, что один из рабочих плантации увидел группу напавших на Маджубу террористов, добежал до шоссе и на попутном грузовике добрался до Танах-Раты. Полиция допросила каждого, кто во время нападения находился в доме. Двух заместителей управляющего и сборщицу чая К-Ты зарубили до смерти. Бунгало Харпера было разграблено, но сам он проводил ночь у жены одного оловодобытчика в Танах-Рате.

Стража-гурку нашли привязанным к дереву колючей проволокой, ему в грудь был всажен его же кривой кинжал *курки*.

Страхи Эмили и общая паника росли с каждым часом.

— Почему вы все еще здесь? — кричала она Ли. — Какие меры принимаете, чтобы отыскать моего мужа?

— Патрули королевских йоркширцев уже прочесывают горы вокруг Маджубы и Голубой долины, — ответил Ли, имея в виду Собственный Е. В. Короля Йоркширский полк легкой пехоты. — Мы предпринимаем все, что в наших силах, миссис Преториус.

Как только полицейские ушли, Эмили закрыла дверь и повернулась к нам с Аритомо:

— Магнус мне говорил, что ты платил К-Там, чтоб они держались подальше от Югири. Нет, даже не смей делать вид, будто не понимаешь, о чем я толкую! Ты слышишь меня? Не смей!

— Маджуба входила в сделку, — сказал Аритомо. — Они наплевали на договор, Эмили. Соглашение разорвано.

Она сделала шаг в сторону Аритомо:

— Я хочу… — голос ее надломился.

Она ухватилась за спинку стула, вскинула

голову к Аритомо. И, старательно выговаривая каждый слог, произнесла:

— Я хочу, чтобы мой муж вернулся. Я заплачу им, сколько они запросят. Просто скажи им, чтобы мне вернули Магнуса.

На западной границе Югири я смотрела вслед Аритомо, который забрался на поросший папоротниками склон и скрылся в пятнистой тени джунглей. Я попробовала было пойти за ним, но он не пустил меня.

Я села ждать на корень дерева.

Вернулся он часа два спустя, рубашка его потемнела от пятен пота, руки и лицо покрывали сочащиеся кровью царапины. Я встала в ожидании, что он заговорит, скажет мне, что Магнус жив-здоров и уже на пути домой.

— Ушли, — сказал он. — Лагерь брошен.

Отчаянье овладело мной…

— Тебе придется сообщить Эмили, что ты его не нашел.

На обратном пути к Маджубе мы прошли мимо дома Аритомо. Куски поломанной мебели и разбитых ваз, порванные книги устилали весь газон около него.

Неужели только сегодня утром заявились К-Ты в Югири, в этот дом? Что-то наполовину скрытое

в куче хлама привлекло мой взгляд. Я подошла, подняла. Рисунок тушью Лао Цзы был выломан из рамки и порван пополам. Аритомо взял его и долго разглядывал.

— Если бы Йап наставил пистолет на меня, что бы ты сказал, если б Магнус не заговорил? — спросила я, не отрывая глаз от разорванного рисунка.

Последовавшее молчание показалось мне невыносимым.

Потом Аритомо произнес:

— Сказал бы ему то же самое, что и прежде: золото Ямашиты — всего лишь слух.

Его внимание, как мне казалось, было прикован к рисунку. Может быть, наши взгляды даже были устремлены в одну точку на нем.

Ответ его меня огорчил, но я приняла его как должное: ничего другого он сказать не мог. Мы оказались в гуще войны, где логике и разуму не место.

— Спецслужба мне сообщила, что это Магнус платил К-Там, чтоб те не трогали Маджубу.

Он утомленно закрыл глаза, потер веки большим и указательным пальцами.

— Магнус — человек благородный, Юн Линь. Всегда им был. Он отказался даже обсуждать эту идею, когда я заговорил об этом с ним.

— Зато ты платил этим мерзавцам…

— Я не мог допустить, чтобы кто-то мешал мне работать в саду, — произнес он. — Не мог.

— Никакой сад того не стоит.

— К тому же это значило, что и ты под защитой, — прибавил Аритомо. — Тебя могли бы убить, когда в ту ночь К-Ты заявились к тебе. Останься тут. Прибери дом. Мне надо повидать Эмили. — Он вернул мне порванный рисунок. — И положи это на мой стол.

Патрули королевских йоркширцев не нашли никаких следов Магнуса или террористов. В джунгли направили еще больше войск, их повели ибаны[237] — следопыты из Саравака. Плантаторы и друзья Магнуса составили поисковые отряды, но ливни свели на нет все их усилия.

Как только погода на время прояснялась, тут же в небе появлялись самолеты «дакота», кружили над горами, пролетали над самыми верхушками деревьев. Смонтированные на их крыльях громкоговорители на мандаринском китайском и малайском языках обещали амнистию и награды

[237] Примечания: 237

Ибаны — народ из морских даяков, проживающий в Восточной Малайзии (а также в Индонезии и на Брунее). Расселены по долинам рек во внутренних областях острова, небольшая часть заселяет береговые районы штата Саравак (Малайзия).

за возвращение Магнуса живым и невредимым. Я по телефону дозвонилась до Фредерика и рассказала, что произошло.

— Попробую добиться отпуска и приехать, — пообещал он.

Я положила трубку, потом снова сняла ее и позвонила отцу.

— С тобой все в прядке? — спросил тот. — Я пытался связаться с тобой.

— Ты слышал, что случилось?

— Твой брат рассказал мне об этом сегодня утром.

— Хок может что-то сделать для поисков Магнуса? Уверена, у него есть информаторы и контакты среди К-Тов.

— Я спрошу его. Темплер бросил на эти поиски все имеющееся в его распоряжении. — Отец помолчал немного. — Кстати, я еду в Лондон с делегацией по *Мердека*. Завтра улетаем.

— Тебя долго не будет?

— Месяц. Может, дольше. Зависит от того, как пойдут встречи и консультации. Пока все выглядит многообещающе. Никому не говори, но, возможно, мы дождемся независимости в течение пяти лет.

— Кто о маме заботится?

— Слуги. И Хок, разумеется.

— Есть какие-то улучшения?

— Нет. Все по-прежнему. Ты переехала в Дом Маджубы? — произнес он с надеждой.

— Составляю Эмили компанию.

— Понимаю. Передай ей, что мы все молимся за то, чтобы Магнус вернулся невредимым.

Уже после того, как разговор прекратился, до меня дошло, что отец не попросил меня уехать с Камеронского нагорья.

Почему-то это меня расстроило.

Риджбеков вынесли из дома, завернули в лист резины и положили во дворе, но Эмили не разрешала их хоронить. Вонь стояла ужасная, и А Ян, самый старый и суеверный из слуг, умолял меня сделать что-нибудь.

— Магнус захочет это сделать сам, когда вернется домой, — заявила Эмили, когда я заговорила с ней.

Я взглянула на нее:

— Конечно же, Эмили.

От вони уже некуда было деваться. Когда Фредерик приехал из Куала-Лумпура, я уговорила его помочь мне перенести Бруллокса и Биттергаля на нижнюю террасу. Там, в дальнем углу, где деревья не давали увидеть нас из дома, мы вырыли

в земле две ямки и похоронили собак.

— Все собиралась спросить у Магнуса, откуда он взял для них имена, — сказала я, утрамбовывая лопатой землю.

— Псов? Это из сказки. Мой отец рассказывал, когда я был мальчишкой. Бруллокс и Биттергаль — это два чудовища из Карру[238], которые поедали детей. Он пугал меня ими, когда я себя плохо вел. — Фредерик тронул ногой земельный холмик. — Бедняги.

Снова пошел дождь.

— Пойдем в дом.

Мы обсушивались у огня в гостиной, когда услышали, как в кабинете зазвонил телефон. Кто-то поднял трубку. Я глянула на Фредерика, и мы вышли в коридор. Прошло несколько минут, дверь кабинета открылась. Эмили глянула на нас так, будто понятия не имела, кто мы такие и что делаем в ее доме. Понемногу смятение в ее глазах улеглось.

— Его нашли, — сказала она.

Пройдя по изгибу дорожки, я увидела Аритомо, стоявшего на коленях у живой изгороди из канн.

---

[238] Примечания: 238

Карру — засушливый район на юге Африки, объединяющий полупустынные плато и межгорные впадины к югу от хребта Большой Уступ и долины реки Оранжевая.

Я остановилась. Опытной рукой он выдергивал и извлекал из земли растение, пальцы его были проворны, как губы оленя, обирающие с ветки молодые листочки. Я мысленно вернулась к нашей первой встрече, когда я увидела его на стрельбище из лука и подумала: он — бьющееся сердце сада. Без него все здесь рано или поздно пошло бы прахом…

Он поднял голову и с трудом поднялся на ноги. Я предложила ему руку, обеспокоенная тем, как он вдруг резко стал выглядеть старше.

— Магнус мертв, — сообщила я.

Его лицо, да и все тело, сникло. Он выронил смятые канны, стряхнул с рук кусочки листьев и лепестков.

Я рассказала ему, как один овощевод-китаец, возвращаясь из Ипоха, заметил что-то лежавшее в траве на обочине дороги. Не останавливая грузовик, он поехал прямо в полицейский участок в Танах-Рате. Пока я говорила, нахлынули слезы, но я держала глаза открытыми. Аритомо обнял меня и притянул к себе. Так мы и стояли долго-долго, среди стеблей цветов, которые он сорвал и отбросил.

Похороны состоялись в субботу днем.

Плантаторы с семьями, рабочие, люди, знавшие

его, съехавшиеся с нагорья и со всей страны, — все собрались на лужайке террасы, где когда-то Магнус устраивал свои *браай*. Соболезнующие письма пришли со всей Малайи, в том числе от Верховного комиссара и его жены. Из Лондона прислал телеграмму мой отец, он просил меня вручить Эмили *пек кхим* — белый конверт с деньгами для семьи почившего.

Во время траурной службы я стояла рядом с Аритомо. Раз-другой касалась его руки, но он смотрел в одну точку — куда-то далеко. Он как будто окаменел. Я боролась со слезами, гнала их обратно, когда в последний раз для Магнуса зазвучала музыка Вебера из «Вольного стрелка».

«Толпами ходят в небе тучи…»

Магнуса похоронили в саду за Домом Маджубы, рядом с могилой дочери. Аритомо ускользнул с поминок. Краешком глаза я видела, как он уходил, но не пошла за ним.

Он вернулся в Дом Маджубы в тот же вечер с большой картонной коробкой, щуря глаза от усталости. Внутри коробки лежали сделанные им три бумажных фонарика, побольше, чем те, что он готовил для Эмили к Празднику середины осени, и все они были плотно закрыты сверху. Он разъяснил, что мне предстоит сделать, потом

повернулся и медленно побрел обратно домой.

Посреди поминального застолья Эмили встала и вышла из столовой. Я направилась было за ней, но она покачала головой, слезы стекали из ее глаз по щекам. Фредерик коснулся моей руки, и я села обратно за стол.

Позже мы нашли ее за роялем: она сидела, понуро склонившись над ним. Пальцы двигались над клавишами, словно она пыталась вспомнить ноты музыкального произведения, которое исполняла. Когда мы вошли, она глянула на нас, а потом опять уставилась в клавиши.

— Нам хочется, чтобы вы взглянули кое на что, — сказала я, но она даже виду не подала, что услышала меня.

Давила в молчании на клавиши, исторгая нестройные звуки.

— Всего на несколько минут, Эмили, — произнес Фредерик. — Пожалуйста.

Она медленно поднялась, и мы помогли ей выйти на террасу за домом, пройти до самой балюстрады. Роса пахла резко и свежо. Луны не было. Далеко под нами огоньки в бунгало и домиках придавали смутную форму хребтам и долинам. Я зажгла принесенные Аритомо фонари, свечи высветили морщинки на рисовой

бумаге. Выбрав один фонарь, я высоко подняла его, заливая сиянием наши лица.

В долинах из тьмы выступило больше огоньков, кое-где они сходились, как светящиеся семена, одинокие или далеко отошедшие друг от друга — их было так много, что все невозможно пересчитать.

— Что происходит? — спросила Эмили.

— Это фонарики, такие же, как и эти, — объяснила я. — Их сделал Аритомо. В память о Магнусе.

Фонарик дернулся у меня в руке. Я отдала его Эмили. Фредерик взял еще один. Я взялась за последний и взглянула на часы.

Ровно в восемь часов произнесла:

— Отпускайте, Эмили.

Она ненадолго смежила веки, потом отпустила фонарик. Тот несколько секунд повисел в воздухе, а затем стал, покачиваясь, подниматься вверх, в темень, словно фосфоресцирующая медуза. По всем долинам бесчисленные фонарики, высвободившись, побегами света прорастали сквозь темноту. Мы с Фредериком отпустили свои фонарики одновременно, и я почувствовала его руку близко над своей. В Югири над темными бесформенными кронами деревьев всплыл одинокий огонек, который верховые ветры быстро уносили

прочь. Эмили, на щеках которой сияли слезы, приветствовала его легким кивком головы.

Вскоре некоторые из фонариков залетели в облака, мерцая, словно зарницы. Другие уплывали все дальше и дальше, уносимые ветром в далекие горы. Я молча пожелала, чтоб они никогда не упали на землю.

Глава 23

Вот уже четыре дня, как слова отказываются приходить на мой зов и мне остается лишь зачарованно разглядывать бумагу. А когда они *все же* срываются с моего пера, то я не способна извлечь из них смысл. Только ночью я высвобождаюсь от чар словесной слепоты. Вот и пишу, сколько смогу, пока не засну.

С самой полуночи сижу уже за столом, трудясь над страницами, на которых записала события в лагере для интернированных, изменяя, по своему вкусу, слова и порядок предложений. На мне жакет, но все равно в кабинете холодно и у меня болят пальцы.

Встаю с кресла и хожу по комнате, массируя себе шею. Все тело болит, только это чудеснейшая из болей — от нелегкой физической нагрузки: я снова начала заниматься стрельбой из лука, упражняться в *кюдо*. После нескольких занятий я начинаю чувствовать, как возвращаются ко мне прежде усвоенные уроки.

Подхожу обратно к столу, переворачиваю несколько страниц и перечитываю написанное.

«Даже обезьяны падают с деревьев».

Да, теперь я совершенно уверена: именно это сказал Фумио, прежде чем отрубить мне пальцы.

Память схожа с пятнами солнечного света в долине, небо над которой покрыто облаками: облака движутся, и пятна перемещаются. Иногда упадет свет на какую-то определенную точку во времени, высветит ее ненадолго, прежде чем ветер затянет брешь и мир снова погрузится в тень…

Случается, припомнив что-то в прошлом, я не в силах продолжать писанину. Впрочем, больше всего меня беспокоят случаи, когда я не могу припомнить в точности, что же случилось там-то и тогда-то. Большую часть жизни я потратила на то, чтобы забыть, а теперь страстно желаю все вспомнить. Но не могу даже припомнить, как выглядела моя сестра. А изображения ее у меня нет.

И мой разговор с Аритомо у пруда Усугумо, в ту ночь метеоритного дождя… состоялся ли он в день посещения Темплера или произошел совсем в другой вечер?

Время съедает мою память.

Время и эта болезнь, эта лазутчица в моем мозгу.

Колокольчик у входных ворот уже давно тре-

звонит на весь дом. Я в кабинете, переставляю книги на полках. Зову А Чона, потом вспоминаю, что у него выходной. Выжидаю в надежде, что явившимся, кто бы они ни были, надоест и они уйдут. Надпись на входе еще никого не останавливала. На прошлой неделе был особый какой-то наплыв людей в Югири — и все надеялись, что их пустят. Местная киносъемочная группа, снимающая документальный фильм о жизни Аритомо, пыталась повидаться со мной, но я и им дала от ворот поворот.

Опустив на пол стопку книг, я стараюсь массажем изгнать боль из поясницы и оглядываюсь. Как раз в этой комнате Аритомо предложил мне сделать татуировку. Бамбуковая птичья клетка по-прежнему тут, те же картины по-прежнему держат строй на той же стене. Вон выцветшее место — оно осталось там, где висела картина моей сестры до того, как он мне ее подарил.

Снаружи доносятся голоса, делаясь все громче. Я выхожу из кабинета и иду к входной двери. Вималя разговаривает с двумя китаянками под самой верандой. У одной из них наголо обрита голова, одета она в линялый серый наряд. Наверное, она чуть моложе меня, точно определить затрудняюсь. Рядом с ней стоит какая-то женщи-

на. Когда я выхожу, Вималя поднимает на меня взгляд:

— Они у ворот стояли, когда я сюда пришла.

— Благодарю вас, Вималя.

— Ой, и еще, судья Тео… можете посоветовать мне какие-нибудь книги по японскому садоводству?

— Кое-какие дам.

Она оставляет нас, и я вновь поворачиваюсь к китаянкам. Монахиня говорит по-английски:

— Меня зовут Чин Лай Кью.

Три круглых шрамика образуют вертикальную линию на ее челе: клеймо, оставленное на коже благовонной палочкой, когда женщина давала монашеский обет.

— Миссис Вонг любезно довезла меня сюда.

— Эмили говорила мне про вас. Входите, располагайтесь в доме.

— Не стоит, *лах*.

Монахиня поворачивается к своей спутнице и говорит по-китайски:

— Вы не могли бы подождать у пруда? Я не займу слишком много времени судьи Тео.

Когда женщина оставляет нас одних, монахиня говорит:

— Знаете, а мы с вами уже встречались — в

Храме Облаков.

— Не помню.

— Мистер Аритомо приходил просить меня, чтобы я помолилась за его друга. Вы были с ним в тот день.

Память о ее лице, увиденном в то утро, почти сорок лет назад, словно надпись на могильном камне, оттираемая бумагой, постепенно обретает форму — расплывчатую, неясную.

— Вы были…

— Такой молодой тогда? — Монахиня улыбается, обнаруживая нехватку зубов. — И вы были такой же. Только мы совсем не чувствовали себя молодыми, верно?

— Что вы имеете в виду?

Мгновение спустя я догадываюсь сама.

Браслет из нефритовых бусин на ее запястье мягко постукивает, когда она перебирает их.

— Я была *ёгун-янфу*. — Я оглядываюсь на дом, вовсе не уверенная, что хочу выслушивать то, что она хочет рассказать. — Нас двенадцать было, пойманных по всей стране, — продолжает монахиня. — Мне было тринадцать лет — самая молодая. Самой старшей было лет девятнадцать-двадцать. Солдаты держали нас в монастыре, в Танах-Рате: они из него себе казарму устроили. Я

там пробыла два месяца. Потом в один прекрасный день меня выпустили. Просто так. Я пошла домой, в Ипох. Только все знали, что японцы со мной учинили. Какой мужчина захотел бы взять меня в жены? Мой отец до того стыдился меня, что продал в бордель. Я сбежала. Пошла в другой город, но и там люди как-то все прознали. Люди всегда вызнавали. Однажды я услышала, как женщина рассказывала про храм на Камеронском нагорье. И храм этот принял нескольких женщин вроде меня. Я направилась в монастырь. И никогда больше его не покидала.

Помня, каким заброшенным и покинутым он выглядел, спрашиваю:

— Монастырь… он все еще там?

— Мы ухаживаем за ним, сколько сил хватает, — говорит она.

Помолчав некоторое время, монахиня объясняет причину своего посещения:

— Через несколько лет после ухода мистера Аритомо я выяснила, что во время Оккупации он наведался к местному коменданту и просил отпустить всех *ёгун-янфу* в Танах-Рате. Комендант согласился выпустить на волю четырех самых молодых девушек.

Аритомо мне об этом ничего не говорил.

— Я хотела рассказать вам это, когда он пропал, — говорит монахиня, — но вы уже уехали.

— Рада, что вы решили навестить меня.

— У меня была еще одна причина.

— Вы хотите увидеть сад.

— Сад? — На какой-то миг она казалась озадаченной. — А-а! Нет, *лах*. Нет. Но однажды мистер Аритомо сказал мне, что у него есть изображение Лао Цзы. Мне хотелось бы увидеть его, если оно все еще здесь.

— Оно по-прежнему на месте. Как и ваш храм.

Я веду ее в дом, к рисунку тушью, созданному отцом Аритомо. Монахиня останавливается перед старым мудрецом. Посредине рисунка — разрыв, но он так искусно заделан, что почти не замечается.

— *«Покончил с делом — время уходить»*, — тихо произносит монахиня. — Таков завет Дао[239].

Я уже много раз перечитала Дао Дэ Цзина, и эта фраза мне знакома.

— Дело Аритомо не было закончено, когда он

---

[239] Примечания: 239

Дао, букв.: путь (*кит.*) — одна из важнейших категорий китайской философии. Конфуций придал ему этическое значение, истолковав как «путь человека», то есть нравственное поведение и основанный на морали социальный порядок. Даосы, заимствовав термин, выстроили вокруг него собственную философию; наиболее известная и значимая даосская интерпретация Дао содержится в трактате Дао Дэ Цзина.

ушел.

Монахиня оборачивается ко мне и улыбается — не мне, а самому миру.

— А-х-х… А вы в этом уверены?

Прибираясь в кабинете после того, как проводила монахиню и ее спутницу, я думаю над тем, что она рассказала. До сих пор еще оставалось столько всего, чего я не знала об Аритомо, так много такого, о чем я не узнаю никогда!

Сняв несколько книг с одной полки, я обнаруживаю за ними шкатулку. Открываю и нахожу в ней пару гнезд саланган, ставших от старости заскорузло-желтыми. Это гнезда, которые подарил мне Аритомо. Я достаю одно из них, оно кажется таким хрупким. Не помню, чтобы я хранила их в этой шкатулке, когда мы вернулись из пещеры, но так и не пустила их на суп, как предлагал Аритомо.

— Судья Тео?

В дверях появляется Тацуджи. Я закрываю шкатулку, ставлю ее обратно на полку, приглашаю его войти.

Он извещает:

— Я завершил осмотр *укиё-э*.

— Можете пользоваться ими всеми, — говорю я ему. — Даю вам свое позволение.

Это больше, чем он ожидал. Он кланяется мне:

— Мой адвокат вышлет вам договор.

— Есть еще одно произведение Аритомо, и я хочу, чтоб вы его оценили, Тацуджи.

Не уверена, что стоило бы продолжать, еще не поздно передумать, но ведь именно поэтому я и желала его видеть, по этой причине и пригласила его в Югири.

— Аритомо *был* татуировщиком.

— Значит, я был прав с самого начала. Он был *хороти,* — улыбка на лице ученого становится еще шире. — У вас есть фотографии созданных им татуировок?

— Он никогда не делал никаких фотографий.

— Наброски?

Я отрицательно качаю головой.

— Он оставил вам образцы своих наколок?

— Всего один.

Понимание стирает пелену возбуждения с его лица.

— Он вас татуировал?

Я киваю, и Тацуджи ненадолго смежает веки. Уж не благодарит ли он Бога Татуировок? Меня не удивило бы, если б такое божество существовало.

— Где она? У вас на руке? На плече?

— У меня на спине.

— Где в точности? — спрашивает он, становясь все более нетерпеливым.

Я продолжаю смотреть на него, и его лицо тонет в потоке внезапного озарения.

— *Со, со, со*[240]. Не просто татуировка, а *хоримоно!*

Он на время лишается дара речи.

— Это было бы одним из важнейших открытий в японском художественном мире, — выговаривает он наконец. — Представьте: садовник императора Хирохито — создатель произведения искусства, на которое наложено табу. На коже женщины-китаянки, что не менее поразительно.

— Об этом не должно быть никаких упоминаний, если вы хотите использовать *укиё-э* Аритомо.

— Тогда зачем вы мне рассказали об этом?

— Хочу, чтобы это *хоримоно* было сохранено после моей смерти.

— Это легко устроить.

— Как?

— Составим договор, что вы завещаете свою кожу после вашей смерти мне — после незамед-

---

[240] Примечания: 240

Со, со, со — так, так, так (*яп.*).

лительной оплаты, уже сейчас, если вы пожелаете, — говорит Тацуджи. Рука его вычерчивает в воздухе изящный круг. — Детали можно обсудить позже. Но прежде всего, — ладони его сходятся в молчаливом хлопке, — *прежде* мне придется убедиться в качестве и характере работы на вашей коже. Мы проделаем это в присутствии женщины-ассистента, разумеется. Можем договориться о встрече в Токио.

— Нет. Мы проделаем это тут. Прямо тут. В этой комнате, — говорю. — Незачем напускать на себя смущенный вид, Тацуджи. Мы оба — взрослые люди. И достаточно насмотрелись на обнаженные тела.

— Я бы предпочел, чтобы присутствовал кто-то еще, чтобы не могло возникнуть никаких пересудов… э-э…

Его пальцы теребят узел галстука.

— В нашем-то возрасте? Вот уж точно — нет. Или мне следует почувствовать себя польщенной оттого, что, по-вашему, есть хотя бы возможность, что я смогла бы… изменить ваши предпочтения?

Я делаю роскошный сладострастный вздох, наслаждаясь его смущением.

— Хорошо, Тацуджи. Я подыщу кого-нибудь. Кто выступит в роли компаньонки.

Я смеюсь — на душе радость.

— Какое старомодное словечко: *компаньонка*, вы не находите?

— Когда я исследовал жизнь и творчество Аритомо-сэнсэя, кое-что меня озадачивало.

— Что именно? — смешливость моя пропадает, ей на смену приходит осмотрительность. — Несообразности?

— Нет. По сути, совсем наоборот. Все, выясненное мною о его жизни, представлялось естественным и все же как будто… *созданным искусственно*. Это было похоже… знаете, это походило на прогулку по саду, созданному мастером-*ниваши*.

— Возьмите, к примеру, вражду между Томинагой Нобуру и им, — добавляет он. — Они были добрыми друзьями еще с мальчишеских лет.

— Так часто бывает, что друзья детства ссорятся, когда подрастают.

Тацуджи на мгновение задумывается. Он просит меня подождать, покидает кабинет и возвращается через несколько минут со своим портфелем. Открывает его и достает черный мешочек. Развязывает на нем шнурок и вынимает блестящий металлический предмет. На секунду я представила его вынимающим крючок, застряв-

ший в пасти рыбы. Тацуджи кладет предмет мне на ладонь.

Серебряная брошь, размером с десятицентовую монету, выполненная невыразимо искусно и изящно.

— Что за цветок? — спрашиваю, вертя ее в пальцах.

— Хризантема. Такие броши император вручил избранной группе людей во время Тихоокеанской войны.

— С какой целью? — я усаживаюсь в одно из кресел розового дерева.

— Вы когда-нибудь слышали про «Золотую лилию»?

Брошь поблескивает на складках моей затянутой в перчатку ладони.

— Нет.

— Это название одного из стихотворений нашего императора, — говорит историк. — *«Кин но йури»*[241]. Прекрасное название, не так ли, для одного из самых худших преступлений моей страны во время Тихоокеанской войны? Было это в 1937-м, после нашего нападения на Нанкин. Чиновников во дворце обеспокоило, что армия

---

[241] Примечания: 241
«Кин но йури» — «Золотая лилия» (*яп.*).

присваивает себе военные трофеи. Для того чтобы и высшие власти империи получили свою долю добычи, был разработан план. Он получил название «Золотая лилия».

Операцию осуществляла не армия, объясняет Тацуджи, ею руководил принц Чичибу Ясухито, брат императора. Помогали Чичибу и некоторые другие принцы.

— У них были свои бухгалтеры, финансовые советники, эксперты по предметам искусства и антиквариата, работавшие под началом этих принцев. Многие из экспертов были связаны с троном кровным родством или через супружество, — говорит Тацуджи. — «Золотая лилия» разослала своих шпионов по всей Азии для сбора сведений о сокровищах. Все, что стоило забрать, было забрано, информация скрупулезно учитывалась.

— Словно бы составлялся каталог для компании-аукциониста, — замечаю я.

— *Хай*. Очень эксклюзивной компании-аукциониста. Когда имперская армия прочесывала Китай… Малайю и Сингапур… Корею, Филиппины, Бирму… Яву и Суматру, за ней по пятам шли члены «Золотой лилии». Они знали, где искать, и похищали все, до чего добирались: нефрито-

вые и золотые статуи Будды из древних храмов, изделия, имеющие культурную ценность, и антиквариат из музеев, драгоценности и золото, припрятанные богатыми китайцами, которые не доверяли банкам. «Золотая лилия» опустошала королевские коллекции и национальные достояния. Она забирала золото и серебро в слитках, бесценные произведения живописи, резьбы, керамики и бумажные средства разных валют.

— Все это отправлялось в Японию?

Взгляд Тацуджи устремился в точку, далеко отстоящую во времени.

— «Золотая лилия» поняла, что переправлять похищенное в Японию опасно, как только началась война. Пугало еще и то, что в случае, если мы будем оккупированы иностранными державами, у «Золотой лилии» не будет доступа к этим сокровищам. Безопаснее оказалось не переправлять добычу в Японию, а спрятать ее на Филиппинах. Были посланы шпионы, чтобы разведать подходящие места для хранения на островах Минданао и Лусон. Как только армия захватила эти острова, туда прибыла «Золотая лилия».

— Тут, в Малайе, «Золотая лилия» действовала?

— На Пенанге и в Ипохе работали фабрики по

переплавке золота и серебра, похищенного из семейных тайников и у банков, — говорит Тацуджи. — Вполне возможно, что управляла ими «Золотая лилия».

— А ценности, добытые в Малайе, тоже тогда были отправлены на Филиппины?

— Да.

— Чрезвычайно рискованно было перевозить добычу по морю.

— Флотилия «Золотой лилии» была замаскирована под зарегистрированные госпитальные суда. Самолеты и боевые корабли союзников, наткнувшись на них, распознавали флаги, сверяли регистрационные номера и оставляли суда в покое.

Я вся сжалась от гнева:

— Тысячи гражданских лиц эвакуировались из Сингапура конвоем кораблей под флагом Красного Креста! Ваши самолеты потопили их все, невзирая ни на какие знаки и флаги! За уцелевшими, плававшими в воде, велась охота с воздуха, или их оставляли тонуть. Женщин вытаскивали из воды, насиловали, а потом выбрасывали обратно в море.

Тацуджи помолчал, глядя в сторону, потом продолжил:

— План состоял в том, что, когда все уляжется, когда мы выиграем войну, тайники на Филиппинах вскроют и сокровища переправят на кораблях в Токио.

— Но вы *проиграли* войну.

— *Хай.* Немыслимое произошло. А значит, все похищенное «Золотой лилией» может все еще находиться там, где она его спрятала.

Я вернула брошь Тацуджи:

— Откуда она у вас?

— Когда мы находились у Кампонг-Пенью, Терудзен рассказал, что часть его обязанностей состояла в полетах с членами императорской семьи туда, куда они укажут, и в организации прикрытия их судов с воздуха. Когда я принялся расспрашивать, он отказался сообщить что-либо еще, — взгляд его не отрывается от броши-хризантемы. — В то, последнее утро, после того, как он улетел, я возвратился в наш домик. И нашел эту брошь у себя в вещах. Я годами собирал сведения о *«Кин но йури»* только для того, чтобы понять: чем занимался Терудзен.

— Он тоже входил в эту… «Золотую лилию»?

— Год назад я напал на след одного инженера, работавшего на «Золотую лилию», — говорит Тацуджи. — Ему было уже за девяносто, и он

очень хотел рассказать о том, что знал, до того, как умрет. Его послали на Лусон — надзирать за партиями военнопленных, которые работали в подземных хранилищах, устроенных в горах. Сотни этих рабов днем и ночью пробивали туннели и создавали залы под хранилища. Как только хранилища были доверху набиты сокровищами, доставили синтоистского священника провести освящение. Специалисты гончарного производства из Японии закупорили входы в хранилища смесью фарфоровой глины и местного камня и окрасили их так, чтобы те полностью слились с местной геологической фактурой. Быстрорастущие деревья и кусты — лучше всего для этого, по утверждению инженера, подходили папайи и гуавы — насадили по всей округе, чтобы место схрона полностью слилось с окружающим пейзажем.

— Что сталось… что сталось с заключенными?

— Их отвезли в другое место, неподалеку: пещеру или заброшенную шахту, подготовленную заранее, за много месяцев. Тех, кто сопротивлялся, пристрелили. Когда все оказались внутри, привели в действие взрывчатку, чтобы закупорить вход.

— Похоронили всех заживо, — шепчу я.

— Немало лет охотники за сокровищами пытались установить местонахождение этих хранилищ. Возможно, некоторые из них были опустошены, а добыча переправлена в Японию.

— Охотники за сокровищами?

Мой скептицизм, похоже, позабавил его.

— Они уверяли журналистов, что разыскивают золотые слитки, спрятанные генералом Ямашитой, когда его войска эвакуировали с Лусона. Или сообщали филиппинским властям, что собирают останки погибших солдат, чтобы надлежащим образом похоронить их в Японии. Но, даже если кто-то и вправду нашел бы один из тайников, ничего хорошего это им бы не принесло: все хранилища были заминированы тысячефунтовыми[242] бомбами и стеклянными сосудами с цианидом. Любой, кто попытался бы вскрыть хранилище, не располагая надежными картами…

Я вырываю себя из зыбучих воспоминаний и говорю:

— Если бы то, о чем вы рассказали, действительно происходило, то кто-нибудь уже объявил бы миру об этом. Может, кто-то из японцев — тех, кто работал в одном из этих подземных храни-

---

[242] Примечания: 242
Около 500 килограммов.

лищ… вроде вашего инженера, или кто-то из охранников.

— Японский персонал тоже был похоронен заживо, вместе с узниками, — говорит Тацуджи. — Человек, с которым я разговаривал, был одним из тех, кому повезло: его ослепили, когда доставили в лагерь. Но вся его жизнь прошла в ужасе, он никак не мог отделаться от мысли: не совершил ли кто-то ошибку, позволив ему уйти.

— Но какое отношение все это имеет к Аритомо?

— Меня интересовали только его *укиё-э*, однако чем больше я узнавал о нем, тем больше убеждался, что в «Золотой лилии» у него была своя роль. Доказательств этому у меня нет, — торопливо вставил он, — это только мои собственные подозрения.

— Он был садовником, Тацуджи.

Я выговариваю это твердо, чтобы он не понял, насколько его слова потрясли меня.

— Он вполне мог приехать сюда для топографической разведки. Для этого у него были необходимые познания в ландшафтном проектировании и садоводстве… Вспомните, места проведения работ необходимо было замаскировать или скрыть. А кто лучше мастера *шаккея*

способен сделать это?

— Но участвовать в затее, вроде этой… — голос мой пропал, силы оставили меня.

— Это была война, судья Тео. Всем нам приходилось играть свою роль, служить императору.

— Даже его другу, Томинаге Нобуру?

— Нобуру руководил «Золотой лилией» в Юго-Восточной Азии. Очевидцы, с которыми я беседовал — старые солдаты и военные управленцы, — утверждали, что он находился в Малайе и Сингапуре в годы с 1938-го по 1945-й.

— Но Аритомо оставался тут… еще долго после окончания войны. Он ни разу не побывал на родине.

— Вы разве забыли, какой была ситуация в Малайе в то время? — спрашивает Тацуджи. — Судя по тому, что я прочел в «Красных джунглях», сразу после капитуляции беззакония и бесчинств хватало выше крыши: коммунисты-партизаны мстили коллаборационистам, китайцы и малайцы убивали друг друга. Возвращались и британские солдаты. Возможно, «Золотая лилия» сочла время неподходящим для вывоза сокровищ, но кому-то приходилось оставаться здесь, чтобы контролировать: спрятанное не потревожено.

— Значит, он оставался тут, в своем саду, и

дожил, пока все уляжется, — я раскладывала у себя в голове эти кусочки, чтобы обнаружить в этой мозаике какой-либо связный узор. — Но тут коммунисты развязали *свою* войну.

— Если он был причастен к «Золотой лилии», то знал бы, где спрятана добыча, во всяком случае — в Малайе.

Страх пробирает меня: как только станет известно о причастности Аритомо к чему-то подобному, орды людей наверняка снова набегут расспрашивать меня!

— Если он и знал, — заявляю твердо, — то унес это знание с собой.

— Такого рода сведения он не оставил бы валяться где попало, — соглашается Тацуджи.

— Мне он ни о чем не рассказывал.

Тацуджи смеется надо мной, и смех его звучит недобро:

— Человек с таким воспитанием и такого происхождения?! Конечно, не рассказывал. Да, он обязан был надлежащим образом исполнять свой долг. До самого конца.

Новый чайный домик в Маджубе находится на вершине крутого холма, а потому, добравшись туда после длительной прогулки, я дышу тяжело. До обеденного времени остается еще несколько

минут, однако все столики уже заняты пожилыми туристами в водонепроницаемых куртках и громоздких ботинках для ходьбы по горам. Оглядывая ресторан, я замечаю Фредерика, машущего мне с открытой террасы.

— Тебе удалось занять самый хороший столик, — замечаю я, пока он отодвигает для меня кресло.

— Иногда бывает польза от того, что ты владеешь таким заведением, — отвечает он. — Я его год назад из бунгало переделал. Когда-то в нем жил Джофф Харпер. Помнишь его?

Наш столик — в самом конце длинной узкой террасы, которая нависает над долиной, как пирс, огражденная по грудь витринными стеклами, позволяющими любоваться головокружительными просторами гор и поросших чаем склонов. Глициния буйно выбивается из шпалер над головой, воздух насыщен ее сладостным запахом. Я ненадолго закрываю глаза, вновь прокручивая в голове то, что утром Тацуджи поведал мне о «Золотой лилии».

На первый взгляд какая-то нелепая история… да только мне-то и другое известно.

Фредерик наполняет мою чашку чаем и подвигает ее ко мне:

— Кое-что из нашей новейшей линии. Мы только разрабатываем ее.

Поднимаю чашку к носу, вдыхаю поднимающийся от нее парок. Делаю глоточек и держу жидкость во рту, давая исходящему от нее аромату раскрыться на языке.

— Я уже много лет не пробовала чая Маджубы.

Фредерик, похоже, обижен.

— Он тебе не нравится?

— Не в том дело. — Как бы это ему объяснить? — Чай, растущий здесь… у него свой собственный, особый вкус… он воскрешает слишком много воспоминаний.

— Когда мне приходится путешествовать, — говорит Фредерик, — я всегда беру с собой коробочку собственного чая.

— Магнус как-то рассказал мне о храме в Китае, где он побывал…

— На горе Ли Ву, — перебивает Фредерик, и широкая улыбка появляется у него на лице. — Я съездил туда несколько лет назад. Все там на месте, все, о чем он тебе рассказывал: монахи, собирающие листочки на рассвете, особый аромат *того* чая. По сей день это самый дорогой чай в мире.

Внизу, в долине, яркие разноцветные косынки

сборщиц чая, словно лепестки, устилают всю лужайку. Фредерик указывает на людей вокруг нас:

— Здесь немало приехавших сюда в связи с годовщиной смерти Аритомо.

— Знаю. Они меня уже допекли. Какая-то журналистка вознамерилась заснять меня для документального фильма об Аритомо, который она делает. Еще одна попыталась уломать меня дать интервью для какого-то новостного канала.

— Тебе стоило бы поговорить с ними, рассказать об Аритомо. Ты ведь знала его как никто.

— Знала ли?

Принесли еду, и мы в молчании принялись за нее.

— Тацуджи закончил работать с оттисками гравюр на дереве, — говорю я, когда убрали тарелки.

Неспешно, конструируя последовательность событий даже во время рассказа, я излагаю Фредерику все, что узнала про «Золотую лилию». Когда я завершаю рассказ, наступает долгое молчание.

— Думаешь, Аритомо был замешан? — спрашивает он наконец.

— Не знаю. Но после того, что рассказал Тацуджи, уверена, что была узницей в одном из

концлагерей «Золотой лилии». Многое из сказанного им совпадает с тем, что я там видела.

— Аритомо знал, что джапы с тобой вытворяли?

— Я ему рассказала.

— Зато мне ты ничего не говорила. — Его голос выдавал застарелую обиду, все еще жгучую после стольких-то лет. — Сказать правду, я так и не смог понять, почему ты уехала из Югири.

— Я не могла жить тут, Фредерик. Не могла даже заставить себя создавать сад, который предназначался в память сестры: все в нем напоминало мне об Аритомо. Законы, право — единственное, в чем, по моему разумению, я разбиралась хорошо.

— У тебя и получалось совсем неплохо.

— Странно, правда? Я вовсе не думала становиться судьей, когда возвращалась к работе. Зато у меня имелось то, что, на свой лад, рекомендовало меня вновь образовавшемуся независимому государству, когда оно принялось подыскивать кадры: я не европейка, а уж как критически была настроена против наших колониальных хозяев, которые продали нас с потрохами!

— Ты так и не оправилась от пережитого в заключении.

— Ты знаешь кого-то, кто оправился?

— Виноват. Глупость сказал.

За спиной Фредерика в глаза мне бросается плывущий в небе воздушный шар — ярко-красный, в форме перевернутой слезы. Фредерик прослеживает мой взгляд, оборачиваясь, чтобы взглянуть через плечо.

— Один малый из К-Л привез его сюда неделю назад, — говорит он. — Поднимает на нем в воздух туристов. Мне рассказали, что успехом пользуется полет над районом вокруг Югири.

Шар, медленно вращаясь, подбирается к нам. Сбоку на нем слова «ЧАЙНАЯ ПЛАНТАЦИЯ МАДЖУБА» и эмблема плантации: контур капско-голландского дома. При виде его я издаю стон притворного недовольства.

— Да ладно тебе, — отмахивается Фредерик, — отличная реклама!

— Я его собью, если он осмелится полететь над Югири.

Он смеется, вызывая недоуменные взгляды сидящих вокруг людей.

— Помнишь ту сказку, которую каждый год Эмили рассказывала на Празднике середины осени? — произносит он, отирая слезы с глаз. — Хоу И своим луком и стрелами сбивает с небес

солнца? А его жена глотает волшебное снадобье и становится бессмертной?

— Бедняга Хоу И, тоскующий по жене, которую он потерял, уступив луне, — говорю я. — Ему бы, бедному, заставить себя позабыть ее.

— Видно, не смог, — отвечает Фредерик. — Видно, и не хотел забывать.

В тот же вечер, в пять часов, я переодеваюсь для прогулки: рубашка с длинными рукавами, свободные легкие брюки, крепкие башмаки. А Чон уже ждет меня у входной двери. Домоправитель, давно понявший, что я переняла у Аритомо привычку совершать вечернюю прогулку по окрестным дорожкам, стоит ему заслышать, что я собираюсь гулять, тут же появляется у входной двери с посохом. Посох я не беру никогда, но это отнюдь не мешает А Чону всякий раз подавать мне его.

Строго говоря, есть тринадцать пешеходных дорожек, что отходят от трех селений на Камеронском нагорье, все — разной протяженности и трудности. Еще есть куда больше тропинок, не нанесенных на карты, известных только лесничим и тем, кто всю свою жизнь провел на нагорье. Одна из них вьется у самого края усадьбы. На всю прогулку у меня уходит меньше часа, и, учиты-

вая время года, вряд ли я встречу еще кого-то на своем пути.

Во время прогулки давящая внутри тяжесть отпускает. Над головой сходящиеся друг с другом листья бросают тени на другие листья. Запах перегноя смягчен благоуханием диких орхидей. Воздушные корни пробиваются из ветвей деревьев баньяна, некоторые из корней постарше уже успели с годами окаменеть до состояния сталактитов, и теперь они подпирают прогибающиеся ветви. Если не считать тропинки у меня под нами, ничто не указывает на то, что кто-то проходил тут до меня, и всего через несколько минут я чувствую, как затягивает меня это влажное, гниющее средоточие тропического леса.

Тропинка крутая, идти по ней трудно.

Я останавливаюсь перевести дыхание на уступе, откуда открывается вид на долины внизу. И вновь меня жалит застарелое ощущение несправедливости: я была бы покрепче, если б не подорвала здоровье в лагере. Когда нейрохирург впервые уведомил меня о диагнозе, я спросила, не вызвали ли болезнь перенесенные мною лишения, не были ли они семенем, посаженным сорок лет назад, которое мало-помалу запускало свои ядовитые корешки все глубже и глубже в

мой организм. «Наверняка утверждать нельзя, — сказал врач, — но сомнительно».

Что-то во мне никак не может остановиться и не гадать об этом. *Афазия*. Какое прекрасное слово, думаю я, садясь на пенек красного дерева. Нет, не прекрасное: очень уж похоже на *раффлезию*, привлекающую во время цветения тучи мух запахом гниющего мяса.

Мысли возвращаются к рассуждениям Тацуджи о «Золотой лилии». Если он прав и Томинага Нобуру возглавлял «Золотую лилию» в Юго-Восточной Азии, тогда у меня нет сомнений, что лагерь, в который меня заключили, был частью всего этого. Но какое место Аритомо во всем этом? Прав ли Тацуджи, полагая, что Аритомо направили сюда подготовить почву для осуществления планов «Золотой лилии»?

Вдруг меня охватывает ярость по отношению к Аритомо. Пальцы впиваются в бока пня, на котором я сижу, как когти!

Но приступ ярости стихает быстро.

Встаю, отряхиваю грязь с брюк сзади. Уже темнеет. В низких туманах за холмами вызревает оранжевое свечение, словно бы деревья охвачены огнем. Из сотен пещер, изъевших склоны этих гор, валами валят летучие мыши. Смотрю, как

безо всяких колебаний погружаются они в туман, доверяя эху и молчанию.

Не так ли и все мы, рассуждаю я, направляем свои жизни, растолковывая молчание между произнесенными словами, дотошно исследуя возвраты эха нашей памяти, с тем чтобы составить «карту местности» нашей жизни, чтобы уяснить, что за мир нас окружает?

Глава 24

Сад составлен из многообразных часовых механизмов, сказал мне однажды Аритомо. Одни из них идут быстрее других, а какие-то идут медленнее, чем мы способны различать. Полностью я поняла это лишь много времени спустя после того, как стала его ученицей. Каждое растение, каждое дерево в Югири росло, цвело и умирало с той быстротой, какая была присуща только ему. И все же сад окутывало ощущение безвластия времени. Деревья из более холодных частей света — дубы, клены и кедры — приспособились к постоянным дождям и туманам, к бессезонному прохождению времени в горах. Свою расцветку они меняли незаметно. Один только росший у дома клен хранил память о сменяющихся временах года в расширяющихся кольцах ствола: листья его становились совершенно красными, слетали с веток и разносились по всему саду. Мне часто попадались эти листья, прилипшие к мокрым камням на берегах пруда Усугумо, как выброшенные приливом медузы.

Всякий раз, покидая Югири, чтобы отправиться

в селение Танах-Рата, я убеждалась, что потеряла счет времени. Приехав на Камеронское нагорье, я оставила мир позади, полагая, что это ненадолго, но пришел день, и меня поразило осознание факта: я провела в ученичестве у Аритомо больше года. Этим я поделилась с ним.

— Знаешь, Магнус первым рассказал мне историю Эдемского сада. Мне стоило большого труда представить его себе, — заметил он. — Сад, где ничто не умирает и не обращается в тлен, где никто не становится старым, а времена года никогда не меняются. Какое убожество!

— Что же в этом убогого?

— Представь себе времена года в виде кусков тончайшего, прозрачнейшего шелка разных цветов. Каждый из них прекрасен сам по себе, однако, наложи один на другой, пусть даже всего лишь по краям — и создается нечто особенное. Та узкая полоска времени, когда один сезон набегает на окончание другого, именно такова.

Он умолк ненадолго. Потом спросил:

— Что произошло с Эдемом после того, как мужчина и женщина были изгнаны из сада? Пришло ли все в запустение? Древо Жизни и Древо Познания? Или все в нем остается по-прежнему — неизменным, ожидающим?

Я попыталась припомнить, чему меня учили в школе монахини.

— Не знаю. Это просто сказка.

Он взглянул на меня:

— Когда Первый мужчина и Первая женщина были изгнаны из своего дома, Время тоже было пущено гулять по миру на воле.

Однажды утром в Югири появились Каннада-сан и его рабочие, и я поняла: монсун закончился. Многое надо было расчищать: бури отсекали ветви деревьев, листья и всякий сор нанесло с гор, они забили ручей, берега его оказались затоплены. Я радовалась возможности снова отдавать саду свое внимание и силы. Вскоре мы справились с тяжелыми работами и перешли на менее трудоемкие: расчистить дорожки, слегка изменить расположение камней, подрезать ветки — в общем, делали то, что Аритомо воспринимал как выбивающееся из гармонии.

Вечерами он брал у А Чона свой посох и мы прогуливались среди подножий холмов позади сада. Меня радовала каждая минута этих прогулок. Он всегда показывал мне что-то, чего сама я не заметила бы. «Природа — лучший учитель», — говорил он мне.

Стали приходить просьбы от крупных чинов-

ников и высокопоставленных военных деятелей посетить и осмотреть Югири. К моему удивлению, Аритомо соглашался на большую часть из них, хотя сам никогда не проводил такие экскурсии, а всегда просил меня проводить посетителей и показать им сад. К тому времени знаний о разбивке садов у меня было достаточно, но я понимала: мне понадобится еще много лет учебы у Аритомо…

Как-то днем, вычищая граблями лужайку перед домом, я почувствовала, как он подходит ко мне. Несколько минут он молча наблюдал за мной. Я продолжала заниматься своим делом: я больше не нервничала, когда он дотошно проверял мою работу.

— Как выглядит Югири в сравнении с другими твоими садами? — спросила я, не поднимая головы.

— Их, вероятно, уже сгубили грубые неумелые руки. Этот, здешний, — Аритомо обвел взглядом то, что нас окружало, — единственный, который до сих пор поистине мой.

— Ты мог бы создать больше садов тут, в Малайе. Приспособь «Искусство располагать камни» к нашему климату, — посоветовала я. — Будем вместе работать, ты и я. Начать можем с создания

сада, который мне нужен в память о Юн Хонг.

— Я сегодня получил письмо от Секигавы, — сказал он. — Бюро направило его сюда, повидаться со мной.

Я сгребла листья в мешок и положила грабли на землю.

— Что ты ему скажешь?

Он посмотрел на меня с самообладанием солнца, созерцающего собственное отражение в море:

— Я скажу ему, что мой дом теперь здесь, в этих горах.

Долго мы просто стояли и смотрели друг на друга. Потом я подала ему мешок с листьями, который все еще держала в руках:

— Теперь сад в совершенном порядке.

Взяв из моих рук мешок, Аритомо погрузил в него руку и вытащил горсть коричневатых пожухлых листьев. Ступил на лужайку и раскидал их, словно сам был порывом ветра. Когда последний лист выпал из его руки, он вернул мне мешок и отступил назад, чтобы взглянуть на то, что получилось…

В ту ночь, когда он делал мне наколку, руки его, я чувствовала, сновали медленнее, тяжелее. Раз-другой его пальцы отдыхали на моей спине,

подобно стрекозе, держащей равновесие на листочке. Было уже за полночь, когда он перестал работать и приткнулся к стене, сидя на пятках. За окнами, в траве, рыгающе квакали лягушки. Мгновение спустя я почувствовала, как он легко тронул меня за плечо. И сказал:

— Готово.

Взгляду моему понадобилась секунда-другая, чтобы обрести четкость. Я оттолкнулась от *татами* и встала на ноги. Глядя через плечо, рассматривала свое тело в зеркале, отыскивая последнюю наколку, которую он сделал цветной: закругленный контур Дома Маджубы, ковчегом плывущего по зеленой зыби чая. *Хоримоно* сливалось с голой кожей вокруг моей шеи, уходя к предплечьям, растворяясь на боках и прямо над началом ягодиц.

Я вертелась, пока не смогла увидеть в зеркале всю спину. Казалось, я натянула на себя чересчур тесную расписную рубашку. Двинула одним плечом, отчего все фигуры на ней вытянулись.

И вдруг мне стало страшно.

— У тебя теперь новая кожа.

Аритомо обошел вокруг меня, как уже делал почти год назад, когда пальцами обследовал мою тогда еще чистую спину.

— Но еще не все закончено: вот тут осталось это пятно.

Я коснулась прямоугольника, размером с две сигаретные пачки, у себя над левым бедром. Пустота его казалась неестественной, болезненной.

— *Хороти* непременно оставит какой-нибудь участок *хиромоно* пустым. Это символ того, что оно никогда не завершено, никогда не совершенно, — пояснил Аритомо, вытирая руки полотенцем.

— Вроде листьев, которые ты разбросал по лужайке, — тихо сказала я.

Даже после того, как сад в Югири был завершен, всегда находилась какая-нибудь работа по его содержанию. Большую часть рутины Аритомо поручал мне, указывая, что ему нужно от садовников и не жалея при этом слов на разъяснение каждого дела.

Как-то вечером, когда рабочие уже ушли, я проходила мимо стрельбища из лука и увидела его там, одетым для *кюдо*. С тех самых пор, как я его узнала, он ни разу не упражнялся в стрельбе из лука настолько поздно, да и в позе его было что-то непривычное. Остановившись, я стала смотреть. Удивление мое возросло еще больше, когда я заметила, что он делает вид, будто помещает

стрелу на тетиву. Вот он оттянул тетиву назад, потом отпустил ее. Никакой стрелы не было, но все ж мне показалось, будто я услышала слабый звук порванной бумаги, словно бы что-то с силой пронзило мишень.

Аритомо оставался недвижим — одна рука все еще вытянута вперед, удерживая лук на уровне глаз. Наконец он опустил его — это было как завершающая нота. Смотрел он по-прежнему на мишень, а потом удовлетворенно кивнул головой.

Я подошла по краешку прямоугольника из гравия и встала рядом с ним. Спросила:

— Что, попал в яблочко?

Он еще раз глянул на мишень:

— Да, попал.

— Не слишком это было трудно, потому как стрелы-то у тебя не было, — заметила я, пряча свое замешательство за слегка шутливым тоном.

— Ты не права. На это уходят годы упражнений. Когда я только-только начинал, то всегда мазал, — сказал он. — А стрела все же была.

— Не было, — упорствовала я, не позволяя себе повернуться и взглянуть на мишень.

— Была.

Он коснулся головы:

— Вот тут, внутри.

Он стал проводить больше времени на стрельбище, пуская невидимые стрелы. И каждую ночь просил меня дать ему посмотреть на хоримоно. Я лежала на простынях, а он рассматривал мою кожу, пальцы его оглаживали картинки, которые он выколол на моей спине: монастырь в горах, пещера саланган, лучник, сбивающий стрелою солнце. Уже через несколько минут я переворачивалась и притягивала его к себе.

Был поздний вечер, и мы с Аритомо были единственными людьми, оставшимися в саду. Тишина поднималась из самой земной глуби. Я была совершенно спокойной и надеялась, что в мире никогда не иссякнет этот резервуар спокойствия. Потом вновь пришли в движение облака, упали туманы и раскинулись по предгорьям.

Я отчистила свои инструменты, повесила их в кладовку. Пошла мимо стрельбища. Оно было пусто. У входной двери дома я нашла А Чона, державшего в руке посох из хенгала[243]. Кернильс сидел на ступеньке, вылизывал себе лапу. Почти тут же вышел Аритомо. Немного поколебавшись,

---

[243] Примечания: 243

Хенгала — растущее в Юго-Восточной Азии дерево (баланокарпус Гейма) с твердой и прочной древесиной.

он все же взял палку у домоправителя.

Мы прошлись до края пруда Усугумо. Кот следовал за нами, высоко задрав хвост. Аритомо остановился и стал смотреть куда-то через все пространство воды. В тени на одной ноге стояла серая цапля, не в силах оторваться от созерцания своего отражения. Позади я расслышала слабый хруст гравия: А Чон выкатывал свой велосипед из сада, скрежеща одним колесом.

Дорога, которую обычно выбирал Аритомо для подъема в горы, шла мимо западной стороны сада. У самого выхода на тропу, скрытую густой стеной папоротников и высокой травой, Аритомо остановился. Наклонился и почесал у Кернильса за ушками. А когда выпрямился, сказал:

— Полагаю, сегодня вечером мне лучше побыть одному.

И протянул мне свой походный посох. Мы посмотрели друг на друга, и в конце концов я взяла его у него.

— Оставлю его у тебя в кабинете, — сказала я.

Он кивнул и прошел мимо меня, лишь слегка коснувшись моей руки. Я смотрела, как он взбирается по склону. Отражавшийся от папоротников свет придавал воздуху зеленый оттенок. В конце подъема Аритомо обернулся, чтобы взгля-

нуть на свой сад. Наверное, он улыбался мне, но лучи солнечного света у него за спиной мешали разглядеть наверняка.

Я подняла руку. Махала ли я ему?

Звала ли его вернуться?..

«Больше всего шансов отыскать Аритомо — в первые двадцать четыре часа после исчезновения», — сказал на следующее утро субинспектор Ли, когда я приехала в участок в Танах-Рате. Он расспросил меня про состояние рассудка Аритомо, спросил, во что тот был одет. Попросил его фотографию — и только тогда я сообразила, что у меня нет ни одной.

Югири полиция использовала как базу для своих операций. Одну стену кабинета Аритомо сплошь утыкали картами местности, которые предоставили военные. А Чону вздохнуть было некогда: он без передышки готовил еду для людей, которые, топая, заходили в дом и, так же топая, выходили из него в любое время дня.

— Я нашла это у него на столе, — сказала я, отдавая Ли пузырек. — Его таблетки. Чтобы держать в норме кровяное давление.

Меня удивило, как много людей входило в поисковые группы. Я поделилась этим наблюдением с Ли, и он объяснил:

— Это все люди, которых он спас от пыток в Кэмпэйтай или от отправки на строительство железной дороги в Бирму.

Надежды наши слабели с каждым днем: время шло, а поисковые группы не обнаруживали никаких признаков Аритомо.

— Дожди мешают: наши собаки никак не могут взять след, — говорил субинспектор Ли, — да и следопыты-ибаны пытались отыскать хоть какие-то приметы местонахождения Аритомо безуспешно.

Местные газеты поначалу не обратили внимания на исчезновение Аритомо: для них, в конце концов, он был всего-навсего очередным путешественником, потерявшимся в джунглях. Однако после того, как некий японский журналист, писавший о коммунистах, засевших в горах, передал сообщение о происшествии в свою газету в Токио, репортеры стали стаями слетаться в Танах-Рату. Они наделали много шуму из того факта, что я была последней, кто видел Аритомо. Вспомнили о моем прошлом, как узницы японцев, докопались до моих отношений с Аритомо. Мой отец приказал мне немедленно уехать с Камеронского нагорья, прежде чем имя нашей семьи окажется опорочено безвозвратно, но я

пропустила его приказ мимо ушей.

Через неделю после начала поисков появился Секигава. Я была на веранде, листала свой дневник, когда А Чон препроводил его ко мне. Я припомнила, что мы встречались на этом же самом месте больше года назад — прямо перед тем, как Аритомо приступил к моему *хоримоно*.

— Вы должны уведомить меня, если я могу чем-то быть полезным, — сказал он. — Я пробуду в гостинице «Коптильня» столько, сколько потребуется.

— Что вызвало у вас желание повидаться с Аритомо?

— Я бы предпочел поговорить с ним лично, — ответил он. — Уверен, что его скоро найдут.

— Конечно же, найдут.

Взгляд Секигавы прошелся по саду перед верандой, затем вновь вернулся в дом.

— Он не оставил записки, письма? Для меня? Или кого-то еще?

— Он не знал, что ему предстоит потеряться в джунглях, мистер Секигава, — ответила я. — Но это ничего: как вы и сказали, его скоро найдут.

Гость пробыл недолго. После его ухода я снова раскрыла свой дневник на той странице, куда сунула когда-то тонкий голубой конверт. Подошел

Кернильс и потерся о меня. Я приподняла конверт и смотрела на него — на это письмо, написанное японским военным преступником своему сыну. Положила его на стол, наказав себе в уме отправить его завтра утром с А Чоном на почту.

Мой чай остыл. Я выплеснула его за веранду и налила в чашку свежего. Все еще сидя в позе *сейдза*, повернулась всем телом к саду и деревьям, к горам и облакам.

Подняла чашку, опустила голову и отпила первый глоток.

Глава 25

Уже далеко за полдень, когда я переступаю порог кабинета. Целый день я раздумывала и поняла: дольше откладывать нельзя. Фредерик скоро будет тут. Но все равно — я сомневаюсь. Взгляд скользит по книжным полкам, упирается в оловянную чайницу. Я беру ее, открывая на поверхности полки темный кружок следа. Стираю с чайницы пыль и слегка встряхиваю ее. Внутри что-то шелестит. Крышка открывается с трудом, поддавшись с мягким хлопком, когда я наконец-то ее снимаю. Заглядываю вовнутрь и вижу немного чая для заварки: едва хватит на ложечку-другую. Подношу чайницу к носу — все еще улавливается легчайший запах, словно бы лесной пожар залило дождем: скорее память о запахе, чем сам запах.

— Юн Линь? — В двери стоит Фредерик. — Там у ворот никого нет, я сам прошел.

Я ставлю чайницу на стол.

— Я велела А Чону уйти домой пораньше. Входи.

Сев на колени у комода из сандалового дерева в

углу комнаты, я шарю в нем, пока не натыкаюсь на предмет, который ищу. Несу его к столу и, действуя ножом для вскрытия писем как рычагом, открываю крышку. Помню, как когда-то Аритомо проделал то же самое. Я — эхо звука, исторгнутого целую жизнь тому назад.

— Надень их.

Я протягиваю Фредерику пару белых перчаток, пожелтевших от старости. Они чересчур малы для его толстых пальцев, но он все равно натягивает их. Вынимаю книгу *«Суикоден»* из футляра и кладу ее на стол.

— Тацуджи говорил о книге, которая преобразовала искусство татуировок, помнишь? «Легенда речных заводей». Роман, написанный в четырнадцатом веке, пересказывает сказание о Сун Цзяне[244] и ста семи его единомышленниках, которые восстали против продажного китайского правительства в двенадцатом веке, — напоминаю я Фредерику. — Сказание о шайке разбойников, сражающихся против угнетения и тирании, нашло отклик в душе японского народа,

[244] Примечания: 244

Сун Цзян (охраняющий справедливость (*кит.*) — лидер группы повстанцев, живший во времена династии Сун в Китае. Больше всего известен как один из главных персонажей романа Ши Найаня «Легенда речных заводей».

жившего под пятой клана Токугава. Популярность книги с середины восемнадцатого века только возрастала, она выходила в бесчисленных переизданиях. — Самое известное из них содержало иллюстрации, выполненные Хокусаем.

Я приподняла книгу:

— Вот в этой — подлинные гравюры Хокусая.

— И ты все это время держала ее здесь? Она, должно быть, целое состояние стоит.

Медленно переворачивая страницы, он задерживает взгляд на иллюстрациях, порой возвращаясь к тем, которые уже видел. Линии, вырезанные Хокусаем на дереве, а потом оттиснутые на бумаге, так же замысловаты, как отпечаток большого пальца какой-нибудь старухи.

— Поразительно, верно? То, что роман смог вознести татуировки от обыденности до высот искусства, — говорит Фредерик, добравшись до последней страницы.

— Эта книга совершила революцию в живописи на человеческой коже. До ее появления образцы были грубы и примитивны.

Ирония усугубляется тем, поясняю я, что самое неистовое гонение против наколок исходило от китайцев, которые еще с первого века видели в них обычай, свойственный лишь варварским

племенам. Отношение китайцев перенеслось и в Японию, потому что начиная с пятого века татуировки служили наказанием для уголовных преступников. Убийц и насильников, мятежников и воров — всех их навечно метили горизонтальными полосками и небольшими кружочками, выколотыми на руках и лицах. То была форма наказания, делавшая преступников легко узнаваемыми и надежно отсекавшая их от семей и остального общества. Наколки были обязательными еще и для «неприкасаемых» японского общества: кожевников, носильщиков нечистот и тех, кто имел дело с телами мертвых.

Для того чтобы замаскировать эти отметины, более находчивые нарушители закона делали поверх них наколки — замысловатые, с обилием деталей. К концу семнадцатого века татуировки стали украшением для парочек — будь то проститутка с ее покровителем или монах со своим катамитом[245], — свидетельством их любви друг к другу. Это были не рисунки, а китайские иероглифы, составлявшие имена любящих или обеты Будде. И только столетие спустя вошли в моду живописные наколки, хотя нанесение татуировок

[245] Примечания: 245

Катамит (catamite, *англ.*) — мальчик, состоящий в гомосексуальной половой связи со взрослым мужчиной.

было делом опасным, особенно во времена правления клана Токугава, когда жестоко каралось любое проявление индивидуальности. В то время запреты накладывались на все: театры и фейерверки, книги и образы «изменчивого мира».

— В такой обстановке никого и не потянет что-то выдумывать и пробовать, — замечает Фредерик.

— Нанесение татуировок было загнано в подполье и постепенно зачахло, но грянул период возрождения — благодаря *«Суикоден»*. Клиенты упрашивали мастеров наколок наносить на их тела рисунки Хокусая. Некоторые художники-татуировщики создали свои собственные рисунки, основанные на работах Хокусая. Пожарные были одними из первых, кто стал наносить татуировки, покрывавшие все тело, — в знак своей приверженности цеховому братству. Их примеру вскоре последовали другие профессиональные сообщества. Делали наколки писатели и художники, актеры театра Кабуки и члены *якудзы*. Даже у аристократов были татуировки. Правительство Токугавы взирало на такой ход событий с ужасом, и нанесение наколок вновь было поставлено вне закона.

— И зря — только интерес разожгли, — снова

вставляет Фредерик.

— Запреты на татуировки не касались иностранцев, явившихся с Запада, — продолжаю я. — Георгу Пятому татуировку выколол знаменитый японский мастер: дракона на предплечье.

— Король Георг с джапской наколкой! — крутит головой Фредерик. — Магнусу это жутко понравилось бы.

— Магнус — не единственный человек, кому Аритомо сделал татуировку, — тихо произношу я. — Он и других татуировал…

Я смотрю ему прямо в глаза.

— Тебя? — недоверчиво улыбается он.

— Мне нужно, чтобы Тацуджи осмотрел мою татуировку. Затем я его сюда и пригласила.

— Стало быть, все с самого начала не имело никакого отношения к этим самым ксилографиям.

— Имело.

Я закрываю книгу и укладываю ее обратно в футляр.

— Но я должна устроить так, чтобы наколка была сохранена, еще до того…

У меня непроизвольно дергается горло.

— Вся эта затея отвратительна! Ты не какое-нибудь животное, чтобы с тебя кожу сдирали после смерти.

— Татуировка, созданная садовником императора, — редкое произведение искусства. Его *необходимо* сохранить.

— Но ты же ненавидела этих чертовых джапов!

— Это совсем другое дело.

— Ладно… сфотографируй ее, если хочешь сохранить.

— Это все равно что сфотографировать картину Рембрандта, а потом уничтожить оригинал. Тацуджи будет спокойнее, если кто-то еще будет вместе с нами, когда я буду ему ее показывать.

Я делаю глубокий вдох.

— Мне бы хотелось, чтобы ты присутствовал.

Фредерик молчит.

— Насколько велико это… эта татуировка?

— Я хочу, чтоб ты взглянул на нее.

Фредерик видел меня голой десятки лет назад, и сейчас меня дрожь пробивает при мысли выставить напоказ свое стареющее тело.

Он ошеломлен.

— Что, здесь? Сейчас?

— Когда прибудет Тацуджи, — я бросаю взгляд на часы. — Он скоро должен быть тут.

— Я не хочу видеть то, что он сделал с тобой, — говорит он, отступая на шаг.

— Я больше никого не могу попросить, Фредерик. Никого.

Комната, которую я предоставила Тацуджи для работы, была той самой, где Аритомо делал мне наколку — за ночью ночь. На мгновение показалось, будто я улавливаю едва различимый запах туши и крови, впитавшийся в стены с благовонием сандалового дерева, которое Аритомо зажигал всякий раз, принимаясь за работу.

— Заштрь окна.

Слова звучат знакомо, и я вспоминаю, что когда-то уже произносила их… в этой самой комнате. Или они были лишь эхом, возвращающимся по кругу через каньон времени?

Фредерик долго глядит на меня, не двигаясь. Потом подходит к окну и закрывает ставни, запирает их на задвижку.

Тацуджи зажигает настольную лампу.

Глядя на себя в зеркало, которое установила тут утром, я снимаю с себя жакет и аккуратно вешаю на спинку стула. Вожусь с жемчужными пуговками на шелковой блузке, и Фредерик подается вперед, чтобы помочь мне, но я отрицательно повожу головой. Снимаю бюстгальтер, прикрываю блузкой грудь и поворачиваюсь спиной к зеркалу, глядя в него через правое плечо.

Сияние исходит от моей кожи, оно, кажется, разгоняет тени и распахивает пространство, выходящее далеко за эти стены. Сколько уже времени миновало, а и сейчас, глядя на татуировку, я чувствую приступ неловкости — неловкости, смешанной с гордостью. Мне знакома каждая линия, каждый изгиб его рисунка, но я помню времена, когда всякий раз что-то новое бросалось в глаза — то, что Аритомо искусно вплетал в узоры.

Фредерик застыл с выражением на лице, в котором смешались и волнение, и восхищение, и — да, даже оттенок страха, который я сама ощущала всего секунду назад.

— Они… они выглядят нелепыми, — хрипло выговаривает он. — Жуткими.

У меня на спине стоит серая цапля. Храм появляется из облаков. Изящные рисунки цветов и трав, увидеть которые можно только в экваториальных лесах, тянутся вверх от моего бедра. Сокровенные, неизъяснимые символы вписаны в наколки — символы, смысл которых мне так и не удалось раскрыть: треугольники, круги, шестиугольники. Их штрихи примитивны, как самая ранняя китайская письменность, нанесенная огнем на черепашьи панцири.

Тацуджи вытягивается, не сводя с меня глаз,

словно дерево, ожидающее, когда ветер расшевелит его листья.

— Тацуджи, вы хотите, чтобы я простудилась?

Очнувшись, он принимается извиняться. Направив колпак лампы на меня, склоняется над моею спиной, держа увеличительное стекло поближе к коже. В голове у меня мелькает мысль: а ну как свет пройдет через линзу и прожжет мне спину? Я говорю себе, что веду себя как идиотка, и кручу шеей, чтобы разглядеть, чем этот ученый занимается. Тень его скрывает участки *хоримоно*, наколки вновь появляются, когда он двигается: словно коралловые рифы вновь обретают свои цвета, стоит только солнцу очиститься от облаков. Холодная металлическая оправа лупы касается меня, и я вздрагиваю.

— Извините, — бормочет ученый. — Поднимите руки, пожалуйста.

Я подчиняюсь, глядя перед собой. Частички пыли, плавающие в воздухе между пластами света и тени, походят на движущийся в море криль, и я думаю о китах, которых видела, когда была девочкой, на пляже за дурианoвым садом Старого Мистера Онга.

— Замечательно, — говорит Тацуджи, и голос его врывается в мои грезы. — Стиль японский, а

вот рисунки — нет. Это *хоримоно* могло бы рассматриваться как произведение почти под стать его *укиё-э*. Рисунки вы выбирали?

— Мы сошлись на использовании в качестве источника *«Сакутей-ки»*. Но в конечном счете я все предоставила решать ему.

— Я узнаю дом в Маджубе, — говорит историк, и Фредерик согласно бормочет. — Но что это, вот здесь?

Тацуджи касается места у меня в прогибе спины. Мне незачем изгибаться, чтобы увидеть, на что он указывает.

— Это лагерь, куда я была заточена.

— А это?

Пальцы Тацуджи сдвигаются на дюйм[246] влево.

— Что это за белые полоски?

— Метеоритный дождь, — объясняю я то ли себе, то ли ему.

Пальцы его давят на точку в дюйме от моего бедра. Там, на фоне совершенно белого квадрата неба, изображен лучник в момент, когда он послал стрелу в солнце.

— Легенда о Хоу И, — говорю, глядя на Фредери-

---

[246] Примечания: 246
Дюйм — чуть больше 2,5 сантиметра.

ка. — Это китайский миф.

— Я знаю о нем. В той сказке Хоу И оставил светить одно солнце, — говорит в ответ Тацуджи. — А здесь, похоже, лучник сбил последнее солнце с небес. И одет он не в китайские одежды, а в японские. Взгляните на *хакама*.

— И солнце… оно похоже на ваш флаг, Тацуджи, — замечает Фредерик.

Пальцы Тацуджи опять скользят по моей коже, касаясь монастыря. Память о том утреннем восхождении на гору возвращается ко мне. Я радуюсь: монахиня сказала мне, что монастырь все еще стоит, все еще возносит благовоние ладана в облака…

— Он не закончил татуировку, — говорит Фредерик. — Здесь — пустой прямоугольник.

— У *хоримоно* должно быть внутри пустое место, — поясняет Тацуджи.

Он опускает на стол увеличительное стекло.

Фредерик снимает со стула мою одежду и протягивает ее мне. Оба мужчин отходят в дальний конец комнаты.

Вижу в зеркале, что за рисунок выгравировал возраст на моем лице — морщины, которые так и не появились на коже спины. Обернувшись, разглядываю через плечо отражение наколок.

Сумрак вобрал в себя последний свет из кабинета, однако линии и цвета на моей коже по-прежнему излучают свечение. Одна из фигур на *хоримоно* кажется двигающейся.

Но это лишь обман зрения.

На следующий день Тацуджи приезжает в Югири переговорить со мной.

Мы сидим на *энгава*. Он привез договор на использование им *укиё-э*. Я проглядываю его: все верно, все так, как мы договорились, нет ничего, что вызвало бы возражения. Тем не менее я прошу его дать мне день-два на изучение договора.

— Я провел утро в саду, — говорит он.

— Я вас видела.

Он разворачивает большой лист миллиметровки и раскладывает его на столе. Бумага покрыта надписями, сделанными его аккуратным почерком, и схемами.

— Я сделал набросок планировки Югири со всеми его основными достопримечательностями: дом, водяное колесо, пруд, даосские символы, выстриженные в траве, каменный атлас.

Я впервые вижу Югири в таком виде и долго, придирчиво разглядываю схему.

— Аритомо-сэнсэй любил пользоваться принципами «заимствованного пейзажа» в своих

садовых затеях, — говорит Тацуджи. — Вот: взгляд человека в его саду всегда будет направлен наружу, вовне. Я так много дней изучал его *укиё-э*. Это заставило меня подумать: а что бы я увидел, если бы мне довелось точно так же взглянуть на его сад: стоя вне его пределов и созерцая то, что внутри?

— И что вы увидели?

— Я пометил каменные фонари, статуи, коллекцию камней и разные площадки, где Аритомо разместил самые впечатляющие виды, — говорит он, указывая пальцем на разные точки на листе бумаги.

— Все они расположены на изгибах или поворотах дорожки.

— Он создавал это таким образом, чтобы сад воспринимался большим, чем он есть на самом деле.

— Мне это известно. Я много раз исходила весь сад, но так и не смогла сопоставить четко: как эти предметы расположены на самом деле, относительно друг друга. До сего момента.

Достав из кармана авторучку, Тацуджи обводит кружком значок, обозначающий фонарь, потом соединяет его линиями с другими объектами — местами, где оборудованы виды, пока не доходит

до последнего предмета — каменного Будды на ложе из папоротников. Появляется прямоугольник, вписанный в границы Югири.

Я гляжу на него.

— Если свести эту схему к масштабу вашего *хоримоно*, то, полагаю, это… — Тацуджи указывает на фигуру, созданную им на миллиметровке, — соответствовало бы месту, оставленному без наколок на вашей спине. Линии вашего *хоримоно*, по-видимому, совпали бы с метками и дорожками Югири здесь, на этой схеме.

Я надеваю очки для чтения и изучаю миллиметровку. С тех пор, как Тацуджи впервые приезжал повидаться со мной — а прошло уже почти две недели, — я все время думала о том, что он мне рассказал. Это вынудило меня переоценить свои познания об Аритомо, заставило в ином свете осмыслить сказанное и сделанное им. Результат оказался ошеломительным.

Чего-чего, а этого я не ожидала.

Следующий вечер я провожу за ужином с Фредериком и Эмили в Доме Маджубы. Хозяйка оживлена и бодра, болтает с нами в гостиной после того, как с едой покончено. Уже поздно, и она просит меня помочь ей добраться до своей спальни. Оглядываю комнату, стараясь вспомнить ее

с тех времен, когда сама спала тут. Стены уже не белые, а нежно-голубые. Фотография Магнуса в серебряной рамке, украшенной крапчатым пером цесарки, стоит на столике у кровати: святыня, на которую молятся лекарственные пузырьки вокруг.

Опускаясь на кровать, Эмили издает стон боли. Закрывает глаза так надолго, что я думаю, будто она уснула, и уже собираюсь ускользнуть потихонечку, но ее глаза снова открываются и блестят так ярко, как за весь вечер не блестели. Эмили усаживается прямо и указывает рукой на полку, не глядя на нее.

— Та шкатулка, — говорит она. — Сними ее.

— Вот эта?

— Да. Открой.

Внутри шкатулки на тканевой обивке лежит фонарик из рисовой бумаги. Фонарик старый — гравюра папоротников, оттиснутая на его оболочке, очень хрупка. Осторожно передаю фонарик Эмили. Внутри его все еще хранится наполовину оплывший огарок свечи.

— Я думала, что Аритомо все их уничтожил.

— О, этот я сохранила. Остался от одного из празднований лунного Нового года, задолго до того, как ты с ним встретилась, — говорит она,

оглядывая фонарик. — Помнишь те фонарики, что он сделал в память о Магнусе? Вот было зрелище, когда мы в тот вечер выпустили их в небо! Здешние старики до сих пор об этом говорят, знаешь ли…

Она испускает вздох — откуда-то из самой глубины своего существа.

— Моя память сегодня похожа на луну: полная и яркая — такая яркая, что все ее рубцы видно.

Эмили медленно поворачивает фонарик на ладони, потом отдает его мне. Я уже собралась вернуть его в шкатулку, но она останавливает меня.

— Нет-нет. Это тебе. Я хочу, чтоб он у тебя был.

— Спасибо.

Когда я возвращаюсь в гостиную, Фредерик бросает взгляд на фонарик. Протягивает мне виски и спрашивает:

— Как Вималя? Радует тебя?

— Она умна и прислушивается к указаниям. Югири начинает нравиться ей.

Он садится напротив меня.

— Эти твои наколки… ты их прятала все эти годы?

— Если не считать врачей… и моих нейрохирургов… никогда их никому другому не показывала.

Припоминаю выражение лица моего врача, когда он впервые увидел *хоримоно* — давно это было. За десятки лет я переболела разными болезнями, но все они не требовали хирургического вмешательства.

Бывают дни, когда я думаю: а не обладает ли и вправду *хоримоно* свойствами талисмана, как утверждал Аритомо? Если так, значит, больше я не нахожусь под его защитой.

— А твои… твои любовники? — спрашивает Фредерик. — Они что говорили, когда видели твои наколки?

— Аритомо был последним.

Он слышит все, что я оставила невысказанным. И тихо роняет:

— О, Юн Линь…

Я думаю о годах одиночества, об осторожности, которую приходилось проявлять в одежде — чтобы никто никогда не смог проникнуть в мою тайну.

— Аритомо наделил меня ими, и я совсем не хотела, чтоб кто-то другой их видел. К тому же я шла вверх по лестнице судебных чинов… одного слуха о чем-то таком хватило бы, чтобы погубить мою карьеру. — Я отодвигаюсь от него. — И, если честно, после Аритомо я так и не встретила нико-

го, кто пробудил бы во мне интерес.

— Это из-за них ты не хочешь подвергаться лечебным процедурам? — говорит Фредерик. — Тебе придется. Ты должна.

— Какие бы процедуры я ни проходила, какие бы лекарства ни принимала, они в конечном счете меня не спасут, — отвечаю я. Перспектива оказаться запертой внутри своего же разума меня ужасает. — Я обязана устроить так, чтобы *хоримоно* сохранилось.

Взгляд Фредерика скользит по всем углам комнаты.

— Договаривайся с Тацуджи о его сохранении, только прошу тебя: начни лечиться! В наше время нет ничего постыдного в татуировках, — убеждает он. — Что с того, что ты судья?! Ты уже в отставке. Если люди захотят языки почесать, так и черт с ними! Отправляйся лечиться и возвращайся сюда — поправляться, жить. В Танах-Рате есть хорошая частная лечебница, где ты сможешь обосноваться. Юн Линь, есть люди, которые смогут позаботиться о тебе.

— Провести преклонные дни на слоновьем кладбище?

— Можешь жить в Доме Маджубы.

Он пробует улыбнуться, выдать то, что собира-

ется сказать, за проходную банальность, но у него не получается.

— Я позабочусь о тебе.

— Я вернулась сюда не в надежде, что ты это предложишь, Фредерик, — говорю.

Слеза катится у него по щеке. Я протягиваю руку и тыльной стороной пальцев смахиваю ее.

— *Хоримоно* — лишь часть того, что произошло со мной. Это подарок Аритомо. Долг велит мне сделать все, чтобы оно уцелело.

Когда позже я выходила из Дома Маджубы, держа в руке незажженный бумажный фонарик, то услышала «Романс» из фортепианного концерта Шопена. В ту ночь, сообщит мне на следующее утро Фредерик, умерла Эмили. Она уснула и больше не проснулась, уплыв от берега на музыке, которую некогда Магнус каждый день играл ей на ночь…

А Чон ожидает меня. Дает мне коробок спичек и пучок благовонных палочек, которые я просила его купить. Как обычно, протягивает мне посох для прогулок. Поколебавшись, беру его. Если домоправителя это удивляет, если он чувствует, что его настойчивость наконец оказалась оправданной, то не показывает этого.

— Уже поздно, — говорю я ему. — Ступай до-

мой.

Деревья на тропе в сторону Маджубы задают тон стрекоту вместе с цикадами, словно камертоны, по которым бьют раз за разом. Воздух пахнет землей, ублаженной дождем.

В Доме Маджубы служанка сообщает мне, что Фредерик все еще у себя в конторе. Обхожу дом вокруг. Останавливаюсь при виде двух статуй — Мнемозины и ее безымянной сестрицы-близнеца. Богиня Памяти совсем не изменилась, а вот лицо ее сестры, вижу я с тревогой, почти сгладилось, все черты стерлись. Наверное, причина этого — в разном качестве камня, которым воспользовался скульптор, но все равно это расстраивает меня. Держа в руке посох, осторожно ступаю вниз по выложенным сланцем ступеням к надлежаще ухоженному саду. Еще один признак возраста: этот страх упасть. Как он мне ненавистен.

Арка с невольничьим колоколом, белая как мел, тянет меня к себе. Усевшийся на ее верху скворец смотрит на меня, скособочив головку. Поднимаю взгляд на колокол, вглядываюсь в черную радужку его языка. Тело деревенеет, когда, вытянувшись, дотягиваюсь до него. Холод металла проникает через перчатки, ржавчина прилипает к кончикам пальцев, словно чешуйки

высохшей кожи.

Рабочие Вимали перекопали землю и убрали экзотику, однако розовый сад Эмили, эта чаша в земле, по-прежнему цел: Фредерик решил оставить его нетронутым. У декоративного пруда бронзовая статуя девушки все так же смотрит в воду, вот только лицо ее еще больше пострадало от непогоды. Зайдя за стойку с бугенвиллеями, я вхожу, словно в беседку, под их низко свисающие ветви. Место вокруг трех могильных камней заботливо обихожено.

Морщась от боли в коленях, опускаюсь у самого старого надгробия, зажигаю и втыкаю в землю три палочки в память о дочке Магнуса и Эмили. Стоя на коленях, поворачиваюсь к могиле Эмили и проделываю то же самое. Перебравшись к последнему надгробию, зажигаю еще три палочки в память Магнуса. Что-то подсказывает мне, что он против этого возражать не стал бы.

Поднимаясь с помощью посоха на ноги, замечаю еще дальше среди деревьев узкий вертикальный камень, скрытый в тени. Странно, когда мы хоронили Эмили, я его не видела! Я подхожу ближе. Камень покрыт лишайником, но что поражает меня — так это имя Аритомо, вырезанное на нем вертикальной строкой *кан-*

дзи[247]. Каллиграфическая надпись похожа на узкий мелководный ручеек, пробивающий себе дорожку по бесплодному склону горы.

Никто не рассказывал мне об этом камне, под которым не могила, а пустота.

Зажигаю еще три благовонные палочки и вставляю их во влажный пятачок почвы перед камнем.

И долго смотрю на дым, тянущийся вверх и пропадающий среди деревьев.

Тень от башни с невольничьим колоколом на лужайке удлинилась. Я взбираюсь по ступеням к дому. Первые вечерние звезды ожили, мерцая, когда я села на каменную скамью. Бросаю взгляд на долины и возвращаюсь мыслями к тому, что поведал мне Тацуджи в тот первый раз, когда прибыл в Югири.

Почти сразу из кухни выходит Фредерик.

— Вот ты где. Пойдем, старушка, — зовет он, растирая руки от прохлады. — Заходи в дом. Я развел *lekker* огонь.

В гостиной Фредерик подбрасывает в пламя несколько сосновых поленьев, а я спрашиваю его про надгробие с именем Аритомо.

---

[247] Примечания: 247

Кандзи, букв.: «ханьские буквы» (*яп.*) — китайские иероглифы, используемые в японской письменности.

— Это Эмили его поставила, еще несколько лет назад, — отвечает он.

— Ты должен был рассказать мне.

Он смотрит на меня:

— Я рассказывал.

— Я… — голос мой осекается, я не знаю, что сказать. — Я всегда думала, что она винила Аритомо в смерти Магнуса.

— По-моему, чем старше она становилась, тем меньше так считала. Помню, однажды сказала мне: «Мне не важно, если его тело никогда не найдут. Несправедливо, что у этого человека нет даже пристойной могилы».

Я медленно, с остановками, передаю ему, что показал мне Тацуджи на своей схеме расположения Югири. Когда я заканчиваю говорить, некоторое время в комнате слышится только потрескивание поленьев в камине.

— Если он прав, если это карта, то я смогу с ее помощью отыскать, где погребена Юн Хонг, — говорю я. — Только чего я добьюсь этим в конечном счете?.. Даже если и впрямь найду все тайные хранилища «Золотой лилии» в Малайзии… даже если я все еще буду способна к общению, способна быть понятой?

Не один год после того, как Аритомо пропал в

горах, меня не покидало ощущение, что он меня бросил. Единственным способом избавления от горечи обиды было отстраниться от всего, чему я у него выучилась. А вот теперь я ломаю голову: а не оставил ли он мне нечто большее, чем просто сад? Не оставил ли он еще и ответ на единственный вопрос, которым я терзалась? Отыскала бы я в конечном счете связь между садом и *хоримоно*, если б не старалась держаться подальше от Югири?

Былое ощущение брошенности уходило, как вода из пруда, оставляя одну скорбь по Аритомо, по тому, как растрачена была его жизнь, как, впрочем, и моя тоже — на свой собственный лад.

Я больше не хочу разыскивать ни свой лагерь, ни шахту.

Юн Хонг уже больше сорока лет мертва. Розыск места, где ее погребли, не снимет с меня груза вины и не вернет содеянного.

— Ни единому человеку нельзя позволить воспользоваться этим *хоримоно*, Фредерик.

— Измени сад, — предлагает он. — Удали все, что создал Аритомо. Это сделает наколку бесполезной. Вималя тебе поможет. И я тоже — рабочих подошлю.

— Ты ведь ненавидишь этот сад, да, скажи

честно?

Я улыбаюсь ему, и на мгновение тяжесть в моей груди становится не такой давящей.

— Возможно, он всегда был для меня символом того, почему ты так и не ответила на мои чувства, — отвечает Фредерик беспечно, но я с острой болью осознаю: он говорит от страдающего сердца.

— Я дала Юн Хонг три обещания, — говорю. — Я обещала ей, что убегу из лагеря, если представится возможность. И это единственное обещание, которое я сдержала. Я так и не создала сад, который мы вместе видели в воображении. Я так и не высвободила ее душу оттуда, где она была погребена.

Думая над тем, что рассказал мне Тацуджи о «Золотой лилии» и о том, что та сделала со своими рабами, я вижу мысленным взором Юн Хонг и всех узников, затвердевших в глине, как тысячи терракотовых воинов, найденных в усыпальнице какого-то императора на севере Китая, которые оказались погребены под прахом двух тысячелетий.

Фредерик опускается коленями на ковер передо мной, берет мои руки в свои. Я подавляю порыв выдернуть их.

— Ты как-то сказала мне, что Аритомо взял название для павильона у пруда из любимого стихотворения твоей сестры, — говорит он.

— Небесный Чертог, — произношу я.

— Сад в ее честь уже существует, Юн Линь. И существует уже около сорока лет.

Я недоуменно смотрю на него. Он отпускает мои руки, но я не убираю своих с его.

— Мы — единственные уцелевшие после тех испепеляющих дней, — говорит он. — Два последних листочка, все еще держащиеся на ветке и ждущие падения. Ждущие, когда ветер взметнет нас в небеса.

Глава 26

В последний день своего пребывания на Камеронском нагорье Тацуджи приезжает в Югири раньше обычного, привозит с собой материалы для упаковки ксилографий. Я вручаю ему подписанный договор и помогаю обернуть каждую *укиё-э* в пластик, прежде чем он укладывает их плашмя в воздухонепроницаемый ящик.

— Работа в саду, кажется, идет хорошо, — говорит он, когда последняя *укиё-э* упакована и ящики запечатаны. — Сегодня утром, приехав сюда, я уже вижу, как сад, должно быть, выглядел, когда был жив Аритомо-сэнсэй.

— Тут еще многое надо сделать. Но он будет восстановлен таким, каким был когда-то, — говорю, — таким, каким я его помню.

— Ваше *хоримоно*…

— Я дам вам знать.

Тацуджи достает из своего портфеля книгу стихов Йейтса. Смотрит на нее, потом протягивает мне. Я повожу головой, но он настаивает:

— Прошу вас! Я хочу, чтобы она была у вас.

Я принимаю от него книгу. Такое чувство, что

мы знаем друг друга гораздо дольше двух недель, проведенных им тут. Мы похожи: те, кого мы любили, оставили нас, а мы стараемся идти по жизни дальше.

Вот только единственное, чего мы не можем, это — забыть.

Я провожаю его к выходу из сада, минуя Небесный Чертог у берегов пруда Усугумо. У ворот он низко-низко кланяется мне.

— Приезжайте в Кампонг-Пенью навестить меня, когда будет готов мой дом.

Я возвращаю ему поклон.

— Дом на песчаном берегу — и бесконечность времени, — говорю я, зная, что никогда больше не увижу его.

Туман впервые застлал мне глаза, как раз когда я упражнялась в стрельбе из лука. Не было никаких сигналов, никаких предостережений — зрение враз сделалось мутным, будто кто-то невнятно пробурчал слова в пустую стеклянную бутылку. Сжимая лук в пальцах, я отбиваюсь от страха, расползающегося по всему телу. Хочу крикнуть А Чону, позвать на помощь, но не желаю, чтоб кто-то услышал, как паника вопит моим голосом.

«Следи за дыханием», — слышу я голос Арито-

мо — до того отчетливо, будто он стоит со мной рядом.

Делаю, как он учил меня, поначалу безо всякого успеха. Раз за разом промежуток между каждым натужным вдохом и судорожным выдохом становится протяженнее: низины, отделяющие один горный кряж от следующего. Понемногу паника стихает, и я снова начинаю дышать нормально. Отерев концом рукава выступивший на лбу пот, со стуком опускаю лук на пол. Звук вселяет уверенность.

«Заверши выстрел».

Деревья шелестят на ветру. Стрелы в стойке-колчане позади меня тихо подрагивают. Еще я слышу, как перемещается гравий на площадке перед стрельбищем: похоже, будто кто-то хрустит пальцами. Вслепую прилаживаю стрелу к тетиве и натягиваю ее, чувствуя, как раздаются ребра. Мысленно вижу мишень, пока жду, когда уляжется ветер. Ощущение спокойствия охватывает меня, и я понимаю, что готова вечно стоять в этой пустоте.

Пускаю стрелу, разум мой на едином продленном дыхании направляет ее до самого центра *маттo*. Тетива, звеня, возвращается к молчанью — по ее песне, сильной и чистой, понимаю: луч-

шего выстрела я не делала никогда.

Я долго стою на месте.

Стою, пока пустота во взоре вновь не заполняется чем-то бесформенным, сливающимся в знакомые очертания деревьев и гор, а еще — в длинную площадку из гравия впереди. Подношу руку к глазам и опять становлюсь видимой для себя. Возвращаю лук на стойку и иду к дому, оставив стрелу торчать в самом центре мишени.

Фонарик из рисовой бумаги, подаренный мне Эмили, покоится на полке в кабинете. Поздно ночью, уже собравшись сесть за стол, я замираю, глядя на него. Порывшись в ящиках, нахожу листок бумаги, вырезаю из него круг и покрываю им верхушку фонарика, закрепив бумажку скотчем от мотка, оставленного Тацуджи.

Пруд глядится звездным лугом. Лягушки перестают квакать, как только чуют мое присутствие, но проходит несколько мгновений, и кваканье возобновляется. Я зажигаю свечу в фонарике и держу его в руках. Закрываю глаза и вижу Аритомо. Женское лицо возникает под сжатыми веками, и я осознаю, что это Юн Хонг. Она не улыбается. Она не сердита, она не печальна. Она всего лишь — память.

Фонарик становится не таким тяжелым, а по-

том и вовсе невесомым. Отпускаю его — такое чувство, будто выпускаю птицу из сведенных ладоней. Нынче вечером безветренно, фонарик, покачиваясь, вздымается вверх, маячок света уходит все выше и выше.

Я смотрю, пока он не исчезает где-то за облаками…

Рассвет наступил, когда дописана последняя строка. Я работала всю ночь, переписывая листок за листком, но совсем не чувствую усталости. Держу в руке лист бумаги, а мысли мои далеко-далеко — там, в прогалине папоротников, где я в последний раз видела Аритомо.

Почти сорок лет назад.

Бывали времена, когда я корила себя, что не окликнула его: наверное, он передумал бы, отправился бы на прогулку попозже или на другой день и не повстречался с чем бы то ни было, что обрушилось на него. Даже после того, как я изложила события тех кратких лет письменно и перечитала их сызнова, я все еще не чувствую полной уверенности — как нужно было поступить. Зато теперь я знаю: будь то несчастный случай или он сделал это умышленно, ничего предотвратить я была бы не в силах — никакими словами и никакими поступками.

На стропилах звучно щелкнула ящерица-геккон. Я засунула лист бумаги подо все остальные написанные мною страницы, сбила их в аккуратную стопку и связала тесемкой. Что-то копошилось у меня в памяти, и я долго сидела в кресле совершенно неподвижно, чтобы не спугнуть что бы там ни выбиралось из потаенных мест. Вырисовывалось медленно, словно образовывались облака.

Помню, как долгое время после исчезновения Аритомо ко мне то и дело возвращался один и тот же сон, пятная моменты пробуждения тончайшими водяными знаками. Он перестал мне сниться, когда я уехала из Югири, и я напрочь забыла о нем.

Во сне я слежу, как шагает Аритомо по тропинке тропического леса, раздвигая низко свесившиеся ветви и лианы. То тут, то там тропинка сужается или теряется в речке. Он недалеко впереди меня, и мне чудится, что я преследую его — тихонько, украдкой. Несколько раз он замедляет шаг, словно бы позволяя мне не упустить его из виду. Но ни разу не оборачивается. Ни разу. Тропинка кончается на поляне, где он останавливается. Неспешно, всем телом поворачивается лицом ко мне. Смотрит на меня, ничего не говоря. И тут до

меня доходит, что я несу лук, его лук. Чувствую, как лук растягивается, как напрягается, пока я занимаю позицию, готовясь к стрельбе, позицию, которой он обучил меня в совершенстве. Я поднимаю тяжелый лук, натягиваю тетиву и целюсь прямо в него. От усилия у меня подрагивают руки, грудь и живот. Он по-прежнему бездвижен и безмолвен.

Я отпускаю тетиву.

И, хотя нет никакой стрелы, он все равно падает.

Все равно падает.

Выйдя из кабинета, я иду мимо нарисованного тушью Лао Цзы. В сумраке пустоты на картинке светятся. Этот рисунок создал отец Аритомо. Лао Цзы, разочарованный философ из Китая, отправился на Запад, и больше его никто не видел и о нем не слышал. Аритомо тоже изложил свои мысли и свои учения, прежде чем ушел: он выразил их в своем саде и изобразил их на моем теле.

Мое решение восстановить сад — правильное, единственное, к которому я могу прийти.

Я устрою так, что Югири пребудет вечно. Ради моей сестры. Когда сад будет готов, я открою его для публики. У Небесного Чертога я поставлю памятную доску с описанием жизни Юн Хонг. А

еще — сад станет живой памятью того, что создал Аритомо.

Я уже уведомила Тацуджи, что Аритомовы *укиё-э* должны вернуться в Югири. Тут я устрою их постоянную выставку. Заодно придется отремонтировать и дом. А мне понадобится написать для Вимали столько указаний, сколько смогу. Надо будет поискать Аритомов перевод *«Сакутей-ки»* и отдать его ей. Так много надо сделать! Ближайшие недели и месяцы я буду занята. Напоминаю себе попросить своего секретаря (своего бывшего секретаря) наведаться ко мне домой в К-Л и прислать мне акварель Юн Хонг. Она будет выставлена для посетителей, которые придут осмотреть сад.

Это правильно, что Юн Хонг будут помнить, тогда как меня будут постепенно забывать и — со временем — забудут совершенно.

Сад должен продолжать существовать. Ради того, чтоб это произошло, *хоримоно* придется непременно уничтожить после моей смерти. Такую обязанность не могу доверить никому — ни Тацуджи, ни Фредерику.

Мне придется сделать это самой.

Темнота в небесах редеет, когда я выхожу к пруду Усугумо. По небу летит птица, возвращаясь в

горы. На память приходит пещера, куда повел меня Аритомо посмотреть на саланган. Интересно, думаю, собирают ли все еще местные *оранг-асли* там гнезда, все так же закреплены ли по стенам леса из бамбуковых шестов? Интересно, смогу ли снова найти эту пещеру?

Наверное, слепой монах, с которым беседовал Аритомо (тогда еще молодой человек) во время своего похода по японской глубинке, был прав: *нет никакого ветра, и флаг не движется; одни только души и умы людей не ведают покоя*. Только, думаю я, беспокойное сердце — медленно и верно — тоже скоро придет к неподвижности, тихой неподвижности, навстречу которой оно рвалось всю свою жизнь…

Пусть я теряю себя, но сад вновь возвратится к жизни. Буду работать в саду и буду навещать Фредерика. Мы будем болтать, смеяться и лить слезы, как могут только старые друзья.

А вечерами я буду ходить гулять в горы. А Чон будет ждать меня у входной двери, протягивая мне посох Аритомо. Я буду брать его, разумеется. Но знаю: придет день, когда я скажу ему, что посох мне не нужен.

Мне предстоит путешествие в миллион миль, и память — это лунный свет, который я заимствую,

чтобы осветить свой путь. Цветы лотоса раскрываются при первых лучах солнца. Завтрашний дождь лежит на горизонте, но откуда-то из небесной выси снижается что-то бледное и маленькое, увеличиваясь в размерах по пути вниз.

Смотрю, как серая цапля делает круг над прудом: листок, падающий по спирали к воде, от которого безмолвная рябь расходится по всему саду.

Примечания автора

За исключением очевидных исторических личностей все персонажи в романе порождены моим воображением. Посещение чайной плантации Маджуба сэром Джеральдом Темплером и его женой вымышлено.

Чрезвычайное положение в Малайе завершилось в июле 1960 года, через двенадцать лет после его введения. Объединив усилия местных служб безопасности, гражданских лиц и войск из стран Содружества, Малайя стала одной из немногих стран мира, сумевших подавить восстание коммунистов. Ноэль Барбер в своей книге «Война бегущих собак» называет это «первой в мире битвой против партизанского коммунизма». Рассказ о пережитом профессором Тацуджи в качестве летчика-камикадзе первоначально появился (в ином и более обширном виде) в пятом томе *Asian Literary Review* («Азиатского литературного обозрения») осенью 2007 года.

Камерное переложение 1 и 2 концертов Шопена для фортепьяно с оркестром было записано Иггдрасиль-Квартетом в 1997 году.

Следующие книги помогали мне при написании «Сада вечерних туманов»:

Ноэль Барбер «Война бегущих собак: Малайя в 1948–1960 годах»;

Энтони Шорт «По следу горных крыс: коммунистическое восстание в Малайе»;

Гэван Доз «Пленники японцев: военнопленные Второй мировой войны в тихоокеанских странах»;

Антон Гилл «Возвращение из ада»;

Джордж Хикс «Женщины для утешения: бесчеловечная система насильственной проституции, созданная Японией во время Второй мировой войны»;

Мордехай Дж. Шефталл «Цветы на ветру: человеческие заветы камикадзе»;

«Сакутей-ки: Виды японского сада» (современный перевод Дзирё Такея и Марка П. Кейна);

Дональд Ричи и Иэн Бурума «Японская татуировка»;

Стерлинг Сигрейв и Пегги Сигрейв «Золотые воины».

Я признателен Тристану Бьючампу Расселу за рассказ о том, что представляла собой его жизнь на чайной плантации на Камеронском нагорье во время Чрезвычайного положения в Малайе.